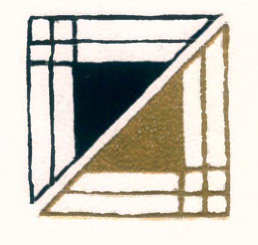


Николай Чуковский

Николай Чуковский



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ



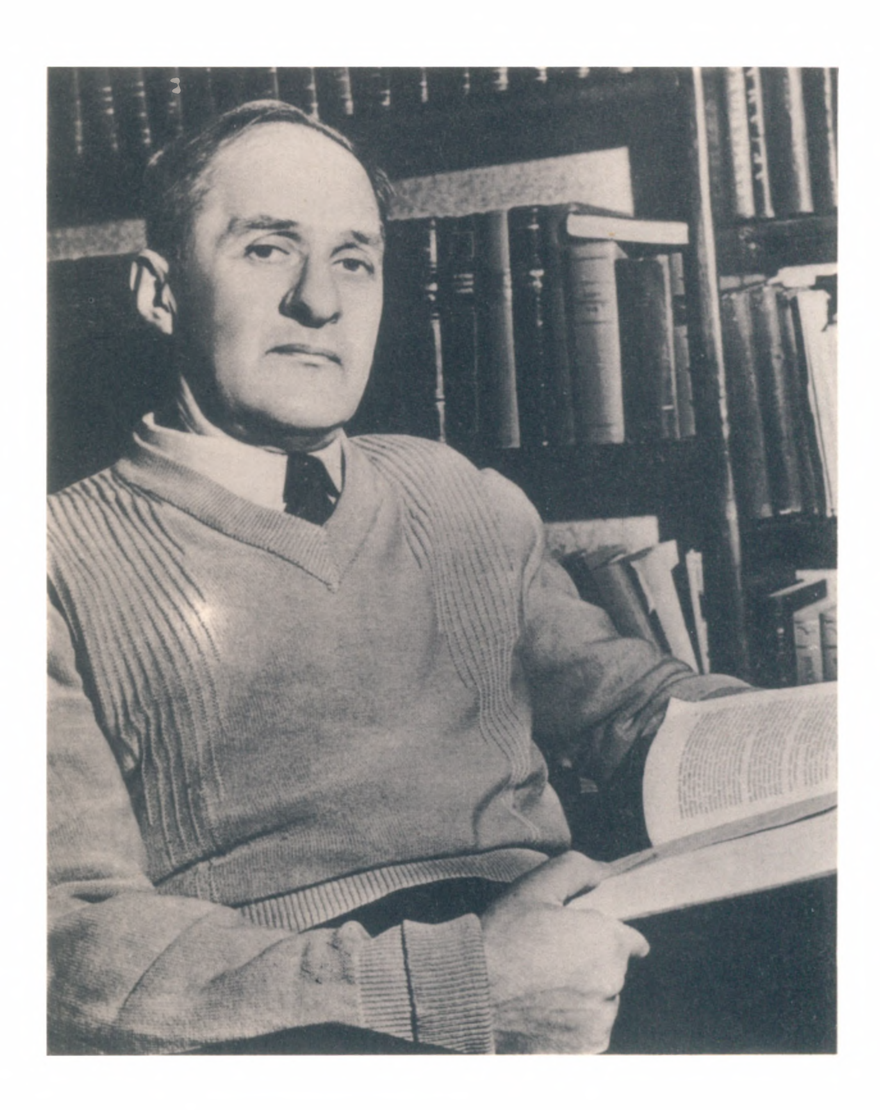
Аничковъ мостъ.

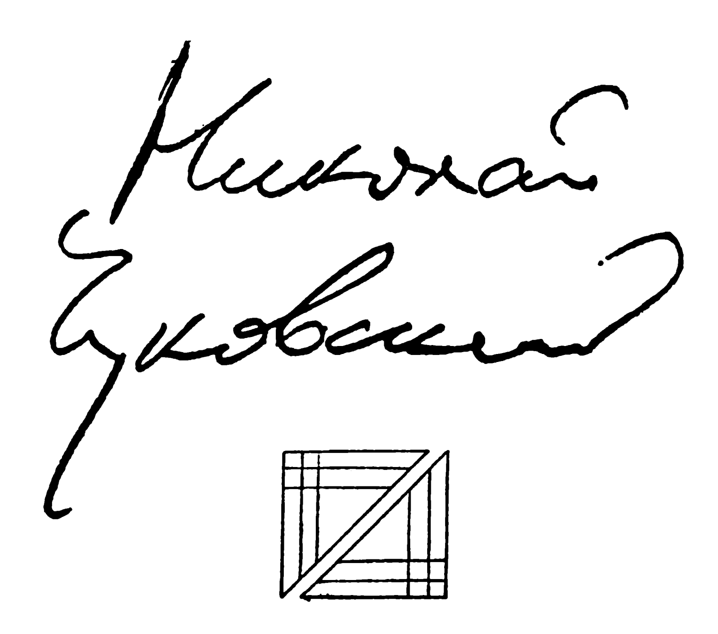
Петроградъ

St.-Pétersbourg - Pont Anitschkoff

Pétrograd







ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Москва
советский
писатель
1989

ББК 83 3Р7
Ч 88

Составитель
М. Н. Чуковская

Вступительная статья
Л. И. Левина

Художник
РОЗАЛИЯ ДАНЦИГ

В книге в качестве иллюстративного материала наряду с профессиональными фотографиями используются также архивные и любительские, плохо сохранившиеся.

Публикуя их, издательство стремится показать читателям редкий фотоматериал из жизни писателя, представляющий несомненный исторический интерес.

Ч $\frac{4702010201-361}{083(02)-89}$ 160—89

ISBN 5—265—00668—0

ТАЛАНТЛИВАЯ ПАМЯТЬ

Николай Чуковский начинал как поэт. 13 марта 1923 года М. Горький писал М. Слонимскому: «Привет Ник[олаю] Чуковскому, мне очень нравится его «Козленок». Идет в первой книге «Беседы».

М. Горький жил тогда в Берлине и редактировал журнал «Беседа», выходивший в 1923—1925 годах.

В статье «Серапионовы братья», относящейся примерно к тому же времени, М. Горький писал: «По словам В. Ходасевича, лучшего, на мой взгляд, поэта современной России, большие надежды возбуждает юноша Чуковский: его поэма «Козленок» напечатана в первой книге журнала «Беседа».

Впоследствии «Козленок» вошел в первую книгу стихов Н. Чуковского «Сквозь дикий рай» (1928). Но эта первая книга оказалась и последней (если не считать стихотворных переводов, которыми Н. Чуковский занимался всю жизнь; в частности, много раз издавались его переводы произведений Ш. Петёфи и Ю. Тувима).

Почему Н. Чуковский перестал писать стихи?

Может быть, сыграли свою роль слова, сказанные О. Мандельштамом: «Каким гуттаперчевым голосом эти стихи ни читай, они все равно плохие». Кстати, мы никогда не узнали бы об этом отзыве на стихи Н. Чуковского, если бы он сам не рассказал о нем в воспоминаниях об О. Мандельштаме. Точно так же В. Каверин в трилогии «Освещенные окна» (в повести «Петроградский студент») вспомнил, как тот же О. Мандельштам отвадил его от поэзии: «Ему было важно, чтобы я перестал писать стихи, и все, что он говорил, было защитой поэзии от меня и тех десятков и сотен юношей, которые занимаются игрой в слова...»

Так или иначе, уже со второй половины двадцатых годов — еще совсем молодым (год рождения — 1904-й) — Н. Чуковский

перешел на прозу. Он увлекся биографическими повестями о знаменитых мореплавателях. Этот жанр пришелся ему по душе. В нем он чувствовал себя как-то особенно свободно. В 1941 году Н. Чуковский издал большую книгу повестей «Водители фрегатов» — о морских путешественниках Дж. Куке, Ж. Лаперузе, И. Крузенштерне, Ж. Дюмон-Дюрвиле. Уже после Великой Отечественной войны — в 1961 году — вышла его повесть о В. Беринге.

Эти книги предназначались для юного читателя, но с одинаковым интересом воспринимались и взрослыми, много раз переиздавались.

Кроме повестей о мореплавателях Н. Чуковский написал до войны три романа — «Слава» (1935), «Княжий угол» (1936) и «Ярославль» (1938). Все они посвящены первым годам Советской власти, борьбе, которую ей пришлось вести с вспыхивавшими то тут, то там контрреволюционными восстаниями и мятежами.

С Николаем Корнеевичем Чуковским и его женой Мариной Николаевной я познакомился в Ленинграде в начале тридцатых годов. За месяц до войны мы жили бок о бок в писательском Доме творчества в городе Пушкине. Дружеские отношения, сложившиеся тогда, сохранились на всю жизнь.

Николай Чуковский был образованнейшим человеком. Наука интересовала его не меньше, чем литература. Он очень много читал, в том числе и научные книги. Превосходно знал историю и географию. Геолог и физик, философ и психолог находили в нем достойного собеседника. Ему хотелось как можно больше знать об удивительном мире, окружающем человека.

Общение с Николаем Корнеевичем всегда было для меня большой радостью.

В годы войны мы с Н. Чуковским часто переписывались. Николай Корнеевич служил тогда в одном из подразделений военно-морской авиации, действовавших в районе Ладожского озера. Несмотря на то что мы находились в нескольких десятках километров друг от друга, повидаться на Ладоге нам не удалось. За все годы войны мы встретились лишь однажды — летом 1943 года в Ленинграде.

Отлично справляясь с нелегкими военно-журналистскими обязанностями, Н. Чуковский много работал и как писатель-беллетрист. Уже в 1941 году появились его брошюры о морских летчиках. В этих брошюрах можно разглядеть отдельные детали, вошедшие затем в роман «Балтийское небо». В 1943 году появилась повесть «Девять братьев», опять-таки посвященная морским летчикам. Наконец, уже после войны — в 1947 году — вышла

книга повестей «Талисман», непосредственно предшествующая «Балтийскому небу».

«Балтийское небо» (1954) снискало широчайшую читательскую популярность. Но и после него Н. Чуковский выпустил немало книг, также имевших успех у читателей и одобрительно встреченных критикой. Две книги — «Девочка Жизнь» и «Цвела земляника» — вышли в 1965 году, который стал последним годом жизни писателя — Николай Корнеевич умер рано, но легкой скоропостижной смертью, во сне.

Как свидетельствует Марина Николаевна Чуковская, свои воспоминания Н. Чуковский начал писать в конце пятидесятых годов. «Я перечитал эту книгу в 1959 году, через тридцать лет после ее появления в свет»,— писал Н. Чуковский о романе К. Вагинова «Козлиная песнь». Эти слова подтверждают правоту М. Чуковской.

Воспоминания Н. Чуковского писались в атмосфере идей XX съезда партии, в годы «оттепели», когда, казалось, наступило время правды в жизни и литературе. Н. Чуковский писал свои воспоминания неторопливо, как бы от случая к случаю, когда можно было сделать перерыв в главном деле — в работе над повестью, рассказом или поэтическим переводом. Писать воспоминания было для него удовольствием, чуть ли не отдыхом.

Детство Николая Корнеевича Чуковского прошло в Финляндии. С младенческих лет он рос в кругу широких литературных интересов. В Куоккале, в доме своего отца, он близко наблюдал многих выдающихся современников. Он был человеком с редкостной наблюдательностью, с удивительно цепкой, устойчивой, можно сказать, *талантливой* памятью. Много лет спустя он без видимого труда с поражающей точностью восстанавливал образы людей, давно ушедших из жизни, но оставивших заметный след в литературе. При этом он писал, начисто игнорируя всяческие запреты, не считаясь ни с какими конъюнктурными веяниями, описывая людей такими, какими их знал и запомнил. Так мало-помалу складывалась и сложилась — хотя и не была завершена — книга литературных воспоминаний, ныне предлагаемая читателю.

Первый раз мне посчастливилось ознакомиться с ней много лет назад — в конце шестидесятых или начале семидесятых годов. К тому времени кое-что из нее уже было напечатано: воспоминания об О. Мандельштаме — в «Москве», о Н. Заболоцком — в «Неве», об Е. Шварце — в сборнике «Мы знали Евгения

Шварца», о ленинградской блокаде — в сборнике «Рядом с героями». Но о том, чтобы напечатать воспоминания, скажем о Н. Гумилеве или В. Ходасевиче, нечего было и думать.

Шли годы. Благодаря неустанным усилиям М. Чуковской воспоминания Н. Чуковского стали появляться на страницах журналов и сборников. Были опубликованы воспоминания об А. Блоке, В. Маяковском, М. Волошине, А. Белом, Вс. Вишневском, Ю. Тынянове, салоне Наппельбаумов. Каждая из этих публикаций, благодаря своим бесспорным литературным достоинствам, несомненной жизненной достоверности, тонкой и умной писательской наблюдательности, неизменно привлекала к себе живейшее читательское внимание. Становилось все яснее, что на наших глазах складывается отличная книга литературных воспоминаний. Талант Н. Чуковского с самой выгодной стороны выказывал себя и в этом совершенно новом для него жанре.

Теперь перед нами книга, дополненная многими еще не известными читателю материалами, которые никак не удавалось напечатать ни при жизни писателя, ни двадцать с лишним лет после его смерти.

Пролежав больше двадцати лет в архиве писателя, книга нисколько не состарилась. Пожалуй, никто до Н. Чуковского (за исключением В. Каверина и К. Федина) не рассказывал так подробно и с таким самостоятельным, трезвым, объективным взглядом на вещи о литературном Петрограде двадцатых годов, о создании группы «Серапионовы братья», о каждом из членов этой группы, о таких крупных русских поэтах, как Н. Гумилев и В. Ходасевич, о таком своеобразном представителе литературного Петрограда двадцатых и Ленинграда тридцатых годов, как В. Стенич...

Николай Чуковский был одним из умнейших людей, с которыми сталкивала меня жизнь. Ум его был особого, иронического склада, что я не раз испытывал на себе. Эта особенность его острого, глубокого и, честно говоря, не слишком доброго ума в полной мере отразилась в его воспоминаниях.

Он отлично понимал масштаб людей, о которых вспоминал. Искренне восхищаясь одними (например, К. Вагиновым), он сохранял критическое, а порой ироническое — иногда добродушное, иногда весьма злое — отношение к другим. Вероятно, найдутся любители поэзии, которые возжелают защитить от него Н. Гумилева. «Не сотвори себе кумира» — этому девизу Н. Чуковский оставался верен на протяжении всей своей жизни.

Воспоминания о том или ином деятеле литературы, никогда не ограничиваясь его портретом, превращаются у Н. Чуковского

в рассказы о времени, в котором жил и действовал этот деятель, о людях, которые его окружали.

Так, например, рассказ о М. Волошине становится развернутым повествованием о Коктебеле, сыгравшем важную роль в жизни многих советских писателей, о литературной жизни, кипевшей в нем не менее бурно, чем в Москве или Петрограде.

Рассказ о В. Стениче — Н. Чуковский удивительно метко называет его «милым демоном моей юности» — развертывается в широкую картину литературного — и не только литературного — Ленинграда двадцатых и тридцатых годов.

Время со всеми его характерными особенностями так или иначе присутствует в каждом мемуарном очерке Н. Чуковского. Очерк «Дом искусств» от первой до последней строки проникнут поистине поэтическим ощущением двадцатых годов, когда все грубо материальное, казалось, было отброшено и наружу вырвалась ничем не сдерживаемая сила человеческого интеллекта.

Очерк «Салон Наппельбаумов» Н. Чуковский начинает так: «Мы уехали в Псковскую губернию весной 1921 года из Петрограда военного коммунизма, а осенью вернулись в Петроград нэповский». Далее следует подробный рассказ о том, что происходило в салоне Наппельбаумов — о его хозяине, известном фотографе, снимавшем В. И. Ленина, о его детях, о множестве людей, приходивших сюда (здесь и Б. Пастернак, и Н. Тихонов, и В. Ходасевич, и Г. Иванов, и М. Кузмин, и Вс. Рождественский, и А. Радлова, и С. Колбасьев, и Н. Браун, и Е. Полонская, и многие другие). Казалось бы, плацдарм, на котором ведется повествование, не столь уж широк — всего лишь салон Наппельбаумов! — но все, что происходит в этом салоне, дается на достоверном фоне нэповского Петрограда, сопровождается навсегда врезавшимися в память неповторимыми приметами переживаемой исторической эпохи.

С еще большей силой нэповский Петроград представлен в воспоминаниях о К. Вагинове. Это — едва ли не лучшие страницы книги Н. Чуковского.

Совершенно забытый сейчас писатель — поэт и прозаик — Константин Вагинов (1899—1934) был особой, ни на кого не похожей фигурой в среде литераторов Петрограда-Ленинграда.

С многими из тех, о ком вспоминает Н. Чуковский,— например, с В. Стеничем — я был более или менее близко знаком, но К. Вагинова видел всего несколько раз и запомнил именно таким, каким его изобразил Н. Чуковский — в заношенном бобриковом

пальто и в детской шапке-ушанке, завязывавшейся под подбородком. Всем своим обликом он выказывал полное пренебрежение к нормальному человеческому быту.

«Константин Константинович Вагинов,— пишет Н. Чуковский,— был один из самых умных, добрых и благородных людей, которых я встречал в своей жизни. И, возможно, один из самых даровитых. То, что он писал, было в свое время известно только очень узкому кругу, а сейчас неизвестно никому. Виною этому был он сам — он не старался быть понятым».

Эта оценка может показаться преувеличенной. Но вот что рассказывает Л. Гинзбург в своей книге «Литература в поисках реальности» (1987):

«Недели две тому назад Борису Михайловичу (Эйхенбауму.— *Л. Л.*) в час ночи позвонил Мандельштам, чтобы сообщить ему, что:

— Появился Поэт!

— ?

— Константин Вагинов.

Б. М. спросил робко: «Неужели же вы в самом деле считаете, что он выше Тихонова?»

Мандельштам рассмеялся демоническим смехом и ответил презрительно: «Хорошо, что вас не слышит телефонная барышня».

Дело, конечно, не в том, кто выше — Н. Тихонов или К. Вагинов. Не забудем, что К. Вагинов ушел из жизни в тридцать пять лет. Дело в том, что О. Мандельштам, оказывается, умел не только отваживать молодых людей от поэзии, как это было в случаях с В. Кавериным и Н. Чуковским, но и замечать истинные поэтические дарования.

В очерке Н. Чуковского о К. Вагинове рассказана, в сущности, вся его жизнь начиная с детства в семье жандармского полковника и крупнейшего домовладельца. Совсем юным он ушел из дома, целыми ночами блуждал по городу, чуть не стал кокаинистом и, вероятно, стал бы им, если бы его не призвали в Красную Армию. Он воевал в Сибири против Колчака, заболел сыпным тифом, попал в госпиталь, был демобилизован и вернулся в Петроград.

К введению нэпа К. Вагинов отнесся с резкой враждебностью, видя в нем торжество тупого реакционного мещанства, среди которого прошло его детство.

Начав с того, что все написанное К. Вагиновым оставалось и остается непонятым, а написал он, в общем-то, немало — несколько книг стихов, в том числе «Опыты соединения слов посредством ритма» (1931), и несколько романов, в том числе

«Козлиную песнь» (1928), Н. Чуковский весьма искусно, как бы ненароком, подводит нас к прямо противоположному выводу и демонстрирует отличное понимание всего того, что К. Вагинов написал. Сама собой возникает мысль об издании стихов и прозы К. Вагинова с превосходным очерком Н. Чуковского в качестве вступительной статьи.

Очерки, составившие книгу воспоминаний Н. Чуковского, вообще не следует воспринимать как чисто мемуарные. Это — художественные портреты. В них не нужно искать абсолютной точности фактов и обстоятельств. Вместе с тем созданные Н. Чуковским образы многих представителей литературы тех лет отличаются глубиной и тонкостью характеристик.

Про В. Ходасевича Н. Чуковский пишет, что, приходя в салон Наппельбаумов, он, конечно, презирал этот салон, «но не больше, чем все остальное на свете». Уже одно это дает нам известное представление о В. Ходасевиче. Но Н. Чуковский не ограничивается этим и дает блестящую характеристику В. Ходасевича: «Он был превосходный поэт одной темы. Он не принимал не какие-нибудь отдельные стороны действительности,— скажем, мещанство, как многие, или капитализм, как Блок и Маяковский, или революцию, как поэты-белогвардейцы,— но любую действительность, какой бы она ни была.

Он писал:

Счастлив, кто падает вниз головой,
Мир для него хоть на миг, а иной».

В этой формуле поэзии В. Ходасевича все точно выверено, вплоть до упоминания его в одном ряду с А. Блоком и В. Маяковским.

«Михаил Алексеевич Кузмин,— пишет Н. Чуковский в другом месте,— был самый чистопородный (! — *Л. Л.*), без всяких примесей эстет в русской литературе, небогатой чистыми эстетами. Решительно все явления бытия он рассматривал только с одной точки зрения: вкусно или безвкусно. Всякая государственная власть, безразлично какая, была для него безвкусицей. Всякую философию, все то, что люди называют мировоззрением, он считал безвкусицей».

«Такой он был всегда,— пишет Н. Чуковский о Н. Гумилеве,— прямой, надменный, выспренний, с уродливым черепом, вытянутым вверх, как огурец, с самоуверенным скрипучим голосом и неуверенными, добрыми, слегка косыми глазами. Он вещал,

а не говорил и, хотя имел склонность порою тяжеловесно и сложно пошутить, был полностью лишен чувства юмора».

«Отец мой,— добавляет Н. Чуковский,— не любил его стихов и называл их «стекляшками».

(Кстати, в мемуарной книге сына почти ничего не говорится об отце. Скорее всего это объясняется тем, что книга писалась при жизни отца — Корней Иванович пережил Николая Корнеевича на четыре года.)

Столь критически относясь к Н. Гумилеву и его стихам, Н. Чуковский не отрицает, что было время, когда он увлекался ими. Но «в семинаре, руководимом Гумилевым, все были его сторонники — кроме меня. Для меня Блок был выше всего на свете».

Критическое отношение к Н. Гумилеву не мешает Н. Чуковскому твердо заявить: «Безусловно верно одно: расстреливать Гумилева — при всех обстоятельствах — не следовало» (вспомним, что это писалось в те годы, когда имя Н. Гумилева было под строжайшим запретом). Он приводит слова своего «милого демона» В. Стенича: «Если бы он (Н. Гумилев.— *Л. Л.*) теперь был жив, он перестроился бы одним из первых и сейчас был бы видным деятелем ЛОКАФа» (так называлось существовавшее в начале тридцатых годов Литературное объединение Красной Армии и Флота).

Главное достоинство воспоминаний Н. Чуковского — богатство жизненного и литературного материала, самостоятельный, не подвластный никаким конъюнктурным поветриям, глубоко нетривиальный взгляд на вещи.

Многое в воспоминаниях Н. Чуковского может показаться да и на самом деле является спорным. Это ни в какой степени не должно смущать читателя — общеизвестно, что любые воспоминания несут на себе печать личности мемуариста. Досаднее всего бывает иметь дело с безличными воспоминаниями. Они чаще всего возникают в тех случаях, когда их автору, в сущности, нечего вспомнить, и он, вместо того чтобы вспоминать, пускается в безличные рассуждения на общие темы.

Н. Чуковскому прежде всего есть что вспомнить, и вспоминает он с присущими ему умом и талантом. Перед вами — не только одно из лучших произведений его прозы, но и заметное явление нашей мемуаристики в целом.

Что же касается некоторых спорных мыслей, высказываемых Н. Чуковским, то, повторяю, было бы странно, если бы их не оказалось.

Литературную генеалогию Н. Гумилева Н. Чуковский ведет, например, от В. Брюсова. Мне это кажется спорным. На-

оборот, влияние Р. Киплинга на Н. Гумилева Н. Чуковский отрицает, заявляя, что Н. Гумилев шел не от английской, а от французской поэтической традиции. С этим тоже можно поспорить.

О «Петербурге» А. Белого Н. Чуковский отзывается как о «талантливом, но до того манерно написанном романе о борьбе с самодержавием, что сейчас его почти невозможно прочесть».

«Разве не сплошным чудачеством было, например,— пишет Н. Чуковский,— все, что делал и писал Велимир Хлебников, Председатель Земного Шара?»

Так он считает, и это — его право.

Кстати, работая над воспоминаниями, Н. Чуковский завел специальную папку «Чудаки двадцатых годов». Такими чудаками он называл К. Вагинова, В. Стенича, Б. Лившица, Л. Добычина, Д. Хармса, С. Нельдихена, М. Карцова (как старый ленинградец, я добавил бы к этому списку П. Сторицына). Некоторым из этих чудаков посвящены отдельные очерки. Герой одного из них — Моисей Карцов, «он же дядя Миша, он же Милицейский Глаз, неистовый безбожник, редактор-издатель газеты «Вавилонская башня».

Очерку предпослано пространное вступление на тему о чудачестве, которое художественная интеллигенция тех лет склонна была рассматривать «как особо ценную эстетическую категорию». В качестве чудаков кроме перечисленных выше называются Вс. Мейерхольд, В. Шкловский, Г. Козинцев, Л. Трауберг. Это невольно вызывает возражения — ну каким же чудаком был, к примеру, Г. Козинцев? — но опять-таки Н. Чуковский вправе изображать людей такими, какими они ему представляются.

Остается только пожалеть, что он не осуществил свой замысел и не создал задуманную им галерею чудаков. Написаны были очерки о К. Вагинове, В. Стениче, М. Карцове. Собирался, но не успел написать о Д. Хармсе и Л. Добычине. Человек замкнутый и угрюмый, Л. Добычин, как заметил В. Каверин, дружил с одним Н. Чуковским. Тем досаднее, что о своей дружбе с Л. Добычиным Н. Чуковский так и не написал...

Работа над воспоминаниями продолжалась до самой смерти писателя. Многое, очень многое он не успел вспомнить: детство в Куоккале, родительский дом, его хозяев Марию Борисовну и Корнея Ивановича, Тенишевское училище, довоенные годы в Ленинграде, послевоенную жизнь в Москве.

Но и то, что Н. Чуковский успел вспомнить, имеет огромную ценность.

Значительную, я бы сказал, главную часть его книги составляют воспоминания, публикуемые впервые. Таковы мемуарные этюды о «Серапионовых братьях», о Н. Гумилеве, о В. Ходасевиче, о поездке в Холомки, о Доме искусств, о К. Вагинове, о В. Стениче. Соединенные с теми, что уже печатались, они создают широкую и художественно достоверную картину жизни литературного Петрограда двадцатых и Ленинграда тридцатых годов.

Так написать мог только художник, обладающий даром не только изображать то, что ему запомнилось, но самостоятельно и глубоко, без всякой оглядки на традиционные представления, а зачастую и вопреки им, осмысливать запомнившееся.

Таким художником был Николай Корнеевич Чуковский.

Л. Левин

Я ВИДЕЛ БЛОКА

Александра Блока я увидел впервые осенью 1911 года. В 1911—1912 гг. мы жили в Петербурге, на Суворовском проспекте. Мне было тогда 7 лет. Я помню вечер, дождь, мы выходим с папой из «Пассажа» на Невский. У выхода папа купил журнальчик «Обозрение театров», памятный для меня тем, что в каждом его номере печаталось чрезвычайно мне нравившееся объявление, на котором был изображен маленький человечек с огромной головой; он прижимал палец ко лбу, и вокруг его просторной лысины были напечатаны слова — «Я знаю все!».

Блока мы встретили сразу же, чуть сошли на тротуар. Остановясь под фонарем, он минут пять разговаривал с папой. Из их разговора я не помню ни слова. Но лицо его я запомнил прекрасно — оно было совсем такое, как на известном сомовском портрете. Он был высок и очень прямо держался, в шляпе, в мокром от дождя макинтоше, блестевшем при ярком свете электрических фонарей Невского.

Он пошел направо, в сторону Адмиралтейства, а мы с папой налево. Когда мы остались одни, папа сказал мне:

— Это поэт Блок. Он совершенно пьян.

Вероятно, я и запомнил его только оттого, что папа назвал его пьяным. В нашей непьющей семье мне никогда не приходилось встречаться с пьяными, и пьяные очень волновали мое воображение.

В следующий раз я его увидел году в восемнадцатом и потом неоднократно видел вплоть до двадцать первого года. Это был совершенно новый Блок. Мне казалось, что от того Блока, которого я видел в 1911 году, не осталось ни одной черты — до того он изменился. Он больше нисколько не был похож на сомовский портрет. Он весь

обрюзг, лицо его стало желтым, широким, неподвижным. Держался он по-прежнему прямо, но располневшее его тело с трудом умещалось во френче, который он носил в те годы. Впрочем, я видел его и в пиджаке. Теперь он казался мне высоким только когда сидел; когда он вставал, он оказывался человеком чуть выше среднего роста,— у него было длинное туловище и короткие ноги.

Помню, как он читал «Соловьиный сад» в Доме поэтов — учреждении, существовавшем в Петрограде летом и осенью 1919 года. Этот Дом поэтов помещался на Литейном, в том здании, которое известно старым ленинградцам под названием Дома Мурузи. Дом Мурузи должен был быть хорошо знаком Блоку потому, что в нем продолжительное время жили Мережковский и Гиппиус. Впрочем, в годы революции их там уже не было — они переехали на Сергиевскую, к Таврическому саду. Дом поэтов занимал в доме Мурузи небольшой зал, отделанный в купеческо-мавританском стиле, и еще две-три комнаты, служившие фойе. Бывал я там мало и припоминаю только о том, что именно там, на каком-то вечере, Виктор Шкловский в ответ на поклон поэта Кельсона повернулся к нему спиной и низко поклонился.

Чтение «Соловьиного сада» происходило почему-то днем,— я хорошо помню, что свет падал на окна, и за окном было солнце. Мне было пятнадцать лет, я знал большинство стихотворений Блока наизусть и боготворил его. Ни одно явление искусства никогда не производило на меня такого впечатления, как в те времена стихи Блока; я все человечество делил на два разряда — на людей, знающих и любящих Блока, и на всех остальных. Эти остальные казались мне низшим разрядом.

Я уселся в первом ряду; никакой эстрады не было. Блок сидел прямо передо мной за маленьким столиком. Читал он негромко, хрипловатым голосом, без очень распространенного тогда завывания, с простыми и трогательными интонациями.

Как под утренним сумраком чарым
Лик прозрачный от страсти красив...

Чтение длилось недолго. Когда он кончил, я, потрясенный, первым выскочил в фойе. Вслед за мной потянулись и остальные слушатели. Вышел в фойе и Блок.

Я стоял в углу и благоговейно смотрел на него. Он

медленно оглядел всех в фойе своими выцветшими голубыми глазами, словно кого-то ища. Заметив меня в моем углу, он остановил взор на мне и пошел прямо на меня сквозь толпу. Я затрепетал. Он подошел ко мне близко, даже ближе, чем обычно подходят к тому, с кем собираются заговорить. Наклонясь ко мне, он шепотом спросил:

— Где здесь уборная?

Вряд ли он знал, кто я такой. Просто он считал, что с таким вопросом удобнее обратиться к мальчику, чем к взрослому.

Чтение Блока слышал я не раз, и всегда оно потрясало меня. Помню, как он читал «Что же ты потупилась в смущеньи» в так называемом Доме искусств (Мойка, 59). Было это несколько позже — в двадцатом году или в самом начале двадцать первого. Он стоял на невысокой эстраде, где не было ни стола, ни кафедры, весь открытый публике и, кажется, смущенный этим. Зал был купеческий, пышный, с лепниной на белых стенах, с канделябрами в два человеческих роста, с голыми амурами на плафоне. Блок читал хрипловато, глухим голосом, медленно и затрудненно, переступая с ноги на ногу. Он как будто с трудом находил слова и перебирал ногами, когда нужное слово не попадалось. От этого получалось впечатление, что мучительные эти стихи создавались вот здесь, при всех, на эстраде.

Помню в этом же зале и чтение блоковских «Двенадцати» — тоже году в двадцатом. Читал не Блок, а его жена Любовь Дмитриевна, Блок же только присутствовал на эстраде. На этот раз там стоял столик, ничем не покрытый, Любовь Дмитриевна находилась позади столика, а Блок сидел сбоку на стуле, печально опустив голову и обратив к публике свой профиль. Любовь Дмитриевна читала шумно, театрально, с завыванием, то садилась, то вскакивала. На эстраде она казалась громоздкой и даже неуклюжей Ее обнаженные до плеч полные желтоватые руки метались из стороны в сторону. Блок молчал. Мне тогда казалось, что слушать ее ему было неприятно и стыдно.

В те времена Горький был председателем правления Дома искусств, а членами правления были и Блок, и мой отец. Отец мой был, по-видимому, очень деятельным членом правления и потому имел позади библиотеки комнатку для занятий — нечто вроде служебного кабинета. В январе 1921 года мой брат и моя сестра заболели скарлатиной,

и меня, чтобы уберечь от заразы, родители переселили в Дом искусств, в этот «папин кабинет». Но уже через несколько дней заболел и я. Не знаю, была ли это скарлатина, но проболел я довольно долго и, главное, долго провалялся, потому что и тогда, когда мне было лучше, меня никуда не пускали, чтобы я не разносил заразы. В то время затевался журнал «Дом искусств», редакция которого состояла из Горького, Блока и моего отца. Им удалось выпустить всего два номера журнала, но собирались они часто и трудов положили много.

Одно заседание редакции состоялось как раз в той комнате за библиотекой Дома искусств, где я, выздоравливая, лежал в кровати. Блок пришел первым и, кажется, удивился, увидев меня. Спросил, будет ли здесь Корней Иванович. Негромкий, словно затрудненный голос его звучал глухо. Я, заранее предупрежденный, сказал ему, что отец просит подождать. Блок сел на кровать у моих ног, опустил голову и не сказал больше ни слова. Так прошло, по крайней мере, минут сорок. Темнело. Я смотрел на него сбоку. От благоговения и робости я не осмеливался заговорить, не осмеливался двинуться. Сгорбленный, с неподвижным большим лицом, печально опущенным, он был похож на огромную птицу. Не знаю, думал ли он или дремал. Отец и Горький очень запоздали, но наконец пришли оба. Отец включил свет, громко заговорил. Блок поднялся и пересел к столу.

Примерно к этому же времени относится посещение Блоком студии Дома искусств и руководимого Н. С. Гумилевым семинара поэзии, в котором я тогда занимался в качестве студиста. Статья Блока «Без божества, без вдохновенья», в которой он выступил против Гумилева, против акмеистов и всей их эстетско-формалистской проповеди, не была еще известна. Но мы, студисты, знали, что отношения между Блоком и Гумилевым неважные. Гумилев на занятиях иногда разговаривал с нами о стихах Блока, и в словах его, сдержанных, сквозила враждебность. В глазах молодежи, вертевшейся вокруг Дома искусств, Блок и Гумилев были соперники, борющиеся за первое место в русской поэзии. Любители поэзии делились на сторонников Блока и на сторонников Гумилева. Конечно, сторонников Блока в широких кругах молодежи было больше, чем сторонников Гумилева. Но в кругах, тяготевших к Дому искусств, преобладали сторонники Гумилева. А уж в семинаре, руководимом Гумилевым, все были его сторон-

ники — кроме меня. Для меня Блок был выше всего на свете.

Блок явился к нам на семинар в сопровождении двух женщин. Помню, одна из них была его тетка Бекетова. Кто была вторая, я забыл; может быть, и не знал. Мы, студисты, человек двенадцать — пятнадцать, сидели вокруг стола, и перед нами лежали расчерченные таблицы, которыми, согласно учению Гумилева, следовало руководствоваться при писании стихов. Стол, стоявший посреди комнаты, был узкий и длинный, и возле узкого его края спиной к двери сидел Гумилев. Когда вошел Блок со своими спутницами, он повернулся и встал. Блок и его дамы уселись не за стол, а на стульях, стоявших у стены. Гумилев опять занял свое председательское место. Решено было, что студисты прочтут свои стихи.

Читали обе сестры Наппельбаум, Константин Вагинов, Даниил Горфинкель и, вероятно, еще кто-то. Я, к счастью, не читал.

Блок слушал хмуро, с брезгливым вниманием. Он не сделал ни одного замечания, ничего не похвалил. Только время от времени просил:

— Еще.

Ему читали еще, а он слушал все так же хмуро.

Кое-кому из читавших задавал он вопросы, но вопросы эти к стихам непосредственного отношения не имели. Фредерику Наппельбаум, например, он спросил:

— Что вы больше всего любите?

И она ответила:

— Ветер.

Пробыв у нас около часа, он ушел с обеими дамами. Так как всем было ясно, что стихи ему не понравились, а между тем все ему прочитанное на семинаре признавалось самым лучшим, то, естественно, участники семинара пришли в недоумение. Глаза Николая Степановича, обычно торжественные, поблескивали насмешливо, и было решено, что Блок либо не понимает в стихах, либо просто относится к студистам недоброжелательно.

Потом я видел его только однажды — на посвященном ему вечере в Большом Драматическом театре на Фонтанке. Этот театр, основанный и руководимый Блоком, был впоследствии почему-то назван театром им. Горького. Стояла мокрая, грязная весна. Театр был полон взволнованной толпой. Отец мой прочитал свою статью о Блоке. Потом читал Блок. Я сидел в далекой ложе, и слабый голос его

едва до меня доносился через огромный театральный зал. Блок показался мне на этот раз похудевшим и как бы уменьшившимся.

О смерти его я услышал в Псковской губернии, в бывшем гагаринском имении Холомки. Я плакал весь день. Мой приятель и однолеток князь Петя Гагарин, никогда до тех пор не слыхавший о Блоке, спросил меня:

— А что, Блок твой родственник?

Помню, как я в тот день говорил с детской опрометчивостью, что лучше бы уж умер Гумилев, чем Блок.

ВСТРЕЧИ С МАЯКОВСКИМ

В годы первой мировой войны я видел Маяковского так часто, что память моя не в состоянии отделить одно его посещение от другого. Он постоянно торчал у нас в нашем куоккальском доме. Лето пятнадцатого года он прожил у нас, но и тогда, когда он жил в Куоккале и других дачах, он почти ежедневно обедал у нас, а когда жил в Петербурге, приезжал к нам по воскресеньям со своими приятелями — Василием Каменским, Бенедиктом Лившицем, Хлебниковым и Кульбиным.

Припоминая разговоры тех времен, я понимаю, что его тогдашнее тяготение к жизни в Куоккале было каким-то образом связано с уклонением от воинской повинности. Я уже тогда знал, что уклоняется он от солдатчины не из трусости, а оттого, что ненавидит войну. Маяковский был первый человек, не зараженный воинственным шовинизмом, которого я увидел.

Если не ошибаюсь, впервые они приехали к нам из города втроем — Маяковский, Каменский и Лившиц. Мне тогда было лет одиннадцать. Они потрясли мое воображение и восхитили меня — три красавца, высокие, молодые, громкоголосые, веселые. Больше всех в тот приезд мне понравился Василий Каменский. Он был самый шумный из всех, и, кроме того, он был летчик или, как тогда говорили, авиатор. За ужином он рассказывал что-то удивительное о полетах, а потом громовым голосом читал своего «Стеньку Разина»:

Сарынь на кичку, ядреный лапоть!

И одет он был не обычно, а в какую-то особую куртку из светло-коричневой кожи, придававшую ему особенно мужественный вид. И русые кудри его вились, и белые зубы

блистали. Восхищался им не один я — Илья Ефимыч Репин, тоже сидевший за столом, смотрел на Каменского с умиленным восторгом, а когда тот кончил читать, расхвалил его безудержно, с множеством восклицаний. Репин вообще любил хвалить и восхищаться, и его похвалы, насколько я помню, были всегда так же гиперболичны, как и его порицания.

Но затмить Маяковского Каменскому удалось только в один этот приезд. Потом Маяковский воцарился у нас за столом и, в сущности, в течение двух лет царил за ним безраздельно.

«Облако в штанах» он писал, живя у нас. То есть не писал, а сочинял, шагая. Я видел это много раз. Записывал же значительно позже.

Наш участок граничил с морским пляжем. Если выйти из нашей калитки на пляж и пойти по берегу моря направо, то окажешься возле довольно крутого откоса, сложенного из крупных, грубо отесанных серых камней, скрепленных железными брусьями. Это массивное сооружение носило в то время название «Бартнеровской стены», потому что принадлежало домовладельцу Бартнеру, не желавшему, чтобы море во время осенних бурь размыло его землю. Бартнеровская стена стоит до сих пор, хотя название ее давно забыто и никому уже не ведомо, что ее построил Бартнер...

Вот там, на Бартнеровской стене, и была создана поэма «Облако в штанах». Маяковский уходил на Бартнеровскую стену каждое утро после завтрака. Там было пусто. Мы с моей сестрой Лидой, бегая на пляж и обратно, много раз видели, как он, длинноногий, шагал взад и вперед по наклонным, скользким, мокрым от брызг камням над волнами, размахивая руками и крича. Кричать он там мог во весь голос, потому что ветер и волны все заглушали.

Он приходил к обеду и за обедом всякий раз читал новый, только что созданный кусок поэмы. Читал он стоя. Отец мой шумно выражал свое восхищение и заставлял его читать снова и снова. Многие куски «Облака в штанах» я помню наизусть с тех пор.

За обеденным столом кроме отца, матери и нас, детей, у Маяковского была еще одна слушательница — жившая у нас в доме моя учительница Евгения Брониславовна. Это была полька из Вильны, совсем молоденькая девушка маленького роста, востроносенькая, с тоненьким, бойким голоском. На Маяковского она смотрела во все глаза,

ошеломленно, раскрыв ротик. Когда он появлялся, она сразу замолкала и не могла скрыть волнения, во всяком случае, от меня, знавшего ее лучше, чем другие. Он не обращал на нее никакого внимания, никогда даже не смотрел в ее сторону. За столом в его присутствии она молчала, как немая.

Однако однажды она все-таки заговорила с ним. Конечно, не за столом, не в присутствии моих родителей, а в саду, недалеко от той калитки, которая вела на пляж. Возможно, она нарочно подстерегала его там, зная, что он придет к обеду с моря через эту калитку. Вертелся там и я.

День был мокрый, туманный, тяжелые капли падали с сосен. Маяковский отворил калитку, вошел в сад и крупно зашагал по тропинке, опустив голову и даже не взглянув на Евгению Брониславовну. Но она как-то бочком подкатилась к нему прямо под ноги и вдруг спросила:

— Владимир Владимирович, а что вы хотели сказать, когда написали вот то-то?

Я забыл, какое именно место «Облака в штанах» просила она его разъяснить.

Он посмотрел с высоты своего роста на ее приземистую фигурку, на задранный вверх носик.

— Эх вы, шпулька! — сказал он.

И пошел своей дорогой.

Впоследствии я много раз слышал, будто бы Маяковский был человек грубый. Это глубочайшее заблуждение. В молодости он был человек в высшей степени застенчивый, постоянно преодолевавший свою внутреннюю робость. Я, сам мучительно страдавший от застенчивости, уже и тогда видел это с совершенной ясностью и ни на мгновенье в этом не сомневался. Часто резкость того, что он говорил, зависела именно от этой насильственно преодоленной робости. К тому же от природы был он наделен прелестнейшим даром насмешливости и безошибочным чутьем на всякую пошлость.

Никогда не бывал он резок с теми, кто был слабее его. С детьми он всегда был нежен и деликатен,— я дальше расскажу о его отношении ко мне и к моей сестре. Много раз приходилось мне видеть его с Ильей Ефимовичем Репиным — и у нас в доме, и у Репиных. Их — футуриста и передвижника — в то время многие считали антагонистами, а между тем между ними были самые лучшие отношения — доверчиво-почтительные со стороны Маяковского и

ласково-внимательные со стороны Репина. Репин, ненавидевший «Мир искусства» и красневший от гнева при имени Бенуа, которого называл не иначе как Бенуашкой, к Маяковскому относился уважительно и благожелательно. Сидя у отца моего в кабинете, в большом обществе, и кого-нибудь слушая, они обычно что-нибудь рисовали — один в одном углу, другой в другом.

Впоследствии мне не раз приходилось слышать легенду, будто женщины редко влюблялись в Маяковского. Полагаю, что это совершенно неверно. Помню, в те годы в Маяковского пылко была влюблена одна куоккальская дачевладелица, некая г-жа Блинова, и об этой любви ее я слышал от взрослых немало толков.

(Дача Блиновой находилась на Прямой дороге, рядом с дачей родителей художника Юрия Анненкова. У нее были два сына, Зёзя и Кука, один чуть постарше меня, другой моих лет. И Блинову, и ее мальчиков я хорошо знал в течение всей моей куоккальской жизни, но был ли у нее муж, не помню. Это была красивая женщина лет тридцати восьми. Ни к искусству, ни к литературе она не имела никакого отношения, но, как все куоккальские интеллигенты, бывала и у Репина, и у нас, и у Анненковых, и у Евреинова. Над ее безнадежной любовью к Маяковскому потешался весь куоккальский кружок. Она ловила его на всех углах, делала отчаянные попытки затащить его к себе на дачу, но он бывал у нее редко и неохотно. Родителей моих особенно смешило то, что она, до тех пор сторонница самых мещанских взглядов на искусство, внезапно стала пламенной проповедницей футуризма.)

В те предреволюционные годы в Куоккале среди зимогоров был и Лазарь Кармен, литератор, родом одессит, скромный и красивый человек, бедняк, отличный лыжник,— отец впоследствии весьма известного советского кинооператора Романа Кармена. Этот Лазарь Кармен постоянно бывал и у нас, и у Репиных. Он был музыкален, остроумен и любил исполнять сочиненную им длинную песню на мотив «Барыни», в которой высмеивал все куоккальские сенсации. Песня эта была импровизацией, и текст ее каждый раз менялся, дополнялся. Некоторые из входивших в нее куплетов записаны у отца в Чукоккале. Я хорошо помню, как голубоглазый кудрявый Кармен, сидя на нашем диване, пел свою «Барыню» в присутствии Маяковского и Репина. Было там и несколько строк, посвященных Блиновой:

С футуристами спозналась,
В футуристки записалась,
Барыня, барыня...

По нашим семейным преданиям, тщательно скрываемым, Маяковский в те годы был влюблен в мою мать. Об этом я слышал и от отца, и от матери. Отец вспоминал об этом редко и неохотно, мать же многозначительно и с гордостью. Она говорила мне, что однажды отец выставил Маяковского из нашей дачи через окно. Если такой эпизод и был, он, кажется, не повлиял на отличные отношения моего отца с Маяковским.

Дальнейшие мои встречи с Маяковским относились уже к первым годам революции. Они спутались у меня в памяти, и я не в силах определить, что было раньше, что позже. Я, например, отлично помню, как мы с отцом вошли в просторную городскую квартиру, почти без мебели, и увидели разложенные на всех полах во всех комнатах большие листы бумаги и Маяковского, который писал на них плакаты. Одни были уже закончены, другие только начаты, и Маяковский показывал их нам, шагая через листы длинными ногами. Там был и еще один художник, такой же долговязый, как Маяковский,— кажется, Козлинский. Но было ли это в Петрограде в 1918 году или в Москве в 1923—1924 годах, я припомнить сейчас не могу.

В годы гражданской войны Маяковский часто заезжал в Питер, но на нашу квартиру не заходил никогда. Что было тому причиной — не знаю. Мы с сестрой моей Лидой ходили на все его публичные выступления, и я несколько раз слышал, как он читал «Мистерию-буфф», «150.000.000.», «В сто сорок солнц закат пылал». Мы слушали, потрясенные. Кстати, нигде я не встречал до сих пор упоминания о том, что Маяковский, читая стихи, некоторые места пел. В «Мистерии-буфф» он четыре строчки:

Хоть не чернее снегу-с
Но, тем не менее,
Я абиссинский негус.
Мое почтенье,—

неизменно пел на мотив матчиша.

К нашему с Лидой конфузу, он всегда узнавал нас и после чтения подходил к нам и заговаривал. Говорил он

о самых обыденных вещах, спрашивал о здоровье наших родителей, просил передать им привет, при этом ласково трогал нас, окруженных толпою, за плечи, и я от застенчивости впадал в состояние столбняка.

Я был мучительно застенчив в те годы, но однажды, в присутствии Маяковского, проявил неожиданную бойкость и отвагу. Случилось это зимой 1920—21 года, в Доме искусств на Мойке, 59. В один из вечеров там состоялась встреча Маяковского с кучкой петроградских поэтов. Произошла она не в зале, а в сравнительно небольшой комнате. Было всего человек двадцать, и сидели все вокруг длинного стола на тяжелых дубовых стульях с высокими резными спинками. Не было там ни Гумилева, ни, разумеется, Блока. Кто же там был? Я припоминаю с трудом и могу ошибиться, но, вероятно, там были два Жоржика — Иванов и Адамович,— да Оцуп, да Вова Познер, Нельдихен, Лева Лунц, Миша Слонимский, Оленька Зив, Муся Алонкина, Елизавета Полонская, Даниил Горфинкель. Маяковский читал «150.000.000». Мне кажется, что поэма эта была и мне и всем присутствовавшим уже известна. Читал он потрясающе. Но большинство находившихся в комнате относились к нему и к его стихам враждебно. Нравилась поэма только мне, Вове Познеру, Леве Лунцу, но мы были самые младшие, непочтенные и робкие среди присутствующих. Маяковский кончил в полном молчании. Помню, как он, сев за стол (читал он стоя), безуспешно пытался заставить слушателей заговорить. Никто не сказал ни слова. Тогда он предложил, чтобы и другие читали стихи. Никто не вызвался. Он ждал, переводя взгляд с одного на другого. И вдруг, неожиданно для себя самого, я решился.

Ранней осенью двадцатого года я написал поэму «Новый Евгений Онегин» — о шестнадцатилетнем школьнике и комсомольце. Она была написана онегинской строфой, и это казалось мне чудом поэтической техники. В Студии Дома искусств я читал ее многократно, всем и каждому,— с неизменным неуспехом. У меня хватило наивности прочитать ее в присутствии Маяковского.

Я читал минут двадцать, и в течение всех этих двадцати минут он внимательно слушал, серьезно глядя мне в лицо. Он ни разу не улыбнулся, и это, вероятно, стоило ему больших усилий. Когда я кончил, он спросил, не хочет ли еще кто-нибудь почитать. Желающих не нашлось, и он больше не настаивал. Он, казалось, потерял всякий интерес

к этим людям. Устало он поднялся и подошел ко мне.

— Пойдемте,— сказал он.— Я хочу показать вас Лиле.

Оказалось, что он и Лиля Брик остановились тут же, в Доме искусств, в одной из комнат, годных для жилья. Он повел меня через весь дом по переходам и лестницам, держа руку у меня на плече. Так он ввел меня, открыв тяжелую дверь, в просторную комнату, где они жили.

В комнате было не убрано, накурено; вокруг стола, на одном конце которого громоздилась грязная посуда, сидело несколько мужчин и женщин. Они играли в «дурака». На диване спиной ко всем лежал мужчина во френче и в высоких сапогах. Когда мы вошли, небольшая полная женщина была занята тем, что, протянув руку через стол, била картами по носу оставшегося в дураках — по числу очков. Маяковский ждал, когда она кончит.

— Лиля, это Коля Чуковский,— сказал он.

Мужчина на диване повернул лицо и оказался Н. Н. Пуниным. Лиля подошла ко мне, улыбнулась, протянула руку.

— Он сейчас читал мне свою поэму,— продолжал Маяковский.— Она называется «Новый Евгений Онегин».

— И что же, лучше старого? — спросила Лиля.

Маяковский задумался.

— Нет, пожалуй, немного хуже,— сказал он, не улыбнувшись.

Я застеснялся и убежал.

В последний раз видел я Маяковского уже незадолго до его смерти,— на спектакле пьесы «Клоп» в Выборгском Доме культуры, в Ленинграде. Пошел я туда с мамой, по ее просьбе. Никто нас туда не приглашал,— мама, видимо, просто купила билеты. Она надела черное шелковое платье и, кажется, волновалась. В антракте Маяковский медленно прошел к сцене через зал между стульями. Мы впервые видели его с бритой головой. Маму мою это поразило. Он вообще показался ей очень изменившимся. Она почему-то считала его несчастным.

О смерти его я слышал то же, что и другие,— слухи ходили самые разнообразные и противоречивые. Много лет спустя, в 1948 году, я проводил лето со своей семьей в деревне Вертушино, рядом с литфондовским санаторием имени Серафимовича, известным под названием Малеевки. В Малеевке в то лето отдыхала Ольга Владимировна Маяковская, которой я до той поры никогда не видел. Узнав, что я живу неподалеку, она пожелала со мной познакомиться

и пришла к нам с визитом. Это была крупная женщина лет пятидесяти, очень похожая на брата не только лицом, но и манерой говорить. Уже тогда на ней заметны были следы тяжелого заболевания сердца, которое через несколько лет привело ее к смерти,— она страдала одышкой, на лице ее была отечность. И мне и жене она была очень мила, и после первого визита она, гуляя, стала заходить к нам каждый день.

И вдруг ее посещения прекратились.

Она не появлялась у нас больше недели. Мы с женой забеспокоились, полагая, что она заболела. Мы навели справки через знакомых отдыхающих и выяснили, что действительно она безвыходно сидит в своей комнате и не появляется даже в столовой.

Однако скоро мы узнали, что она здорова. Как передала она нам через общих знакомых, дело объяснялось тем, что в Малеевку приехал В. В. Ермилов. Не желая с ним встречаться, она десять дней не выходила из своей комнаты. Потом, не надеясь его переждать, уехала.

Она не скрывала, что считала В. В. Ермилова виновным в смерти своего брата.

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ

Я впервые увидел Николая Степановича Гумилева в Куоккале, у нас в саду, летом 1916 года, в одно из воскресений. Он тогда был мало знаком с моими родителями и приехал в черной визитке, в крахмальном воротнике, подпиравшем щеки. Стояла жара, гости пили чай в саду под елкой, и было жутко и жалко смотреть на тощего прямого человека в черном с задранной неповорачивающейся головой. Он был похож на того копченого сига, надетого на торчавшую изо рта палочку, которым моя мама неизменно угощала наших воскресных гостей.

Такой он был всегда — прямой, надменный, выспренный, с уродливым черепом, вытянутым вверх, как огурец, с самоуверенным скрипучим голосом и неуверенными, добрыми, слегка косыми глазами. Он вещал, а не говорил и, хотя имел склонность порою тяжеловесно и сложно пошутить, был полностью лишен юмора.

Следующий раз я увидел его через два года — в конце лета восемнадцатого. Папа, которого я во время его походов по городу сопровождал, как собачонка, забрел в редакцию журнала «Аполлон». Редакция этого изысканного художественного журнала помещалась в самой грязной булыжно-торговой части города — на углу Разъезжей и Николаевской. «Аполлон» в 1918 году уже не издавался, но помещение редакции еще имело прежний вид — гипсовая копия Аполлона Бельведерского в углу и длинный ряд канцелярских столов. В одной из задних комнат этой редакции жил Н. С. Гумилев.

Он был все такой же, события нисколько его не изменили. С тех пор я видел его часто. Вместе с моим отцом и Блоком он был приглашен Горьким к созданию издательства «Всемирная литература», и все они постоянно встречались. С осени 1918 года мы жили на Манежном

переулке, а коллегия «Всемирной литературы» собиралась на Моховой, совсем близко от нас, и после заседаний отец нередко приводил с собой Николая Степановича. Помню, он однажды обедал у нас, раза два ужинал. За обедом у нас он познакомился с двумя прехорошенькими и очень светскими барышнями Терещенко. Это были дочери того богатейшего сахарозаводчика Терещенко, который при Керенском был министром финансов. Гумилев, видимо, несколько растерялся в их присутствии, потому что отец мой после обеда сказал мне:

— Никогда не думал, что Николай Степанович способен так робеть в женском обществе. Он вел себя, как гимназист.

Отец мой не любил его стихов и называл их «стекляшками».

В эпоху борьбы Гумилева с Блоком в 1920—1921 гг. я был ярый блокист, тоже охотно бранил его стихи. Но и в моей жизни был период, когда я увлекался Гумилевым — осень 1918 года. Мне попалась его книга «Романтические цветы», и я выучил ее всю наизусть, восхищаясь нарядностью стихов. Очевидно, я уже тогда читал ему свои младенческие вирши, потому что он подарил мне «Жемчуга» с такою ласково-насмешливою надписью:

«Коле Чуковскому, моему собрату по перу.

18 ноября 1918 года».

Впоследствии эту книжку у меня украли.

В период моего увлечения Гумилевым я как-то привел его к нам в Тенишевское училище. Было это не позже 1919 года. И учащиеся и учителя приняли его, как вельможу. Прием происходил в нашей просторной учительской, Николая Степановича посадили во главе длинного стола педагогического совета, под портретом Острогорского. Учителя были в полном составе, из учащихся старших классов присутствовали только те, которые особенно интересовались литературой. Тенишевские поэты читали свои стихи, а Николай Степанович слушал с торжественным неподвижным лицом и после каждого стихотворения делал краткие благосклонные замечания. Уходя, он предложил тенишевским поэтам запросто приходить к нему в гости.

Его приглашением воспользовались трое: я, Лена Гейкина и рыжий еврейский мальчик Яша Бронштейн. Дальнейшая судьба этого Яши Бронштейна была героична и трагична,— родители, сочувствовавшие кадетам, увезли его в Крым, к Врангелю, там он вступил в подпольную комсо-

мольскую организацию и был повешен врангелевцами в Джанкое. Но случилось это позже, а в тот зимний день, когда мы втроем шагали по Николаевской к Гумилеву, Яша Бронштейн был еще пятнадцатилетним мальчуганом.

Так я во второй раз попал в бывшую редакцию «Аполлона». Никаких следов редакции уже не осталось,— это была теперь жилая квартира, холодная, запущенная, почти без мебели. Статуя Аполлона Бельведерского исчезла, но зато в просторной редакционной приемной на стене висел громадный, во весь рост, портрет Анны Ахматовой, не знаю, чьей работы, поразительно похожий. К тому времени Николай Степанович был уже с Ахматовой давно в разводе и в плохих отношениях, и потому увидеть портрет ее в этой комнате мы не ожидали.

Шумно пылал огонь в большом камине. Перед камином на стопочке книг сидел Николай Степанович, поджав колени к подбородку. На нем была темная домашняя курточка, самая затрапезная, но и в ней он казался таким же торжественным и важным, как всегда. Нас, попритихших и испуганных, он принял серьезно, как равных. Он усадил нас перед камином на книги и объяснил, что все редакционные столы и стулья он уже сжег. И я с удивлением увидел, что в камине пылают не дрова, а книги,— большие толстые тома. Николай Степанович сообщил нам, что он топит камин роскошным тридцатитомным изданием сочинений Шиллера на немецком языке. Действительно, издание было роскошнейшее,— в тисненных золотом переплетах, с гравюрами на меди работы Каульбаха, проложенными папиросной бумагой. Брошенный в пламя том наливался огнем, как золотой влагой, а Николай Степанович постепенно перелистывал его с помощью кочерги, чтобы ни одна страница не осталась несгоревшей.

Мне стало жаль книг, и я имел неосторожность признаться в этом. Николай Степанович отнесся к моим словам с величайшим презрением. Он объяснил, что терпеть не может Шиллера и что люди, любящие Шиллера, ничего не понимают в стихах. Существуют, сказал он, две культуры, романская и германская. Германскую культуру он ненавидит и признает только романскую. Все, что в русской культуре идет от германской, отвратительно. Он счастлив, что может истребить хоть один экземпляр Шиллера.

Мы почтительно промолчали, хотя я от всей души любил Шиллера, известного мне, правда, только по переводам Жуковского. У Николая Степановича его германофо-

бия была пережитком шовинистических настроений 1914 года. Но он вообще был галломан и ставил французскую поэзию несравненно выше русской. Кроме того, теория о двух культурах, романской и германской, помогала ему в борьбе с влиянием Блока, которого он объявлял проводником германской культуры.

Робко сидя на стопках книг, предназначенных для сожжения, мы стали читать свои жалкие детские стишки. Николай Степанович слушал нас, как всегда, торжественно и абсолютно серьезно. У него было удивительное качество,— он относился к детям так же, как к взрослым, нисколько их от взрослых не отличал. Помню, он утверждал, что совершеннолетие человека наступает в одиннадцать лет и что непонимание этого — одно из величайших заблуждений человечества. Он предъявил к нашим стихам точно такие же требования, какие предъявлял к стихам взрослых поэтов, и делал такие же замечания. Не помню, что сказал он о стихах моих и Гейкиной. В стихотворении Яши Бронштейна каждое четверостишие начиналось со слов: «Я иду...» По этому поводу Николай Степанович объяснил нам, что всегда, когда поэту нечего сказать, он пишет: «Я иду...»

В последний раз в бывшей редакции «Аполлона» я побывал на рождестве. Не могу сейчас сообразить, было ли это рождество девятнадцатого или двадцатого года. Меня и сестру мою Лиду пригласили на елку к сыну Николая Степановича Леве. На этот раз в комнате было тепло, сверкала разукрашенная елка, в камине пылали настоящие дрова. Никого из гостей, бывших в этот вечер, я не запомнил. Вокруг елки бегал и прыгал семилетний Лева, сын Гумилева и Ахматовой, нисколько меня, пятнадцатилетнего балбеса, не интересовавший. Николай Степанович поглядывал на него с нежностью и торжественно сказал о нем:

— Это мой Гумильвенок!

У Николая Степановича была прекрасная черта,— он постоянно внушал всем окружающим, что поэзия — самое главное и самое почетное из всех человеческих дел, а звание поэта выше всех остальных человеческих званий. Слово «поэт» он произносил по-французски «poéte», а не «паэт», как произносили мы, обыкновенные русские люди. В этом отношении дальше его пошел один только Мандельштам, который произносил уже просто: пуэт. Неоднократно слышал я от Гумилева утверждение, что поэт выше всех остальных людей, а акмеист выше всех прочих поэтов.

А так как окружающим его было ясно, что он лучший из акмеистов, то нетрудно понять, откуда проистекала у него уверенность в своем превосходстве над всеми.

Про Гумилева говорили, что он был хорошим товарищем, и, вероятно, это правда. Он был преданным другом и неутомимым покровителем своих довольно многочисленных друзей. Но точнее было бы сказать, что он был отличным организатором и превосходно умел использовать людей. За годы с 1918-го по 1921-й он проделал в Ленинграде колоссальную организационную работу. Он организовал несколько издательств — в невероятно трудных условиях разрухи — и издал и переиздал в этих издательствах ряд сборников стихов, своих и своих друзей. Он воссоздал «Цех поэтов» — так называемый «Новый цех», в отличие от старого «Цеха поэтов», существовавшего перед революцией. Он создал «Звучащую раковину» — нечто вроде дочернего предприятия при «Цехе поэтов». Он создал петроградское отделение «Союза Поэтов» и стал его председателем, потеснив Блока. Он принимал самое деятельное участие в создании Дома поэтов на Литейном и Дома искусств на Мойке и играл важную роль в обоих этих учреждениях. Он организовал семинар по поэзии в Студии при Доме искусств и был бессменным его руководителем. В созданном Горьким издательстве «Всемирная литература» он тоже был влиятельным человеком, руководя там всеми стихотворными переводами с западных языков. Таким образом, все многочисленные поэты Петрограда того времени, и молодые и старые, находились в полной от него зависимости. Без санкции Николая Степановича трудно было не только напечатать свои стихи, но даже просто выступить с чтением стихов на каком-нибудь литературном вечере. Одно только издательство «Алконост» осталось независимым от Николая Степановича. «Алконост» выпускал книги Блока.

Восстановленный «Цех поэтов» был как бы штабом Гумилева. В него входили только самые близкие, самые проверенные. «Цех» был восстановлен в восемнадцатом году и вначале — на самой узкой основе. Из дореволюционных акмеистов в него не входили ни Ахматова, ни Зенкевич, ни Городецкий, ни Мандельштам. (Из этих четверых одна только Ахматова в то время находилась в Петрограде.) Первоначально членами «Нового цеха» были только Гумилев, Георгий Иванов, Георгий Адамович, Николай Оцуп и Всеволод Рождественский. Потом была принята

Ирина Одоевцева — взамен изгнанного Всеволода Рождественского. К началу 21-го года членами «Цеха» стали С. Нельдихен и Конст. Вагинов. Но настоящим штабом был не весь «Цех», а только четверо: Гумилев, Иванов, Адамович и Одоевцева. Только они были соединены настоящей дружбой. Остальные были не друзья, а «нужность».

И самой нужной из этих «нужностей» был Николай Авдеевич Оцуп. Если «Цех» был штабом Гумилева, то Оцуп играл роль административно-хозяйственного отдела штаба. На нем лежала вся практическая сторона издательских затей Николая Степановича. Это он неведомыми путями добывал бумагу для всех стихотворных сборников, это он устанавливал связи с руководителями национализированных типографий, обольщая и запугивая их славой Николая Степановича. Кроме того, он попросту снабжал Гумилева и своих товарищей по «Цеху» провизией, что было делом немаловажным в те скудные годы. Как простой мешочник, запасшись выхлопотанной в Петросовете по знакомству «провизионкой», разъезжал он по станциям Витебской железной дороги и привозил в Петроград муку, крупу, свинину, сахар. Николай Степанович расплачивался с ним, печатая его стихи, позволяя ему выступать рядом с собой на литературных вечерах, хваля его дарование. Впрочем, и в «Цехе», и вокруг «Цеха» знали ему настоящую цену и суть его отношений с Гумилевым. Помню, как Георгий Иванов в одном из закоулков Дома искусств читал под секретом свое стихотворение об Оцупе, в котором были такие строчки:

Съезжу в Витебск, в Могилев,—
Пусть похвалит Гумилев.

В одном из стихотворений Оцупа было неграмотное выражение «умеревший офицер», и Георгий Иванов очень потешался над ним,— конечно, за глаза.

Блок говорил, что Оцуп это не человек, а учреждение, и расшифровывал его так: Общество Целесообразного Употребления Пищи. Как-то я сказал моему другу Вове Познеру, что на слово Оцуп нет рифмы. Но для Познера не существовало слов, которые невозможно зарифмовать. Подумав минуту, Познер сказал мне следующие две строчки:

Николай Авдеич Оцуп —
Он сует прилежно в рот суп.

И действительно, Оцуп прилежнейше совал себе в рот суп, и не только суп. Никогда не забуду одной сцены, в которой он показал себя во всем своем блеске. Мы, студенты, стояли в очереди на кухне Дома искусств, у кухонного стола. Дело в том, что нам, как учащимся, дважды в неделю полагалось по дополнительной осьмушке фунта хлеба. По-нынешнему осьмушка — пятьдесят граммов, т. е. один ломтик. Наша уполномоченная, Марья Сергеевна Алонкина, уехала за хлебом, а мы стояли и ждали. Мы ждали уже больше часа, когда явился Оцуп, плотный, румяный, напудренный, с толстыми ляжками и икрами, в отличном пиджаке, в франтовских полуботинках с острыми носками, и, кивнув кое-кому из нас головой, постучал в дверь людской. В людской при кухне Дома искусств жила некая Марья Васильевна, доставшаяся нам от старого режима,— до революции она жила в этой же людской, так как служила кухаркой у купцов Елисеевых, которым принадлежал дом, ставший потом Домом искусств. Под мышкой Оцуп держал что-то, завернутое в газету. Когда Марья Васильевна вышла на стук, Оцуп развернул перед ней газету, в которой оказалась курица, зарезанная, но не ощипанная. Он попросил Марью Васильевну зажарить ему эту курицу.

— Я вернусь через полтора часа,— сказал он и ушел.

Мы продолжали стоять и ждать хлеба. Марья Васильевна растопила плиту, ощипала курицу, вычистила, опалила ее над огнем. Алонкина все не возвращалась с хлебом, и мы продолжали ждать. Курицу стали жарить, и нестерпимо упоительные запахи переполнили просторную кухню. Хлеба все не было.

Наконец вернулся и Оцуп. Он уселся за кухонный стол, перед которым мы стояли в хвосте. Марья Васильевна подала ему курицу на большой тарелке, ножик, вилку. Он вынул из кармана хлеб, завернутый в бумагу, пакетик соли и принялся за еду. У него были крепкие зубы, и куриные кости громко хрустели. Только один раз он оторвал глаза от курицы, посмотрел на нас и сказал:

— Я не могу позволить себе голодать.

Когда он поел и ушел, явилась наконец и наша Марья Сергеевна с хлебом. Она раскромсала пять фунтов хлеба на сорок частей, каждый из нас взял по ломтику и ушел.

Среди прочих «нужных людей» Николая Степановича помню я и некоего Верина. Это был тщедушный, жалкого вида человечек с мятой, неопределенного возраста физиономией. Появлялся он в визитке, в накрахмаленном белье,

в лакированных полуботинках, и все это сидело хомутом на его убогом тельце, и пахло нафталином, и казалось странным в ту эпоху френчей, гимнастерок и толстовок. Когда он пронзительным высоким голосом читал свои стихи, на его кисленьком кривеньком личике появлялось выражение неистовства и восторга. Стихи были ужасные, никто не слушал их всерьез, все смеялись. Но у Верина был папа, которому до революции принадлежало громадное мукомольное предприятие — та колоссальная мельница возле Невской заставы, которая сейчас носит название «Мельница им. Ленина». Мельницу отобрали, но какие-то связи с мукомольной промышленностью у папы Верина еще сохранялись, и поэт Верин (несомненно, это был псевдоним) мог принести некоторую пользу людям, способствовавшим его славе.

Стихов Верина Николай Степанович не печатал никогда, но давал ему выступать на литературных вечерах, устраиваемых «Цехом». Один такой вечер Цеха с участием Верина я хорошо помню.

Помню вечер «Цеха поэтов» в одном из трех первых месяцев двадцать первого года, в Доме искусств, в том самом зале с расписным плафоном, в котором я слышал Блока. Участвовали все поэты «Цеха» и несколько молодых, которым они оказывали покровительство.

Зал был полон. Первым читал Гумилев. Я очень много раз слышал его чтение и в молодости умел похоже изображать его. Он читал с откровенным завыванием, как читали все акмеисты, подчеркивая голосом не смысловую, а ритмическую основу стиха, т. е. метр и синтаксис. В то время, к концу жизни, Гумилев находился в самом расцвете своего дарования. Он писал очень много, освобождаясь от многочисленных влияний, наложивших печать на творчество его молодости,— главным образом, от влияния Валерия Брюсова,— и стихи его становились все серьезнее, своеобразнее и сложнее. Аудитория слушала его восторженно. Читал он недолго, чтобы поскорее уступить место своим друзьям.

Из всех выступавших в тот вечер один Гумилев произносил все согласные звуки русской речи. Остальные шепелявили, картавили и грассировали — каждый на свой манер. У каждого это был врожденный недостаток, но он превратился как бы в отличительный признак акмеистов второго поколения, и притом признак, подававшийся нам как особого рода шик. И у Рождественского, и у Ирины

Одоевцевой была изысканнейшая каша во рту, но сильнее всех шепелявил Георгий Иванов. Он читал стихи примерно так:

Сооноватый ветей дысет,
Зееноватый сейп встает,
Настооживсись, ухо сьисет
Согьясный хой земьи и вод.

В тот вечер Гумилев, окончив читать свои стихи, превратился в конферансье. Перед выступлением каждого он выходил на эстраду и представлял выступающего публике. Конечно, начал он с Георгия Иванова и Георгия Адамовича, о которых отзывался всегда как о крупнейших, замечательнейших поэтах. По его словам, они олицетворяли внутри «Цеха» как бы две разные стихии — Георгий Иванов стихию романтическую, Георгий Адамович — стихию классическую. В действительности же, как в этом легко убедиться, стихи обоих Жоржиков были настолько похожи, что кажется, будто их написало одно лицо. У них были одни и те же достоинства, одни и те же слабости. Достоинства их заключались в том, что они тонко и умело владели всем аппаратом русского стиха, созданным блистательным развитием русской поэзии в первые два десятилетия нашего века. Слабости же — в том, что им совершенно нечего было сказать людям. В сущности, их искусство больше всего напоминало искусство аптекарей: они снова и снова смешивали между собой влияния Брюсова, Сологуба, Кузмина, Бориса Садовского, Игоря Северянина, создавая все новые дозировки, все новые комбинации тех же элементов.

Оцупа Николай Степанович представил аудитории почти так же пышно, как обоих Жоржиков. Органическое нахальство Оцупа, невольно прорывавшееся в его виршах, выдавалось за особую мужественность. Очень хорошо помню, что Гумилев назвал его в тот вечер новым Франсуа Вийоном.

Но с особой любовью Гумилев говорил об Ирине Одоевцевой. В двадцатом и двадцать первом году в кругу, примыкавшем к «Цеху поэтов», она стала общей любимицей. И были тому важные причины, на которых следует остановиться.

По-настоящему звали ее Рада Густавовна Гейнеке, она была барышня из петербургской немецкой чиновничьей среды. В литературной среде появилась она осенью 1919 го-

да, поступив студенткой в только что основанную Горьким Студию. Вначале никто на нее особенного внимания не обратил, хотя она была женщина с примечательной внешностью: гибкая, тонкая, с узким лицом, с узкими длинными пальцами, с пышнейшей короной темно-рыжих волос цвета старой бронзы, с зеленовато-голубыми глазами, с очень тонкой кожей той особой белизны, которая бывает только у рыжих. В одной из своих ранних баллад она говорит о себе как о перевоплощении кошки. Гумилев в посвященном ей стихотворении «Лес» назвал ее «женщиной с кошачьей головой». Но, повторяю, вначале никто на нее не обращал внимания, несмотря на ее внешность и несмотря даже на то, что она в своей стремительной кокетливой речи не произносила по крайней мере половины букв русской азбуки, что, как я уже говорил, почиталось в том кругу признаком величайшей изысканности. Она была всего только студисткой, а важные члены «Цеха поэтов», настоящие, признанные поэты, нас, студистов, почти не замечали и держали себя с нами свысока. И вдруг все переменилось. Рада Гейнеке, сделавшись Ириной Одоевцевой, стала центром всего примыкавшего к «Цеху поэтов» круга, стала душой этого круга, предметом его восхищения и почитания. Все мы знали тогда посвященное ей стихотворение Гумилева «Лес», которое заканчивается так:

Я придумал это, глядя на твои
Косы-кольца огневеющей змеи,
На твои зеленоватые глаза,
Как персидская больная бирюза.
Может быть, тот лес — душа твоя,
Может быть, тот лес — любовь моя,
Или, может быть, когда умрем,
Мы в тот лес направимся вдвоем.

А Георгий Иванов влюбился в нее пламенно, бурно и так, что об этом сразу узнали все. Он бегал за ней и робел перед нею, и помню, отец мой с удивлением говорил мне, что не ожидал, что он способен так по-мальчишески робко и простодушно влюбляться в женщину. Через несколько месяцев он женился на ней.

Ирина Одоевцева пользовалась успехом не только как женщина, но и как поэт. Основная причина успеха ее стихов в кругу «Цеха поэтов» заключалась в том, что она первая как поэт нашла прием, с помощью которого они могли выразить свое отношение к революции.

Если вы просмотрите все многочисленные сборники

стихов, выпущенные «Цехом поэтов» между 1918 и 1922 годами, вы обнаружите, что в них нет даже намеков на происходившие тогда столь грандиозные революционные события. Нынешний читатель, вероятно, объяснит себе этот удивительный факт тем, что члены «Цеха поэтов», относившиеся к революции отрицательно, лишены были возможности высказать свои взгляды в книжках, проходивших советскую цензуру. И ошибется. Военная цензура, единственная цензура, существовавшая в Советской России в годы гражданской войны, была столь нестрогой, что для высказывания в стихах любых взглядов поэтам не нужно было бы прибегать даже к эзопову языку, а разве лишь к самому прозрачному иносказанию. Нет, дело здесь не в цензуре. Поэты этого круга молчали о революции, потому что у них не было слов для выражения своего отношения к ней.

Революция ощущалась ими, эстетами, прежде всего как происшествие чрезвычайно дурного тона; настолько дурного тона, что о нем неприлично даже упоминать; и уж во всяком случае неприлично упоминать в такой изысканной сфере человеческой духовной жизни, как поэзия.

И сторонники революции, и ее враги говорили о ней публицистическим газетным языком. А язык этот в их представлении был верхом безвкусицы, и людей, пользовавшихся им, они не считали даже людьми. В слове их интересовал не смысл его, а его стилистическое звучание. Слова газетного языка им казались «мертвыми», а в программном стихотворении Гумилева «Слово» сказано:

И как пчелы в улье опустелом
Дурно пахнут мертвые слова.

«Живыми» словами они считали только слова, над которыми Брюсов, Иннокентий Анненский, Кузмин расставили стилистические значки, ведомые лишь небольшому кругу посвященных. Но никакие новые комбинации этих слов, созданных для изображения условного мира, не могли пригодиться для изображения мира действительного. Отвергнув «мертвые слова», деятели «Цеха поэтов» долго вынуждены были молчать о грандиозных событиях революции, вызывавшие у них страх и ненависть.

Ирина Одоевцева изобрела способ говорить «живыми словами» если не о революции, так хотя бы о некоторых чертах быта эпохи гражданской войны. О самых низмен-

ных чертах быта, бросавшихся в глаза мещанину,— о мешочниках, спекулянтах, бандитах. В деланно-жеманных балладах условными «живыми словами» она изображала трудный быт революционных годов как нагромождение причудливых, бессмысленных и жестоких нелепостей. И этим сразу завоевала сердца всего «Цеха».

Но вернемся к вечеру, на котором Гумилев исполнял роль конферансье. После Ирины Одоевцевой он представил публике поэта Нельдихена. Сергей Евгеньевич Нельдихен-Ауслендер был высокий тощий детина с длинным гоголевским носом. Вообще в его лице было что-то гоголевское, и он старательно подчеркивал это сходство, нося гоголевскую прическу и особую бархатную пелерину, скроенную «по-гоголевски». Он пользовался твердой репутацией дурака, по-моему, им не заслуженной. Он был плут, фантазер и чудак, но Николай Степанович говорил о нем в тот вечер именно как о дураке.

Вот что приблизительно он сказал о Нельдихене:

— Все великие поэты мира, существовавшие до сих пор, были умнейшими людьми своего времени. И Гомер, и Вергилий, и Данте, и Ронсар, и Корнель, и Бодлер, и Рембо, и Державин, и Пушкин, и Тютчев заслуженно прославились не только своим мастерством, но и своим умом. Будучи умными людьми, они, естественно, в своем творчестве изобразили мир таким, каким его видят умные люди. Но ведь умные люди — это только меньшинство человечества, а большинство состоит из дураков. До сих пор дураки не имели своих поэтов, и никогда еще мир не был изображен в поэзии таким, каким он представляется дураку. Но вот свершилось чудо,— явился Нельдихен — поэт-дурак. И создал новую поэзию, до него неведомую — поэзию дураков.

Гумилев произнес это торжественно, как и все. Публика выслушала его растерянно, не зная, следует ли это принимать всерьез или как шутку. Разумеется, это была шутка,— подобно многим лишенным юмора людям, Николай Степанович имел пристрастие к несколько тяжеловесному остроумию. Нельдихен стоял рядом и невозмутимо слушал. Потом прочел отрывки из своей поэмы «Органное многоголосье»:

Женщины, двухсполовинойаршинные куклы,
Прекрасноглазые, бугристотелые,
Как мне нравятся такие женщины!

Успех был огромный. Сидевший рядом со мной мой приятель Вова Познер поднялся на эстраду и под радостные клики всего зала преподнес Нельдихену большую заранее заготовленную морковку. Нельдихен принял морковку с поклоном и сунул ее в жилетный карман, как цветок.

Пришел черед читать Верину. Гумилев ограничился тем, что назвал только его имя, притом с таким видом, что всем все стало ясно. Маленький, тщедушный человечек в лакированных полуботинках, с напудренным длинным лицом выскочил на эстраду и, размахивая руками, стал читать стихи таким отчаянным натужным голосом, словно хотел выскочить из самого себя. Помню, у нас было стихотворение, в котором «Трокадеро» рифмовалось с «Пьеро». В эстетских кругах писать о Пьеро было модно в 1912 году. В 1921 году это было уже безнадежно провинциально и безвкусно.

— Мерин! — кричали мы с Вовой Познером исступленно.— Браво, мерин! Бис, мерин! Мерин, мерин!..

В студии, которая вначале именовалась Студией издательства «Всемирная литература», а потом Студией Дома искусств, Гумилев две зимы вел семинар по поэзии — зиму 1919—20 г. и зиму 1920—21 г. Я был усердным посетителем этого семинара в течение обеих зим. Впоследствии, спустя десятилетия, многие любопытствующие расспрашивали меня, что преподавал Гумилев на этом семинаре. О семинаре Гумилева в среде любителей поэзии сложилось немало легенд, и от меня хотели узнать, что в этих легендах правда, а что — вымысел. Особенно упорной является предположение, будто Гумилев заставлял своих учеников чертить таблицы и учил их писать стихи, бросая на эти таблицы шарик из хлебного мякиша. Так вот, что было и чего не было: таблицы были, шарика не было.

Гумилев представлял себе поэзию как сумму неких механических приемов, абстрактно-заданных, годных для всех времен и для всех поэтов, не зависимых ни от судьбы того или иного творца, ни от каких-либо общественных процессов. В этом он перекликался с так называемыми «формалистами», группировавшимися вокруг общества Опояз (Виктор Шкловский, Роман Якобсон, Б. Эйхенбаум и др.). Но в отличие от теорий опоязовцев, опиравшихся на университетскую науку своего времени, теории Николая Степановича были вполне доморощенными. Для того чтобы показать уровень лингвистических познаний Гумилева,

приведу только один пример: он утверждал на семинаре, что слово «семья» произошло от слияния двух слов «семь я», и объяснял это тем, что нормальная семья состоит обычно из семи человек — отца, матери и пятерых детей. Все это мы, студенты, добросовестно записывали в свои тетради.

Стихи, по его мнению, мог писать каждый, для этого следовало только овладеть приемами. Кто хорошо овладеет всеми приемами, тот будет великолепным поэтом. Чтобы легче было овладевать приемами, он их систематизировал. Эта систематизация и была, по его мнению, теорией поэзии.

Теория поэзии, утверждал он, может быть разделена на четыре отдела: фонетику, стилистику, композицию и эйдологию. Фонетика исследует звуковую сторону стиха — ритмы, инструментовку, рифмы. Стилистика рассматривает впечатления, производимые словом, в зависимости от его происхождения. Все слова русской речи Николай Степанович по происхождению делил на четыре разряда: славянский, атлантический, византийский и монгольский. В славянский разряд входили все исконно русские слова, в атлантический — все слова, пришедшие к нам с запада, в византийский — греческие, в монгольский — слова, пришедшие с востока. Композиция тоже делилась на много разрядов, из которых главным было учение о строфике. Эйдологией он называл учение об образе (эйдол — идол — образ).

Так как каждый отдел и каждый раздел делились на ряд подотделов и подразделов, то всю теорию поэзии можно было вычертить на большом листе бумаги в виде наглядной таблицы, что мы, участники семинара, и обязаны были делать с помощью цветных карандашей. Подотделы и подразряды располагались на этой таблице таким образом, что составляли вертикальные и горизонтальные столбцы. Любое стихотворение любого поэта можно было вчертить в эту таблицу в виде ломаной линии, отдельные отрезки которой располагались то горизонтально, то вертикально, то по диагонали. Чем лучше стихотворение, тем больше различных элементов будет приведено в нем в столкновение и, следовательно, тем больше углов образует на таблице выражающая его линия. Линии плохих стихов пойдут напрямик — сверху вниз или справа налево. Таким образом, эта таблица, по мнению ее создателя, давала возможность не только безошибочно и объективно критиковать стихи, но и писать их, не рискуя написать плохо.

Мы, студисты, усердно сидели над своими таблицами и, тем не менее, писали на удивление скверные вирши. На семинарах мы читали их поочередно, по кругу, и Николай Степанович судил нас. Когда по кругу приходила его очередь, читал и он — новые стихи, написанные в промежутке между двумя семинарами. Он много писал в те годы, то были годы расцвета его дарования, он писал все лучше. Не знаю, пользовался ли он сам своими таблицами. Одно для меня несомненно,— к таблицам он относился совершенно серьезно.

Вся эта наивная схоластика была от начала до конца полемична. Она была направлена, во-первых, против представления, что поэзия является выражением тайного тайных неповторимой человеческой личности, зеркалом подлинной отдельной человеческой души, и, во-вторых, против представления, что поэзия отражает общественные события и сама влияет на них. В те годы оба эти враждебные Гумилеву представления о поэзии с особой силой были выражены в творчестве Блока. Стихи Блока представляли собой лирический дневник, отражавший душевную жизнь одной отдельной человеческой личности, и в то же время именно Блок написал поэму «Двенадцать», изобразившую Октябрьскую революцию. И все эти таблицы с анжамбеманами, пиррихиями и эйдолологиями были вызовом Блоку.

Блок, между прочим, отлично понимал, в кого метит Гумилев, не был к его проповеди равнодушен и ответил на нее блестящей статьей: «Без божества, без вдохновенья».

На семинарах Николая Степановича я хорошо изучил его вкусы и литературные мнения. Для них прежде всего была характерна галломания. На семинаре он постоянно твердил имена Ронсара, Франсуа Вийона, Расина, Андре Шенье, Теофиля Готье, Леконта де Лиля, Эредиа, Бодлера, Рембо, Маллармэ, Гийома, Аполлинера. Казалось, самый звук этих имен доставлял ему наслаждение. Из русских классиков он признавал только Державина, Пушкина, Баратынского и Тютчева. Ко всем остальным относился презрительно, даже к Лермонтову. Жуковского, А. К. Толстого и Некрасова терпеть не мог. Фет и Полонский в его устах были пренебрежительные клички. Надсона он считал самым плохим поэтом в мире.

Из русских поэтов XX века он полностью принимал одного только Иннокентия Анненского и всегда ставил его на самое первое место. К Валерию Брюсову — несом-

ненному своему учителю — он относился как к явлению почтенному, но смешноватому, устаревшему, вышедшему из моды. Ценил он отчасти и Сологуба, но обвинял его в неточном употреблении слов. Бунина он не признавал поэтом, Бальмонта и Северянина презирал. К Маяковскому относился, разумеется, совершенно враждебно, и из футуристов с некоторым уважением говорил только о Хлебникове.

Прозы он не любил никакой и всю ее считал как бы чем-то низшим в отношении поэзии,— так сказать, недоделанной поэзией. Русской же прозы он особенно терпеть не мог. Имен Льва Толстого и Чехова он не произносил никогда, о Тургеневе говорил с гадливостью, как о Надсоне. С некоторым уважением отзывался он только об «Огненном ангеле» Брюсова и повестях Сергея Ауслендера. Само собой разумеется, что всю прозу Горького он считал находящейся вне литературы. А стихи Горького очень его смешили. Помню, он не раз говорил нам на семинаре, что самая плохая строчка во всей мировой поэзии — строчка Горького из «Песни о соколе», состоящая только из односложных слов:

Уж влез и лег там.

Весной 1921 года студисты первого призыва должны были окончить Студию и расстаться с ней. Но, как подлинный организатор, Гумилев преобразовал свой семинар в общество молодых поэтов под названием «Звучащая раковина». При преобразовании этом я не присутствовал,— не помню, то ли оттого, что к этому времени наша семья уже уехала в Псковскую губернию, то ли оттого, что меня просто не пригласили на организационное собрание как недостойного. О «Звучащей раковине» я узнал только вернувшись из Псковской губернии в ноябре 1921 года, когда Николая Степановича уже не было в живых. «Звучащая раковина» представлялась Николаю Степановичу в виде молодежной организации при «Цехе поэтов». Организационное единство должно было выражаться в том, что он стал главой обеих организаций. Он был объявлен Синдиком «Звучащей Раковины». Титул Синдика носили главы средневековых ремесленных цехов. Выбором такого титула Гумилев хотел подчеркнуть свое уважение к ремеслу. Он считал поэзию прежде всего ремеслом, в котором навыки мастерства должны были передаваться от поколения к поколению, как в средневековых цехах.

Я не встречался с Гумилевым в последние месяцы его жизни, так как большую часть 1921 года провел вне Петрограда, и знаю о дальнейшей его судьбе только по рассказам. В это время он совершил загадочное путешествие в Крым, только что освобожденный Красной Армией от Врангеля.

Уехал он в салон-вагоне, место в котором ему предоставил командующий Черноморским флотом адмирал Немитц. В вагоне их было только двое — Гумилев и Немитц. Два года спустя, в 1923 году, я в Москве встретил человека, который дважды навестил Гумилева в этом вагоне, при обеих его поездках через Москву — с севера на юг и с юга на север. Человека этого поразила роскошь, которой окружен был Гумилев в вагоне; он рассказывал мне о какой-то необычайной посуде, о бесчисленных бутылках вина. В только что освобожденном Севастополе Гумилев был восторженно принят своими поклонниками,— по-видимому, в первую очередь, командирами Красного флота из числа бывших морских офицеров. Ближе всего сошелся он там с Сергеем Колбасьевым, молоденьким моряком, бывшим мичманом, который в 1918 году участвовал в прославленном походе нескольких балтийских кораблей из Кронштадта в Каспийское море по Волге. С Каспийского моря Колбасьев попал в Азовскую Красную флотилию и принимал участие в освобождении Севастополя от врангелевцев. Само собой разумеется, что Колбасьев и сам писал стихи и в стихах этих по мере сил подражал Гумилеву. Встретив Гумилева в Севастополе, Колбасьев, разумеется, мгновенно влюбился в него и сделался самым преданным его рабом. В предсмертном стихотворении Гумилева «Мои читатели» есть такое упоминание о Колбасьеве:

Лейтенант, водивший канонерки
Под огнем неприятельских батарей,
Целую ночь над южным морем
Читал мне на память мои стихи.

Свидетельством замечательных организаторских дарований Гумилева является то, что он во время короткого пребывания в Севастополе успел издать там свою новую книгу стихов, «Шатер»,— одну из лучших своих книг. В издании помогал ему, конечно, Колбасьев. Теперь это севастопольское издание «Шатра» в синей обложке стало драгоценнейшей библиографической редкостью. Возвращаясь из Севастополя в Петроград, Гумилев посадил своего

нового друга Колбасьева в салон-вагон Немитца и привез его с собой.

Арест и расстрел Гумилева потрясли знавших его людей. Гумилева все считали человеком, лояльно относившимся к Советской власти, несмотря на то что он никогда и нигде о своей лояльности не заявлял.

Чтобы разобраться в этом, нужно напомнить о том, что происходило тогда внутри петроградской интеллигенции.

В годы гражданской войны вся интеллигенция Петрограда была резко расколота на два враждебных лагеря,— лагерь тех, кто ненавидел Советскую власть и считал всякое сотрудничество с ней невозможным, и лагерь тех, кто стоял за сотрудничество с Советской властью, за помощь ей в ее культурных задачах. Оба лагеря были совершенно непримиримы и враждовали открыто, нисколько не скрывая своих мнений. В литературной среде во главе первого лагеря стояли Мережковский, Гиппиус, Ремизов, Амфитеатров, Куприн; во главе второго — прежде всего Горький, а с ним Блок, мой отец и др. Этот водораздел был тогда главным, основным, все остальные подразделения между группочками и лицами казались второстепенными. Принадлежность того или иного человека к тому или иному из этих двух политических лагерей определялась прежде всего его поведением — работает ли он в советских учреждениях и советской печати или не работает. Я помню, как критик Валериан Чудовский, бывший соратник Гумилева по редакции «Аполлон», расхаживал, держа правую свою руку на белой перевязи. И когда его спрашивали, не болит ли у него рука, он отвечал:

— Нет, я просто не хочу ее подавать подлецам, сотрудничающим с большевиками.

Не подавал он ее, разумеется, и Гумилеву — члену редакционной коллегии советского государственного издательства «Всемирная литература», члену правления советского учреждения Дом искусств, преподавателю Студии — советского учебного заведения.

Тот факт, что Гумилев резко отрицательно отзывался о творчестве как Горького, так и Блока, нисколько не противоречил сложившемуся в те годы мнению, что по вопросу о сотрудничестве с Советской властью они трое стоят на близких позициях. Ведь и Горький, и Блок до революции тоже принадлежали к совершенно разным литературным лагерям; да и после революции они лично

были далеки и вовсе не восторженно относились к творчеству друг друга. Но в годы гражданской войны они оба принимали участие во всех начинаниях Советской власти в области культуры и всюду самым деловым образом работали вместе. Все понимали, что в основе их совместной работы лежит близость их политических позиций; а так как Гумилев тоже охотно работал с ними, то предполагалось, что и его политические взгляды похожи.

Это предположение в глазах тогдашних людей подтверждалось еще и тем, что за годы гражданской войны Гумилев не сделал ни малейшей попытки эмигрировать. Все руководители лагеря врагов сотрудничества интеллигенции с Советской властью — и Мережковский, и Гиппиус, и Амфитеатров, и Ремизов, и Куприн, и Валерьян Чудовский,— все, одни немного раньше, другие немного позже, уехали из России. Это было, в сущности, осуществимо для каждого, кто этого хотел, особенно для такого молодого, здорового и в высшей степени предприимчивого человека, каким был Гумилев. Следовательно, раз он остался, он, значит, считал нужным остаться. Так, видимо, понимали его политическую позицию и Горький, и Блок, и мой отец.

И к нему лично, и к нему как к литератору они трое относились без симпатий. Я уже упоминал, что отец мой никогда не любил его стихов. По рассказам отца я знаю, что на заседаниях редакционной коллегии «Всемирной литературы» над Гумилевым посмеивались. В одном стихотворении Гумилева есть строчки:

...у озера Чад
Изысканный бродит жираф.

Во «Всемирной литературе» ему придумали прозвище: «Изысканный жираф» — и за глаза иначе не называли. Потешались, помню, еще над одной строчкой, которая начиналась словами: «Жарят Пьера». И все-таки мы видим, как Горький в те годы охотно включал его во все предприятия, в которые входил сам. Он старался консолидировать все культурные силы, желающие сотрудничать с Советской властью, и, несомненно, к таким силам причислял и Гумилева.

Оставшись без Гумилева, члены «Цеха поэтов» в течение нескольких ближайших месяцев энергично продолжали начатую при нем деятельность. Они издали второй

выпуск альманаха «Цех поэтов», включив в него в траурной рамке два предсмертных стихотворения Гумилева, выпустили посмертно стихи Гумилева отдельным сборником, выпустили сборник стихотворений Георгия Адамовича «Чистилище» с посвящением «Памяти Андре Шенье». Но потом они, вероятно, решили, что продолжение их деятельности небезопасно, и в первой половине 1922 года Георгий Иванов, Георгий Адамович, Ирина Одоевцева и Николай Оцуп уехали за границу.

Много лет спустя, в начале тридцатых годов, когда происходил массовый переход старой интеллигенции на позиции Коммунистической партии, называвшийся в то время «перестройкой», мой друг Валентин Стенич, говоря со мной о Гумилеве, как-то сказал:

— Если бы он теперь был жив, он перестроился бы одним из первых и сейчас был бы видным деятелем ЛОКАФа[1].

Трудно сказать, верно ли это суждение. Мне оно кажется верным. Разобраться тут мог бы только проницательный человек, который умел бы определить, где в образе Гумилева была правда и где маска или поза, а не мальчик, которому в 1921 году исполнилось семнадцать лет. Безусловно, верно одно: расстреливать Гумилева — при всех обстоятельствах — не следовало, и, думая об этом, я вспоминаю, как все тот же Стенич однажды сказал:

— Когда государство сталкивается с поэтом, мне так жалко бедное государство. Ну что государство может сделать с поэтом? Самое большое? Убить! Но стихи убить нельзя, они бессмертны, и бедное государство всякий раз терпит поражение.

---

[1] ЛОКАФ — Литературное Объединение Красной Армии и Флота, существовавшее в начале тридцатых годов.— *Сост.*

ДОМ ИСКУССТВ, КЛУБ ДОМА ИСКУССТВ, ЛИТЕРАТУРНАЯ СТУДИЯ ДОМА ИСКУССТВ

Об этих учреждениях первых лет революции, основанных по инициативе Горького, я обязан рассказать, чтобы сделать понятным мой дальнейший рассказ. Вся жизнь художественной и литературной интеллигенции Петрограда в знаменательное четырехлетие с 1919 по 1923 год была связана с Домом искусств. В Доме искусств завершилось многое из того, что пышно цвело в русской культуре в предшествующую эпоху. Дом искусств был колыбелью для многого, чему предстояло возмужать и расцвести в последующие годы.

Как всему, что создавалось по замыслам Горького в первые годы революции, Дому искусств в идее была свойственна громадность и универсальность. По мысли своего основателя, он должен был объединить в своих просторных стенах литераторов, художников, музыкантов, актеров, стать центром всех искусств на долгие-долгие годы, где в постоянном общении с мастерами росла бы художественная молодежь. Жизнь, разумеется, внесла и в этот замысел свои поправки, и роль Дома искусств оказалась гораздо более узкой и кратковременной, чем предполагалось, и все-таки след большой первоначальной мысли лежал на всем, что в нем творилось.

Прежде всего огромно было самое здание. Мойка, 59. Дворец постройки XVIII века, занимающий целый квартал между Мойкой, Невским и Морской. Когда-то он принадлежал великим князьям, затем просто князьям и, наконец, купцам Елисеевым, владельцам двух знаменитых елисеевских магазинов — в Петербурге на Невском и в Москве на Тверской. Жилье самих Елисеевых занимало три этажа, выходившие окнами на Мойку. Все этажи, выходившие окнами на Невский и на Морскую, занимала контора какого-то банка. Дому искусств досталось все,— и пышные

палаты Елисеевых, и бесконечные переходы и закоулки банка.

Когда ранней осенью 1919 года я впервые вошел в этот дом, казалось, что Елисеевы выехали из него только что. Возможно, почти что так оно и было. Во всяком случае, после их отъезда дом их до нас никто не занимал. Громадные их апартаменты предстали перед нами во всей их изначальной безвкусице. И безвкусица, и пышность была та самая, что и в елисеевских магазинах. Колоссальные канделябры в виде изогнутых декадентских лилий, утыканные фарфоровыми электрическими свечами. Голубые потолки, расписанные розовыми ангелами. Вообще цветочки и ангелочки повсюду — на стенах, на электрической арматуре, на картинах, на коврах, на резной мебели. Мебель, тяжеловесная, мрачная, дубовая, вся в вычурной резьбе. Очень много золота — золотые рамы картин и зеркал, золотые багеты, золотые медальоны на стенах. И нигде ни одной прямой линии, ни одной спокойной плоскости,— все в завитушках, в выкрутасах, и так шестьдесят три комнаты трех этажей.

Помню, как удивило меня, выросшего в мещанских квартирах, когда я узнал, что в этих шестидесяти трех комнатах жило всего трое — старик Елисеев, его жена и их единственный взрослый сын. Да и какие комнаты — некоторые из них можно было превратить в зрительные залы, вмещающие по несколько сот человек. Столовая, в которой можно было бы накормить целый батальон. Обширнейшая бильярдная. Библиотека, поразившая меня не только своей просторностью, но и тем, что в ней многие стеллажи и корешки книг были намалеваны масляной краской по стенам и по дверям, чтобы казалось, что книг больше, чем на самом деле. Трех человек, живших в шестидесяти трех комнатах, обслуживало более двадцати человек прислуги — лакеи, горничные, повара, кухарки, кучера, конюхи. С частью этой челяди я познакомился,— человек шесть из них продолжало жить в маленьких комнатенках вокруг кухни и было включено в штат Дома искусств.

От этих елисеевских слуг я, собственно, и узнал все, что рассказываю здесь про Елисеевых. Эти слуги, став служащими Дома искусств, с величайшим усердием убирали все шестьдесят три комнаты, натирали паркетные полы, надраивали металлические части, чистили пылесосами ковры и мягкую мебель. Усердие они проявляли вовсе не из желания угодить правлению Дома искусств. В ту грозную осень

на Петроград наступали полки Юденича и уже стояли под самым городом, заняв Царское Село и Гатчину. Елисеевские челядинцы полагали, что хозяева их скоро вернутся, и рассчитывали получить награду за сбереженное добро, за верную службу.

В члены Дома искусств были зачислены известные литераторы, художники и музыканты. Но художники и особенно музыканты появлялись в нем редко. Из музыкантов бывал иногда один только Асафьев (Игорь Глебов). Помню, как-то раз видел я там Глазунова. Из художников бывали Добужинский и два брата Бенуа, Александр и Альберт,— особенно часто Альберт. Известные литераторы поначалу тоже приходили неохотно,— только в те дни, когда в Доме искусств что-нибудь выдавали или когда там совершалось что-нибудь особенно важное

Первое важное событие, происшедшее в стенах Дома искусств, был прием, устроенный петроградскими литераторами во главе с Горьким в честь приехавшего в Советскую Россию Герберта Уэллса.

Уэллс приехал в Петроград вместе с сыном, молодым человеком девятнадцати лет. Они явились к Горькому. Горький попросил моего отца как человека, хорошо знающего английский язык, водить гостей по достопримечательностям.

Дело это было нелегкое, потому что оба гостя оказались на редкость неразговорчивыми и даже вопросов почти не задавали. Они как будто чего-то все время боялись, хотя чего именно, понять было невозможно. Суровый, голодный, оборванный, без света и тепла, без извозчиков и без автомобилей, полупустой город со стоящими трамваями, с траншеями и брустверами посреди улиц и площадей для отпора белогвардейским бандам Юденича наводил на них ужас одним своим видом.

Не зная, что им показывать, отец предложил им посетить школу. Они согласились. Естественно, что отцу проще всего было свести их к нам, в б. Тенишевское училище, где учились я и моя сестра. Так он и поступил.

Там я впервые увидел Уэллса.

Для нас, школьников, встреча с ним была большим событием. В те годы мальчики и девочки из интеллигентских семейств зачитывались Уэллсом, а в Тенишевском учились преимущественно дети интеллигенции. Радостной толпой встретили мы его в одном из наших длинных залов и жадно разглядывали. Это был полный коротенький госпо-

дин со светлыми беспокойными глазами, с гладкозачесанными светлыми редкими волосами. Сын его был очень на него похож, только длиннее и тоньше. Оба они не снимали пальто, потому что школа в ту осень не отапливалась. Отец мой, говорливый и веселый, как всегда на людях, спрашивал то одного мальчика, то другого, какую книгу Уэллса он любит больше всего. Ответы так и сыпались:

— «Машину времени».

— «Борьбу миров».

— «Пищу богов».

— «Фантастические рассказы».

— «Когда спящий проснется».

— «Невидимку».

Все книги Уэллса были названы, даже такая не детская, как «Мистер Бритлин и война». Не было ни одного мальчика, который не мог бы назвать какой-нибудь книги Уэллса. Отец мой все это добросовестно и эффектно переводил на английский. Но Уэллс слушал хмуро. Он ни разу нам не улыбнулся и не задал ни одного вопроса. Он не скрывал, что хочет поскорее уйти. Все пребывание его у нас в школе продолжалось не больше получаса.

Впоследствии он написал об этом своем посещении советской школы, что все это была инсценировка, устроенная Чуковским, что его встретили дети, которых накануне заставили вызубрить названия его книг. Он не поверил в нас, потому что слишком жалкими мы ему показались. И действительно, на человека, приехавшего из Лондона, мы, дети русского девятнадцатого года, должны были производить жуткое впечатление. С синими от голода прозрачными лицами, с распухшими от холода пальцами, закутанные в лохмотья, обутые в дырявые солдатские башмаки с веревками вместо шнурков, мы, выросшие в трагические годы, были гораздо начитаннее своих английских сверстников. Но оказалось, что чистенькое воображение не могло поверить в интеллектуальное преимущество столь убогих созданий.

Был я и на официальном приеме, устроенном Горьким Уэллсу в Доме искусств от имени художественной интеллигенции Петрограда. Разумеется, отец мой захватил меня туда с собой только для того, чтобы накормить. Заранее было известно, что Петросовет выделил для этого торжества редчайшие продукты, в том числе целый ящик шоколада. Я не видел шоколада уже больше трех лет, с весны шестнадцатого года, и мечтал о нем гораздо больше, чем о новом

свидании с Уэллсом. И действительно, был шоколад,— город, начавший мировую революцию, с безграничной щедростью чествовал знаменитого английского мечтателя. Из нафталина были извлечены давным-давно не надеванные, уже старомодные фраки, визитки, пиджаки, пожелтевшие крахмальные манишки, стол был накрыт в большой елисеевской столовой со всей пышностью елисеевской обстановки. Паркет был натерт, было блаженно тепло, и только электричество горело несколько тускло. Присутствовало человек пятьдесят — шестьдесят, не больше. Лиц я не помню,— по-видимому, в основном те, кого я уже упоминал на этих страницах. Произносились какие-то речи, но я их забыл бесповоротно. Помню только, что среди говоривших был и правый эсер Питирим Сорокин. Не знаю, попал ли он туда по недосмотру или его нарочно пригласили, чтобы беспристрастно представить Уэллсу и иную точку зрения. Сорокин произнес длинную, полную намеков речь о том, как большевики притесняют великую русскую интеллигенцию. Уэллс выслушал перевод его речи так же, как слушал переводы всех остальных речей,— с растерянным, страдающим видом человека, который хочет поскорей уйти и не знает, как это сделать.

Через несколько месяцев отец показал мне книжонку Уэллса «Russia in the dark»[1] — отчет о его поездке в Советскую Россию. Помню, отец был оскорблен этой книгой. Уэллс не поверил ему, не поверил ничему, что видел. Всю жизнь человек писал о чудесах, но, единственный раз встретившись с настоящим чудом, не узнал его...

Известные литераторы не слишком часто посещали Дом искусств. И он пустовал бы, если бы его не наполнила толпа молодежи из Студии.

Студия была месяца на два старше, чем Дом искусств. Она первоначально задумана была как студия при издательстве «Всемирная литература». И открылась в конце лета 1919 года в доме Мурузи на Литейном, в помещении Дома поэтов. Но тут Дом поэтов закрылся, а Дом искусств открылся, и она переехала в Дом искусств.

Прежде всего надо ответить на вопрос, зачем издательству «Всемирная литература» нужна была Студия?

Издательство «Всемирная литература» тоже было создание Горького, и притом самое любимое его создание тех лет. И, конечно, замысел, положенный в его основу, был

---

[1] «Россия во мгле».— *Сост.*

громаден и универсален: дать рожденному революцией многомиллионному читателю все ценное, созданное человечеством в области литературы за всю историю его существования на всех языках. Свою деятельность редакционная коллегия «Всемирной литературы» начала с создания обширнейшего каталога своих будущих изданий. Каталог этот был издан и является замечательным документом по истории нашей советской культуры, отражающим литературные взгляды и вкусы Горького и близкого к нему круга в первые годы революции. «Всемирная литература» за шесть лет своей весьма энергичной деятельности (с 1918 по 1924 гг.), конечно, не издала и пяти процентов намеченного, но грандиозная программа изданий, лежавшая в основе этого горьковского каталога, осуществлялась мало-помалу впоследствии целым рядом других советских издательств: Academia, ГИХЛ.

Для столь колоссальной программы нужны были обширные и высококвалифицированные кадры переводчиков. А их явно не хватало. Широкие круги буржуазной интеллигенции были враждебны Советской власти, охвачены саботажем и отказывались работать в советском издательстве. А среди желавших работать мало было людей, знавших иностранные языки и достаточно хорошо владевших русским стихом или русской прозою. И по первоначальному замыслу Студия при «Всемирной литературе» должна была готовить переводчиков из литературно одаренной молодежи.

Как получилось, что замысел этот был изменен, я не помню. Возможно, здесь сыграли решающую роль интересы самой молодежи, хлынувшей в Студию,— она жадно увлекалась русскими стихами и русской прозой, но совсем не мечтала о деятельности переводчиков. Во всяком случае, Студия с самого начала была организована как ряд «жанровых» семинаров под руководством известных литераторов.

О семинаре по поэзии, которым руководил Гумилев, я уже рассказывал. Перечислю тех из участников этого семинара, которые впоследствии хоть сколько-нибудь занимались литературной деятельностью. Вот они: Конст. Вагинов, Сергей Нельдихен, Влад. Познер, Рада Гейнеке, она же Ирина Одоевцева, Ольга Зив, Даниил Горфинкель, Елизавета Полонская, Петр Волков, Ан. Столяров, Ник. Дмитриев, две сестры Наппельбаум. Было еще человек восемь, мною позабытых.

Семинаром по критике руководил мой отец. Этот семинар просуществовал недолго — отец, пылко взявшись за дело, скоро охладел к нему. И студисты его, весьма многочисленные, разошлись по другим семинарам.

Однако десяток занятий отец все-таки провел. Начал он с того, что дал своим студистам задание: написать критическую статью о стихотворениях С. Надсона. Подобно большинству литераторов того времени, отец мой считал Надсона одним из самых плохих поэтов на свете, как бы учебно-показательным образцом плохого поэта. На следующем занятии отец уже разбирал принесенные статьи. Статьи были беспомощные, плохие, и отец эффектно и радостно высмеивал их недостатки. Особенно долго и беспощадно издевался он под общий хохот над одной статьей, автор которой, тоненький небольшой молодой человек с военной выправкой, с красивым лицом итальянского юноши, сидел на самом дальнем стуле в конце комнаты. Смуглые щеки его бледнели от смущения и обиды. Это был Михаил Зощенко, и статья о Надсоне была первым его литературным произведением. Разобидевшись на моего отца, он перешел в семинар прозы, которым руководил Евгений Иванович Замятин. И стал писать прозу.

Самыми способными людьми в семинаре моего отца, выделившимися с первых же занятий, оказались два студента Петроградского университета: Лев Лунц и Илья Груздев. На одном из занятий отцовского семинара Лунц прочитал реферат о прозе Андрея Белого. Когда семинар по критике прекратил существование, Лунц и Груздев тоже перешли в семинар Замятина.

В семинаре у моего отца начали свое студийское существование и две самые хорошенькие девушки Студии — Дуся Каплан и Муся Алонкина. Не помню, в какой семинар пошли они после прекращения семинара по критике, но Студии они не покинули и играли в ней все возрастающую роль.

На семинаре у Замятина я ни разу не был,— мне не приходило в голову, что я когда-нибудь буду писать прозу. Но видел Замятина часто. Это был тогда человек лет тридцати пяти, крепкого сложения, среднего роста, светлый шатен, аккуратно причесанный на пробор. Насмешливые глаза, длинный тонкий мундштук в насмешливых губах, клубы табачного дыма, разгоняемые рукой, до самых ногтей заросшей густыми рыжими волосами. По образованию он был инженер-кораблестроитель и перед революцией

несколько лет провел в Англии, где наблюдал за постройкой ледоколов, заказанных русским правительством. Его книги — «Уездное», «На куличках» и «Островитяне» — были тогда весьма известны и не то чтобы нравились, но считались хорошо написанными,— их стилистическая замысловатость вызывала почтение в тогдашних литературных кругах.

Замятин тоже был участником всех горьковских мероприятий первых лет революции. К Горькому его привело враждебное отношение к саботажу. К белогвардействовавшим литераторам он относился презрительно и брезгливо. Но литературно между Замятиным и Горьким не было ничего общего. Замятин как писатель был ученик и последователь Алексея Ремизова (хотя, кажется, лично находился с ним в плохих отношениях). Подобно Ремизову, он был эстет, во фразе больше всего ценивший вычурность, а в сюжете — эксцентричность. Повторяю, я никогда не был у него на семинаре, но то, что я слышал от его учеников, убеждает меня, что преподавание его отличалось тем же доморощенным формализмом, что и преподавание Гумилева. Помню, мне рассказывали, что прежде всего он требовал от своих учеников полного отказа от общепринятых авторских ремарок к прямой речи героев, вроде: «сказал он», «подумала она», «возразила Марья Петровна». Беда Замятина как писателя заключалась в том, что тем художественным методом, которым он владел и который признавал единственно ценным, невозможно было изобразить события революции,— подобно тому, как невозможно было их изобразить художественным методом «Цеха поэтов». Влияние Замятина, безусловно, сказалось на пышном развитии в двадцатых годах так называемой «орнаментальной» прозы, которая теперь, тридцать лет спустя, кажется совершенно неудобочитаемой. Посмотрите повесть «Рясная ягода» Николая Каткова, одного из самых усердных и правоверных участников замятинского семинара, вышедшую отдельной книжкой в 1924 году; в ней все так закручено и мудровато, что невозможно одолеть и двух страниц. Из учеников Замятина впоследствии лишь те остались в советской литературе, кому удалось преодолеть влияние своего учителя. К счастью, это удалось довольно многим.

В семинаре Замятина кроме Зощенки, Каткова, Ильи Груздева, Льва Лунца занимался и Николай Никитин. Помню, о нем как о способном прозаике заговорили в Сту-

дии раньше, чем о других. Его первый рассказ «Кол», выслушанный и обсужденный на замятинском семинаре, долго считался выдающимся произведением.

Художественному переводу, и притом исключительно переводу стихов, был посвящен всего один семинар — М. Л. Лозинского. На занятиях этого семинара я тоже никогда не был. Особенность этого семинара заключалась в том, что состоял он исключительно из женщин,— ни одного мужчины, кроме самого Лозинского. Пятнадцать дам, изысканных, лепечущих по-французски, в возрасте от тридцати до сорока и, говорят, поголовно влюбленных в своего руководителя. А в него тогда мудрено было не влюбиться,— высокий, крепкий, обольстительно учтивый и пленительно образованный, Михаил Леонидович Лозинский привлекал все сердца. На своем семинаре они — в Петрограде 1919 года — сообща переводили сонеты Эредиа. По многу дней сидели над каждой строчкой. И сколько было вариантов, восторгов, тончайших наблюдений, остроумных догадок, пылких восклицаний, охов, ахов, шелестов, хрустов и трепетов! Изысканные лозинистки держались несколько в стороне от остальных студистов, и потому из них запомнились мне только две: Оношкович-Яцына, впоследствии превосходно переводившая стихи Киплинга, и Памбэ (псевдоним Рыжкиной) — милейшая толстуха, писавшая очень смешные шуточные стихи.

Во время существования Студии делались попытки создать и еще семинары, кроме вышеперечисленных. Но все они после трех-четырех занятий распадались. Был, например, одно время семинар Виктора Шкловского. Мне удается сейчас припомнить только одно занятие этого семинара,— вероятно, на других занятиях я не присутствовал. На том занятии, которое я помню, и речи не было о литературе — Шкловский просто рассказывал о своих приключениях в Турции и в Персии в конце мировой войны. Рассказывал он несравненно лучше, чем писал. Слушали его жадно. События, свидетелем которых ему пришлось быть, он передавал как ряд эксцентрических нелепостей, чрезвычайно занимательных.

Некоторое время существовали еще семинары: Акима Волынского, Шилейки,— бывшего в то время мужем Ахматовой, Н. Н. Пунина, который стал мужем Ахматовой несколько лет спустя, Евреинова, Шульговского, но об этих семинарах я ничего сказать не могу, потому что их не посещал.

Две наши красавицы — Дуся Каплан и Муся Алонкина — не писали ни стихов, ни рассказов, ни критических статей и тем не менее играли в жизни Студии выдающуюся роль. В девятнадцатом году им было лет по семнадцати, по восемнадцати. Дуся Каплан кроме Студии училась одновременно и в Университете, на биологическом отделении, и там тоже блистала красотой. Муся Алонкина целиком посвятила себя Студии и скоро стала в ней самым первым лицом.

Мария Сергеевна Алонкина была дочерью машинистки, работавшей в издательстве «Всемирная литература». Помню ее, тоненькую, смеющуюся, белокожую, чернобровую, с вздернутым носиком, с черными усиками над верхней губкой. Вся Студия была с ней на «ты», и очень многие были в нее влюблены,— одни сильнее, другие слабее. Добрая, привязчивая и удивительно работящая, она, казалось, создана была, чтобы все делать за других, всем позволяла, как говорится, ездить на себе верхом, и, по правде сказать, вся Студия ехала на ней.

Она занимала единственную общественную должность в Студии — секретаря. Чего или кого она была секретарь, никто не знал — это не уточнялось. Никто ее не выбирал,— просто отец мой, еще в самом начале, сказал, что она будет секретарем, и никто не возражал. Должность ее не была сопряжена ни с какими доходами и преимуществами, а только с трудами. И она трудилась не покладая рук. Я уже упоминал, что два раза в неделю она доставала для студистов хлеб и распределяла его. Но это была только одна из бесчисленных ее обязанностей. Она писала все списки, вела все протоколы, составляла расписания занятий, приготовляла для занятий помещения, следила за посещаемостью, напоминала руководителям семинаров о необходимости являться,— словом, заменяла собой всю администрацию этого учебного заведения, не такого маленького.

Мало того, по доброте своей Мусенька Алонкина взвалила на себя множество обязанностей, не имевших никакого отошения ни к Студии, ни к ее должности секретаря. По поручению то Горького, то правления Дома искусств она оказывала помощь многим престарелым литераторам. Особенно усердно, помню, заботилась она об Анатолии Федоровиче Кони. Она доставала для него пайки, рукописи, калоши, помогала ему спуститься с лестницы и взойти на лестницу. Эти ее заботы о

старцах Вова Познер, бард и летописец Студии, воспел в таких словах:

А ты вся в хлопотах, всегда за делом,
И, если посмотреть со стороны,
Ты кажешься, о Мусенька, Отделом
Охраны Памятников Старины.

Если где-нибудь в городе устраивался какой-нибудь литературный вечер, все организационные заботы неизменно падали на плечи Муси Алонкиной. Это как-то само собой разумелось,— без всякого указания она кротко, старательно и уж конечно совершенно бескорыстно принималась за работу. Особенно много труда требовало от нее печатание и расклеивание афиш. Она не только вела все переговоры с типографиями, в которых вечно не было ни бумаги, ни краски, но и сама, своими руками, расклеивала афиши по всему городу, потому что в Петрограде времен гражданской войны не было организации, занимавшейся расклейкой афиш. Об этой ее деятельности тот же Вова Познер писал так:

Неколебима Алонкина,
Студии ограда.
В конце семестра в Студии тишь,
Но она
В море Петрограда
Забрасывает сеть афиш.

Особенно тяжело досталась ей, полуголодной и плохо одетой, организация знаменитого вечера А. А. Блока в помещении Большого Драматического театра на Фонтанке мокрой ранней весной 1921 года. Расклеивая афиши, она промочила ноги и простудилась. Сначала воспаление легких, потом плеврит и, наконец, туберкулез. Года через полтора она уже не вставала с постели из-за туберкулеза позвоночника. Промаявшись лет пятнадцать, она скончалась в Москве вскоре после Первого съезда писателей.

Всего в Студии было 337 студистов, и я, конечно, не помню подавляющего большинства из них. Тем более что среди них были и такие люди, которые нисколько не интересовались литературой, а посещали Студию только для того, чтобы иметь возможность посидеть в тепле. В те зимы дров в городе почти не было, и квартиры вымерзали, а Дом искусств и отапливался, и освещался. Помню в числе студистов одного голодного оборванного старика по фамилии

Залеман. Лысый, сгорбленный, трясущийся, заросший седою щетиной, он появлялся к началу занятий и уходил позже всех. Он посещал все семинары,— неизменно сидел где-нибудь в уголке на мягком кресле. Он ни с кем не знакомился, никогда ни с кем не заговаривал. Над ним читали стихи, вокруг него рассуждали об эйдологии, о Леконте де Лиле, о цезурах и пиррихиях, но он ни в чем не принимал участия. Когда ему задавали вопросы, он не отзывался. Он спал.

Тепло и свет привлекали в Дом искусств и жильцов. Правление Дома разрешало желающим литераторам селиться в той части здания, которое прежде было занято банком. Селились там люди одинокие,— либо не имевшие семей, либо растерявшие семьи во время гражданской войны. Это жилье вначале всем им казалось временным,— они раскладывали свои тюфяки на столах, доставшихся от банка, зябко жались к еле теплым радиаторам и в конце концов приживались.

Одним из первых поселился там Аким Львович Волынский. Он тоже был членом коллегии «Всемирной литературы» и участвовал во многих горьковских затеях. Помню, я с любопытством рассматривал этого маленького лысого человечка с длинным желтым лицом без улыбки. Он был мне интересен, потому что имя его, произносимое с ненавистью, я в детстве, в Куоккале, много раз слышал от Репина. Илья Ефимович часто поминал его, всегда раздраженный, даже топая ногами.

Когда Аким Львович поселился в Доме искусств, мне по каким-то обстоятельствам пришлось даже побывать у него в комнате. Посреди небольшой этой комнаты на отдельном столе лежала тяжелая мраморная доска метра полтора в длину, на которой крупными буквами было высечено по-латыни, что город Милан объявляет Акима Волынского своим почетным гражданином за его книгу о Леонардо да Винчи. По крайней своей молодости я, конечно, не мог общаться с таким пожилым человеком, как Волынский, но я постоянно слышал забавные рассказы о нем моего отца, который встречался с ним на разных заседаниях. Отца смешило красноречие Волынского, отличавшееся многословием и неслыханной выспренностью. Отец утверждал, что у Акима Львовича жестикуляция обычно находится в прямом противоречии со смыслом его слов, и, очень верно подражая его голосу, изображал его речи так:

— Нужно смотреть вверх (взмах руки вниз), а не вниз (взмах руки вверх), нужно идти вперед (взмах руки назад), а не назад (взмах руки вперед)!

Волынский прожил в Доме искусств до конца своих дней,— умер он во второй половине двадцатых годов. В последние годы своей жизни он занимался исключительно вопросами балета и примерно в году 1923-м основал балетную школу, которая помещалась все там же — в бывших банковских этажах Дома искусств, к тому времени тоже уже «бывшего».

Зиму с девятнадцатого на двадцатый год жил в Доме искусств и Валериан Чудовский — высокий человек в бархатной куртке, с надменно закинутой лохматой головой. Это был самый злобный контрреволюционер, какого только можно себе представить, повсюду громогласно извергавший проклятия на всех, кто работает с большевиками и работает в советских учреждениях. Молодежь, посещавшая Дом искусств, возненавидела его, и дело доходило до того, что Лева Лунц натаскивал под дверь комнаты Чудовского нечистот, чтобы тот ступил и испачкался. В начале двадцатых годов Чудовский исчез,— сбежал, по-видимому, за границу.

Жил в Доме искусств и поэт Владимир Пяст. Этот человек, соединенный с Блоком многолетней дружбой, казался ненормальным. У него была привычка прижиматься спиной к стене, высоко закидывать голову и бить подошвой правой ноги в стену. Он часто усмехался — чему-то своему, для окружающих непонятному. Речь его была тороплива и невразумительна. Тем не менее и его одно время привлекали к чтению лекций студистам. Читал он теорию стихосложения, но студисты ничего не понимали из его лекций и называли их «стихопястикой». Лекции, разумеется, пришлось прекратить.

Где-то рядом с Пястом жил Александр Степанович Грин. Он был нелюдим, почти ни с кем не знакомился, но я часто встречал его в коридорах — высокого пожилого человека с изможденным угрюмым лицом, дурно и неопрятно одетого. Там, в Доме искусств, написал он свое лучшее произведение — замечательный рассказ «Крысолов», в котором изобразил свою тогдашнюю жизнь в пустом здании бывшего банка.

Волынский, Чудовский, Пяст и Грин не принимали участия в буйной жизни литературной молодежи, заполнившей Дом искусств. Но были и такие жильцы, которые

очень скоро сдружились со студистами, коротко сошлись с ними, стали непременными участниками возникшего вокруг Студии Литературного клуба. Тут прежде всего следует назвать Виктора Борисовича Шкловского.

Виктор Борисович Шкловский был к тому времени уже мой старый знакомый,— он стал приезжать к нам в Куоккала летом 1916 года. В 1916 году был он крепкий юноша со светлыми кудрявыми волосами. Приезжал он к нам не по железной дороге, как все, а на лодке по морю из Сестрорецка. Лодка эта была его собственная. Приезжая к нам, он оставлял лодку на берегу, и, пока он сидел у нас на даче, ее у него обычно крали. Воры всякий раз действовали одним и тем же методом — они отводили лодку на несколько сот метров в сторону, вытаскивали ее на песок и перекрашивали в другой цвет. Начинались увлекательные и волнующие поиски лодки, в которых я неизменно принимал участие. Словно сквозь сон припоминаю я, как сидели мы с Виктором Борисовичем ночью на берегу в засаде и подстерегали воров. Тучи набегают на луну, босым ногам холодно в остывшем песке, от малейшего шелеста в ужасе сжимается сердце, и рядом Шкловский в студенческой тужурке — взрослый, могучий, бесстрашный, оказавший мне великую честь тем, что взял меня, двенадцатилетнего, себе в сотоварищи.

Между этой моей встречей со Шкловским и следующей в Доме искусств — всего три года. Но как за эти три года он изменился! К 1919 году Школовский стал таким, каким его узнали последующие поколения, т. е. лысым. Мягкие светлые кудри его исчезли.

Он поселился в Доме искусств, хотя мог бы поселиться на квартире у своего отца. С отцом его я тоже был знаком, и притом совершенно независимо от моего знакомства с Виктором Борисовичем. Отец Виктора Борисовича был на стоящей знаменитостью среди тогдашней петроградской молодежи.

На Надеждинской улице, наискосок от того дома, где с 1915-го по 1918 год жил Маяковский, висела вывеска: «Школа Б. Шкловского». Школа занимала маленькую квартирку в первом этаже, и единственным ее преподавателем был сам Б. Шкловский.

Это был маленького роста бритый старик с большой лысиной, окруженной лохматыми, не совсем еще седыми волосами. Вид у него был свирепейший. Во рту у него оставался один-единственный зуб, который, словно клык, торчал на-

ружу. Когда он говорил, он плевался, и лицо его морщилось от брезгливости к собеседнику. Но человек он был необходимейший — любого тупицу он мог подготовить к вступительному экзамену в любое учебное заведение, и ученики его никогда не проваливались. В этом и заключалась его профессия — натаскивать тупиц. Натаскивал он и меня.

Зимой 1920—21 г. мы ходили к нему вчетвером — я и три девочки из моего класса. Обращался он с нами крайне сурово и моих хорошеньких умненьких товарок именовал только «дурами» и «кретинками», а меня соответственно «дураком» и «кретином». Но тангенсы и котангенсы вбивал в голову крепко.

Виктор Борисович, повторяю, останавливался в те годы, приезжая в Петроград, не у отца, а в Доме искусств. Там знали его все и относились к нему не только с почтением, но и с некоторым страхом. У него была репутация отчаянной головы, смельчака и нахала, способного высмеять и унизить любого человека. Лекции на Студии читал он недолго, но влияние его на студистов было очень велико. Со студистами он общался постоянно и попросту — как старший товарищ. Особенно близко сошелся он со студистами из семинара Замятина. Гумилевцев он не жаловал и вообще мало интересовался стихами, но замятинцы были от него без ума и чтили даже больше, чем самого Замятина. Лев Лунц и Илья Груздев ходили за ним, как два оруженосца.

Шкловский перетащил в просторные помещения Дома искусств заседания знаменитого Опояза (Общества изучения поэтического языка) — цитадели формализма в литературоведении. Многие любопытствовавшие студисты посещали эти заседания, был на некоторых и я. Кроме Шкловского помню я на них Эйхенбаума, Поливанова, Романа Якобсона, Винокура. Они противопоставляли себя всем на свете и во всей прежней науке чтили, кажется, одного только Потебню. Но зато друг о друге отзывались как о величайших светилах науки: «О, этот Эйхенбаум!», «О, этот Поливанов!», «О, этот Роман Якобсон!» Винокур к тому времени не успел еще, кажется, стать «О, этим Винокуром», но зато крайне ценился своими товарищами как милейший шутник. Он, например, перевел четверостишие о том, как попова дочка полюбила мельника, на сорок пять языков и на всех сорока пяти языках распевал его приятным тенорком.

Но, разумеется, светилом из светил во всем этом кружке был Виктор Борисович Шкловский. Он не знал ни одного языка, кроме русского, но зато был главный теоретик. А опоязовцы как раз в те годы с восторгом первооткрывателей создавали свою теорию художественной литературы.

Теория их, в сущности, не так уж отличалась от того, что преподавал Гумилев на своем семинаре. Они тогда тоже рассматривали литературу как сумму механических приемов, годных для всех времен и всех народов. Каждое произведение искусства представлялось им механизмом, и притом довольно несложным, вроде часов-ходиков. Они писали исследования: «Как сделана «Шинель» Гоголя» или: «Как сделан Дон Кихот». При этом устройство Дон Кихота оказывалось таким элементарным, что его можно было изложить на одной странице. От учения Гумилева их учение отличалось только большей книжностью, университетскостью. То, что Гумилев называл неуклюжим самодельным словом «эйдолология», они именовали вычитанным из книжек термином «семантика». Вообще терминология их была очень наукообразна, они часто употребляли слово «конвергенция», какого Гумилев никогда и не слыхивал. Однако их умами, так же как умом Гумилева, всецело владел наивный механистический антиисторичный материализм. Это были Бюхнер, Молешотт и Эрнст Геккель в применении к литературоведению.

Рядом со Шкловским в небольшой комнатенке с мутным стеклом, выходившим во двор, жил Миша Слонимский. Этой комнатенки мне не забыть — столько я просидел в ней когда-то часов. Именно в этой комнатенке устанавливались те связи и завязывались те узлы, которые в будущем оказались самыми прочными.

Из всех обитателей Дома искусств Михаил Леонидович Слонимский был к студистам самым близким по возрасту,— в двадцатом году ему исполнилось двадцать три года. С литературой он был связан прежде всего своим родством — он был сыном Людвига Слонимского, редактора «Вестника Европы», племянником знаменитого литературоведа Семена Венгерова и известной переводчицы Зинаиды Венгеровой, младшим братом известного историка литературы Александра Слонимского и двоюродным братом декадентской поэтессы Вилькиной. (Впоследствии литературное родство Михаила Леонидовича еще расширилось, так как Александр Слонимский женился на

правнучке сестры Пушкина, Зинаида Венгерова в Лондоне вышла замуж за поэта Николая Минского, а двоюродный брат Антоний Слонимский, живший в Польше, оказался прославленным польским поэтом.) Помимо родства у Михаила Леонидовича к тому времени образовались свои собственные крепчайшие литературные связи — в течение нескольких месяцев он был нечто вроде секретаря у Горького, а потом года полтора работал секретарем у моего отца. И Горький, и мой отец очень его любили. Он уже и сам кое-что писал — пьесы, рассказы — и поэтому чрезвычайно скоро сошелся со студистами из семинара Замятина — с Зощенко, с Лунцем, с Груздевым, с Николаем Никитиным, с Катковым. А так как при этом еще и характер у него был самый добрый и самый покладистый, то у него постоянно торчали соседи — Пяст, Шкловский, Мандельштам и даже Грин. Захаживали к нему и некоторые из наших студистских поэтов — Познер, Полонская. К тому же всем было известно, что Миша Слонимский горячо влюблен в Мусеньку Алонкину, и Мусенька Алонкина тоже постоянно забегала в эту комнатенку, но не одна, а с подругами, и прежде всего, конечно, с Дусей Каплан. И в комнате Слонимского с утра до вечера были люди, шумели голоса.

По утрам посетителей бывало даже больше, чем по вечерам, потому что Миша Слонимский, просыпаясь часов в десять, имел обыкновение не покидать постели часов до трех дня. Тощий, длинный, с большими печально-мечтательными темными глазами, лежал он на спине, укрытый своей шинелью, привезенной с фронта, и курил.

Я познакомился с ним летом 1918 года на станции Ермоловской под Сестрорецком. Там, на Ермоловском проспекте, Литературный фонд владел дачей, которую на лето предоставлял писателям. Так как из-за белогвардейского переворота в Финляндии мы лишены были возможности вернуться на свою дачу в Куоккала, мои родители решили провести лето с детьми на этой даче Литературного фонда. Из Ермоловской за выгибом берега Финского залива в ясную погоду хорошо были видны знакомые места — колоколенка куоккальской русской церкви и белый сарай бартнеровской дачи. В то лето в Ермоловской в одном с нами доме обитало немало литераторов — Е. И. Замятин с женой Людмилой Николаевной, Ек. Павловна Леткова-Султанова с сыном Юрием, семья Кондурушкиных, семья Ганфмана, одного из редакторов кадет-

ской газеты «Речь», Марья Валентиновна Ватсон, злобная безумная старуха, переводчица Дон Кихота, про которую говорили, что на груди у нее умер поэт Надсон; она помешалась на ненависти к большевикам и постоянно рвала на себе седые волосы, изрыгая проклятия. Жил там в то лето и художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин с женой француженкой,— он женился и Париже на профессиональной натурщице. Жила там в то лето и Фаина Афанасьевна Слонимская, урожденная Венгерова, с двумя сыновьями — Кокой и Мишей.

И Слонимские, и Венгеровы были евреи-выкресты, причем Слонимские были католики, а Венгеровы — православные. Фаина Афанасьевна, как урожденная Венгерова, детей своих воспитывала в православии и скрывала еврейское происхождение семьи. Это была вздорная, шумная, чрезвычайно болтливая старуха, которую Миша Слонимский впоследствии очень точно и безжалостно изобразил в своем романе «Лавровы». О ней ходило много анекдотов, распространенных главным образом ее же сыновьями. Помню рассказ о том, как она у себя за столом в присутствии гостей принялась утверждать, будто Слонимские были когда-то князьями, крупными польскими магнатами, и будто город Слоним находился у них в феодальном владении.

— И наши вассалы часто восставали против нас,— сказала она, размечтавшись.

— Эти восстания назывались еврейскими погромами,— сказал Миша.

В 1918 году Коля Слонимский носил студенческую тужурку, а Миша солдатскую шинель. Коля был старше меня лет на десять, занимался музыкой, и потому я нисколько им не интересовался. Но Миша произвел на меня большое впечатление. Я знал, что он, окончив гимназию, добровольцем ушел на фронт; что он был ранен и недавно выписался из госпиталя. И такой человек обращался со мной как с равным, хотя мне шел пятнадцатый год, а ему уже двадцать второй.

Однажды наши матери послали нас обоих в Сестрорецк, на какой-то огород,— купить моркови. Всю дорогу туда и назад мы разговаривали с ним о политике. Помню, его взгляды, очень похожие на взгляды многих окружавших меня тогда интеллигентов, разочаровали меня. Главной целью революции он считал создание Учредительного собрания, избранного всеобщим голосованием. А так как в то

лето разогнанное Учредительное собрание самовольно собралось в Самаре, он смотрел на происходящие события чрезвычайно оптимистично. Учредительное собрание возьмет власть, и в России восторжествуют демократия и народоправство. Робея перед его авторитетом, я возражал ему, что захват власти Учредительным собранием непременно приведет к торжеству реакции, к уничтожению всех завоеваний революции и к гибели самого Учредительного собрания от рук реакционеров. Я запомнил этот спор, потому что часто вспоминал его несколько месяцев спустя, когда самарская Учредилка была расстреляна Колчаком, захватившим власть во всей восточной России. Но к тому времени и Миша Слонимский успел отказаться от своей веры в Учредительное собрание. Когда он жил в Доме искусств и, длинный, тощий, вялый, добрый, лежал у себя в комнате на кровати, с утра до ночи окруженный литературной молодежью, он был уже человеком советских взглядов, как — в большинстве — и та молодежь, которая окружала его.

Из молодежи, собиравшейся вокруг кровати Миши Слонимского, к началу 1921 года выкристаллизовался тот кружок, который получил название «Серапионовых братьев».

Но прежде чем говорить о «Серапионовых братьях», я должен рассказать о человеке, вокруг имени которого впоследствии создалось множество легенд, не имеющих ничего общего с правдой.

Я говорю о Льве Лунце.

Лев Натанович Лунц родился в 1902 году и был сыном провизора, владельца одной из лучших аптек города — у Пяти Углов, на Троицкой улице. Был у него старший брат Яша, огненно-рыжий малый, голова которого сверкала, как церковный купол, и сестренка Женя. По-видимому, с семьей Лунц я познакомился еще до Студии, и именно благодаря этой Жене, которая училась в Таганцевской гимназии, в одном классе с моей сестрой Лидой и очень дружила с ней. Родителей Лунца я не помню, хотя часто бывал у них в квартире на Троицкой. Лева постоянно цитировал изречения своей матери, и в Студии его даже дразнили этим. Изречения эти я позабыл, помню только одно:

— У всех дети как дети, а у нас — сумасшедший дом!

Лева Лунц был кудрявый шатен, среднего роста, со

светло-серыми глазами. Он обладал замечательным характером — он был добр, скромен, жизнерадостен, трудолюбив, серьезен и весел. Я обожал его и постоянно им восхищался. Он был на два года старше меня, но дружил со мной совершенно на равных, никогда не оскорбляя моего самолюбия подростка, попавшего в компанию старших.

И меня, и всех окружающих особенно поражало в Леве Лунце одно его свойство — стремительность. Он был человек огромного темперамента и мгновенных реакций. Речь его текла стремительно, потому что стремительны были его мысли, и слушателю нелегко было за ним поспевать. Говоря, он постоянно бывал в движении, жестикулировал, перескакивал со стула на стул. Это был ум деятельный, не терпящий вялости и покоя. Любимая его игра, которую он ввел в Студии, едва там появился, заключалась в том, что играющие садились в кружок и с бешеной скоростью колотили себя обеими руками по коленям. Суть игры я забыл, заключалась она, кажется, в отгадывании слов, помню только бешеные движения рук и Левин голос, подгоняющий, доводящий всех до изнеможения:

— Скорей, скорей!

Он принес в Студию множество игр, самых детских, простодушно-веселых, и заставил в них играть всех. Я помню, с каким увлечением и пылом играл он в фанты, а между тем к тому времени он уже окончил Университет. В Университет он поступил чуть ли не пятнадцати лет и прошел его курс так же стремительно и блестяще, как делал все. Учился он на романо-германском отделении филологического факультета, изучил все романские языки, включая провансальский. Если не ошибаюсь, университет он окончил в 1920 году, так что первый год занятий в Студии совпал у него с последним университетским годом. Ему пришлось совмещать, но при его энергии и способностях подобное совмещение не стоило ему особого труда; казалось, он мог бы совмещать занятия и еще в двух-трех каких-нибудь учебных заведениях. В первые же месяцы своих занятий в Студии он прочел студистам два больших реферата: о прозе Андрея Белого и о прозе Алексея Ремизова. При этом он безусловно был самый веселый, общительный и ребячливый из всех студистов. Для игр и забавных затей времени у него оставалось сколько угодно.

Была одна игра, изобретенная Лунцем, в которую как начали играть в первые дни его поступления в Студию, так и играли вплоть до закрытия Дома искусств и до отъезда Лунца за границу, то есть с 1919-го по 1923 год. Игра эта называлась «кинематограф». Для того чтобы объяснить, в чем заключалась эта игра, надо дать понять, каким представлялся нам тогда настоящий кинематограф.

Нам и в голову не приходило, что кино может стать таким же настоящим искусством, как живопись, музыка, литература, театр. Да оно в то время еще и не было искусством. Вероятно, где-нибудь уже существовали попытки превратить кино в настоящее искусство, но мы о таких попытках ничего не слышали. Советской кинематографии тогда еще не существовало, а те западные и дореволюционные русские картины, которые мы видели, поражали нас только быстротой развития действия и глупостью, доведенной до эксцентризма. Конечно, были простодушные и непросвещенные люди, которые всерьез рыдали, глядя на Веру Холодную, на Мозжухина и Лисенко, всерьез замирали от страха на ковбойских драмах и покатывались со смеху, наслаждаясь Максом Линдером. Но мы, интеллигентные мальчики и девочки, во всем этом видели только эксцентрическую чепуху, только поразительное нагромождение банальностей и идиотств, которые в своем неистовом полете создают самые нелепые и причудливые сочетания. И кинематографом мы стали называть всякое эксцентрическое нагромождение быстро сменяющихся нелепостей. Как пример употребления этого слова в подобном смысле я могу привести известную сказку моего отца «Бармалей», написанную несколько лет спустя. Она имеет подзаголовок «Кинематограф для детей». Прочтите сказку, и вы убедитесь, что слово кинематограф здесь является синонимом забавной чепухи.

«Кинематографы», которые устраивал Лунц в Студии, — это были импровизированные пародийные представления, в которых все присутствующие были одновременно и актерами, и зрителями. Драматургом и режиссером был Лунц. Он мгновенно изобретал очередную сцену, за руки стаскивал со стульев нужных для нее исполнителей, отводил их на несколько секунд в сторону, шепотом сообщал каждому, что он должен делать (слов действующим лицам не полагалось никаких, кинематограф был немой), и сцена исполнялась при всеобщем ликовании. Зрители от хохота падали на пол. И так чуть ли не каждый вечер в тече-

ние нескольких лет — ни разу не повторяясь. В «кинематографе» Лунца ничего нельзя было повторить,— он всегда творился заново. Студисты и преподаватели Студии, стараясь оттянуть возвращение в свои холодные темные квартиры, скоро привыкли проводить в Доме искусств все вечера. Эти вечерние сборища, где все встречались на равных правах, получили название «Клуба Дома искусств». На этих клубных собраниях читали друг другу свои произведения, преимущественно стихи. Но главным их содержанием, главным их очарованием был Лунц и его кинематограф. Творческая энергия Лунца была неистощима.

Вообще, если вспомнить, что Лунц умер двадцати двух лет от роду, можно только изумляться тому, как много он успел сделать и написать. Его литературное наследие (нигде не собранное и большею частью не напечатанное) состоит из двух пятиактных романтических трагедий в стихах «Вне закона» и «Бертран де Борн», нескольких комедий, лучшая из которых «Обезьяна и дуб», нескольких рассказов и многих статей и рецензий. Драматургия его удивительно темпераментна, свежа и самостоятельна по стилю, полна мыслей, и то обстоятельство, что пьесы его никогда не ставились на сцене, можно объяснить только нашим невежеством и нашей любовью наводить тень на ясный день.

Из всего, написанного Лунцем, последующим поколениям оказалась известной только небольшая декларация его, написанная по поводу создания «Серапионовых братьев». Декларация эта, разумеется, совершенно неправильна с точки зрения марксистских взглядов, но и критика ее была внеисторичной, то есть тоже не марксистской. Как ни странно это может теперь показаться, но всему тому кругу молодежи, о котором я рассказываю, марксизм был начисто неизвестен. О марксизме этот круг слышал только в самой вульгарной форме,— в сущности, клеветнической. Но русское общество времен гражданской войны делилось вовсе не на людей, обладающих чистотой марксистских взглядов и такой чистотой не обладающих, а на людей, сочувствующих победам белых, и на людей, сочувствующих победам красных. И люди, сочувствовавшие белым, были отделены от людей, сочувствовавших красным, глубочайшей непроходимой пропастью. Две резко враждебные литературы складывались в те годы: литература эмигрантская и литература советская. И Лева Лунц, при всей

ошибочности своих литературоведческих взглядов, был один из тех, кто в войне всей душой сочувствовал красным, ненавидел белых и всеми силами боролся против эмигрантской литературы. Писать о современности, писать о революции, писать с горячей любовью к этой революции — вот было основное стремление начинающих писателей, объединившихся в «Серапионовых братьях». И тот факт, что из «Серапионовых братьев» вышел ряд крупнейших советских писателей,— закономерность, а не странная случайность, не объяснимая ничем.

Политические симпатии Лунца привели его прежде всего к жесточайшему семейному разладу. В 1920 году, восемнадцатилетним юношей, он расстался с родителями и переехал в Дом искусств. В те годы острейших политических страстей это было распространенное явление,— разногласия разрывали семейные узы. В начале 1921 года были установлены дипломатические отношения между Советской Россией и прибалтийскими республиками. И было объявлено, что все уроженцы Литвы могут вернуться к месту своего рождения. Этой возможностью воспользовались многие, мечтавшие об эмиграции. В том числе и родители Лунца, разоренные революцией мещане. Они были уроженцами литовского города Шавли (Шауляй) и в апреле 1921 года всей семьей двинулись за границу. Но Лева ехать с ними отказался. Он один из всей семьи остался в Петрограде.

Беда заключалась в том, что, оставшись один, он тяжело заболел. Не сразу, а примерно через год. Я хорошо помню, как в начале 1922 года он пошел призываться в Красную Армию. Вернувшись с призывного пункта, он нам рассказал, что врач, выслушав его, сразу признал его негодным. Помню, он был и обрадован этим, и удручен. Обрадован, потому что ему вовсе не хотелось служить красноармейцем, а удручен, потому что узнал, в каком плохом состоянии находится его сердце. Он утверждал, что до этого дня никогда не замечал своего сердца и не думал о нем. Однако очень скоро ему стало плохо. Зиму с 1922-го на 1923 год он безвыходно провалялся на кровати у себя в крохотной комнатке в Доме искусств. У его постели постоянно толпился народ, он по-прежнему острил, стремительно жестикулировал, спорил, громко смеялся. Время от времени он еще выползал из своей конуры на общие сборища и устраивал свои ослепительные «кинематографы». Он много писал и принимал пылкое участие

во всех делах «Серапионовых братьев». Но ему становилось все хуже и хуже. В ту зиму я с удивлением обнаружил, что Лева Лунц может быть и удрученным, и раздраженным. К весне ему стало так плохо, что родители мои, очень его любившие, взяли его к себе, и мы с ним начали жить в одной комнате. Он уже не вставал с постели.

Его отец и мать к этому времени переехали из Литвы в Германию, в Гамбург. Зная о болезни сына, они требовали, чтобы он приехал к ним. Они выхлопотали ему визу. И летом 1923 года тяжелобольной Лева Лунц уехал на пароходе в Гамбург.

Сам он верил, что отъезд этот временный, что он вот-вот поправится и вернется. Мы все стали получать от него множество писем из-за границы. Это были длинные и чрезвычайно веселые письма, и мы падали со смеху, когда их читали вслух на серапионовских собраниях. Посылал он нам и свои новые пьесы и статьи, и некоторые из них были тоже прочитаны нами вслух. За границей он продолжал жить жизнью нашего кружка, требовал от нас подробных сведений о каждом, интересовался каждой новой рукописью, каждой книгой, каждой шуткой. И все же из веселых его писем мы знали, что он лежит в больнице и что ему нисколько не лучше. Летом 1924 года до нас дошла весть, что Лева Лунц умер.

Когда-нибудь историки литературы взвесят и оценят и наследие Льва Лунца, и его роль. Я за это не берусь. Я только могу сказать, что Лева Лунц был одним из самых ярких и милых явлений моей юности. И когда я думаю о нем, я вспоминаю наши новогодние встречи,— как встречали мы 1920-й и 1921 год — без капли спиртного, но зато с Левой Лунцем и, следовательно, небычайно весело.

Новый 1920 год мы встречали пшенной кашей. Крупу где-то достал мой папа, он же организовал встречу. Ничего, кроме пшенной каши, не было. Кашу сварила нам Марья Васильевна, служившая еще у Елисеевых, и пировали мы за дубовым столом в елисеевской столовой, сидя на высоких, дубовых, резных готических стульях. Студия тогда еще была молода, и мы не успели еще достаточно ни приглядеться друг к другу, ни сдружиться, ни размежеваться. Из «взрослых» присутствовали папа и Миша Слонимский. Вначале над созданием веселья трудился папа. Он вовлек всех в соревнование: кто лучше напишет сонет на заданные рифмы. Сонеты писались и читались с увлечением, подробно разбирались, как на семинаре.

К досаде поэтов, лучшим был признан сонет Миши Слонимского. Но сонетами занимались только пока не наелись каши. Горячая каша подействовала на голодные желудки возбуждающе. Лица раскраснелись, хохот стал громче, и разгорающимся весельем дирижировал уже не мой папа, а Лева Лунц. И началось нечто сверкающее, нечто слишком стремительное, чтобы можно было передать обыкновенными медленными словами...

Год спустя мы опять собрались в Доме искусств для встречи Нового года — 1921-го. За это время все успело сложиться и определиться, и Студия стала казаться учреждением, имеющим громадную историю. Завязалось множество любвей и романов, из которых немало уже успело трагически распасться. И, главное, произошло размежевание, молодежь разделилась на две группы. Сторонники «Цеха поэтов» отмежевались от тех, из числа которых месяц спустя организовались «Серапионовы братья». Размежевание это в то время только немногими осознавалось как политическое. Оно понималось скорее как эстетическое размежевание. С одной стороны были те, кто принимали гумилевские эстетические каноны, с другой стороны те, кто к этим канонам оставался равнодушен. С одной стороны были те, кто отвергал возможность писать о современности, с другой стороны — те, кто считал, что писать о современности необходимо. Образовались как бы две дружеские компании, жившие отдельной жизнью. И во встрече Нового 1921 года принимала участие только одна из этих компаний — враждебная «Цеху поэтов».

На этой встрече не было ни Нельдихена, ни Ирины Одоевцевой, ни сестер Наппельбаум. Из слушателей семинара Гумилева присутствовало только двое — Вова Познер и я. Зато здесь были и первенствовали Лева Лунц, Миша Слонимский, Илья Груздев, Коля Никитин, Миша Зощенко. Девушек присутствовало много, и как раз те, которые вскоре получили почетные звания «серапионовских дам» — Дуся Каплан, Муся Алонкина, Зоя Гацкевич, Мила Сазонова, Лида Харитон. Спиртного, как и год назад,— ни капли. И все же ели уже не кашу, а мясные котлеты. Первый тост провозгласила Зоя Гацкевич, в будущем Никитина, затем Козакова. Каждый встал и поднял свою котлету на вилке. И начался пир. Когда котлеты были съедены, все пошли по дубовой лестнице наверх, в главный зал елисеевского дворца, и там, среди зеркал, позолот, торшеров и амуров с гирляндами, принялись играть

в фанты. Потом Лунц устроил «кинематограф», и ночь прошла в бешеном веселье...

Прежде чем приступить к рассказу об основании «Серапионовых братьев», я должен рассказать об еще одном причастном к этому кружку — о Вове Познере. Владимир Соломонович Познер родился в Париже в 1905 году. Он был сыном Соломона Владимировича Познера, который вынужден был эмигрировать за границу. Вова до пяти или шести лет жил в Париже, по-русски не говорил. Летом 1917 года, при Керенском, Соломон Познер с женой и двумя сыновьями вернулся из эмиграции в Петербург. Вова поступил в гимназию Шидловской, на Шпалерной. В одном с ним классе учился сын Керенского Олег, с которым он был дружен. В октябре Керенский бежал, но семья его еще долго продолжала жить в Петрограде, и Олег Керенский продолжал ходить в гимназию. 1918 год Вова провел в Москве, учился у Свентицкой. В 1919 году он вернулся в Петроград и поступил в Тенишевское училище. И я впервые увидел Вову Познера. Он оказался в одном со мной классе.

Это был круглолицый толстяк, черноглазый, с очень черными волосами. К этому времени от Парижа у него уже ничего не осталось,— в том возрасте год кажется громадным сроком, и Вова чувствовал себя в Петрограде так, как будто жил в нем с рождения. Меня сблизила с ним любось к поэзии. Его стихи, чрезвычайно подражательные, поражали своим совершенством. В его даре было что-то хамелеоновское,— он мог быть кем угодно. Он писал стихи и под Брюсова, и под Маяковского. Мы с ним писали стихи верстами — иногда и совместно,— издавали школьные рукописные журналы, читали стихи на всех школьных собраниях. Когда осенью 1919 года организовалась Студия, я привел туда Вову и мы вместе поступили в семинар Гумилева.

В Студии он расцвел необычайно и сделался одним из главных действующих лиц. Его шуточные стихи, в которых он воспевал все события нашей студийной жизни, имели огромный успех и у студистов, и у преподавателей. Лева Лунц был нашим драматургом и режиссером, а Вова Познер — нашим признанным бардом. Учился он в семинаре у Николая Степановича, но как раз там на первых порах его стихи имели наименьший успех, потому что Николай Степанович был глух и равнодушен к юмору, а влияние Маяковского, которое все больше ощущалось в сти-

хах Вовы Познера, только раздражало его. Зато приятели Лунца восхищались им. Дуся Каплан и Муся Алонкина были с ним на «ты» и в самой тесной дружбе.

Первое время он, видимо, разделял политические взгляды своей семьи. Об этом свидетельствует глупое четверостишие, записанное им в «Чуккокалу» моего отца в 1919 году. Однако, попав в кружок Лунца, он очень быстро усвоил господствовавшие там мнения и насмехался над белогвардействовавшими литераторами. Помню, что и у нас в Тенишевском, где мы оба продолжали учиться, он в 1920 году примыкал скорее к тем юношам, которые склонялись к комсомолу, чем к их многочисленным недругам. Впрочем, при размежевании студистов он сохранил хорошие отношения и с «Цехом поэтов». «Цех поэтов» и Гумилев к концу 1920 года стали относиться к нему лучше, чем прежде,— благодаря тем балладам, которые он начал писать и которые имели равный успех у преподавателей обоих лагерей.

Баллады, которые Вова Познер писал зимой 1920—1921 гг., были, несомненно, интереснейшим литературным явлением. Наиболее характерная из них «Баллада о дезертире» начиналась такими словами:

Вчера война, и сегодня война, и завтра будет война,
А дома дети, а дома отец, а дома мать и жена.

Для того чтобы представить, какое впечатление производили эти строки, нужно вспомнить, что тогда шел уже седьмой год войны. Дальше говорилось о том, как солдат дезертирует, как его ловят и расстреливают. Кончалась баллада плачем по дезертиру:

А дома дети, а дома отец, а дома мать и жена,
Но вчера война, и сегодня война, и завтра будет война.
Над его головой голодный волк подымает протяжный вой,
Дезертир лежит у волчьих лап с проломленной головой.
Над его головой раздувайся и вей,
Погребальный саван сухих ветвей.
Ветер, играй сухою листвой
Над его разбитою головой.

Остальные баллады Познера были в том же роде. Характерно, что напечатаны они и во втором альманахе «Цеха поэтов», и в первом альманахе «Серапионовых братьев».

Баллады Познера оказали большое влияние на бал-

лады Николая Тихонова, появившиеся в 1922 и 1923 годах. В то время это влияние было очевидно всем. Тихонов, кажется, никогда даже не встречался с Познером, но, несомненно, испытал сильное воздействие его стихов. Одна из первых баллад Тихонова так и называлась «Баллада о дезертире» и очень близка к познеровской и по тону, и по содержанию:

У каждого семья и дом,
Становись под пулю, солдат,
А ветер зовет: уйдем,
А леса за рекой стоят.

И судьба дезертира кончалась так же:

Хлеб, два куска
Сахарного леденца,
А вечером, сверх пайка,
Шесть золотников свинца.

Вова Познер был одним из деятельных участников Серапионова братства. Но пробыл он в братстве всего два с половиной месяца. Серапионы организовались 1 февраля 1921 года, а в середине апреля 1921 года Вова Познер уехал за границу.

Родители Вовы Познера тоже оказались уроженцами Литвы и, подобно родителям Лунца, решили воспользоваться соглашением с Литвой, дававшим возможность всем литовским уроженцам вернуться к месту своего рождения. Поступить по примеру Левы Лунца и остаться Вова Познер не мог,— ему не было еще семнадцати лет, он был ребенок и еще не мыслил себе существования без родителей. Я пошел провожать его на Варшавский вокзал. Был мокрый солнечный апрельский день. На одном из дальних путей стоял громадный эшелон из теплушек. В каждом вагоне теснилось более десятка семейств. Плакали дети, громоздились горы утвари, каждый старался вывезти как можно больше имущества, многие везли даже мебель, даже рояли. Эшелон должен был отправиться утром, но отошел только вечером,— все не было паровоза. Весь день бродили мы с Вовой Познером в обнимку по перрону среди груд имущества, не вмещавшегося в вагоны. С нами был и Лева Лунц, провожавший родителей, сестру, брата. Среди этих беглецов, неожиданно для самих себя ставших литовцами лишь бы покинуть страну Советов, было немало знакомых. С этим эшелоном уезжали, между

прочим, и графы Рошефоры, два брата — Николай и Александр, мои главные недруги по Тенишевскому училищу. Уже стемнело, когда тронулся поезд. Мы с Левой Лунцем побрели домой.

Сначала Вовины письма приходили ко мне ежедневно. У него был особый, странный, очень выработанный почерк, резко отличавшийся от почерков всех других людей. Уехав, он сначала продолжал жить интересами Студии и «Серапионовых братьев». Потом письма стали приходить реже. В Литве семья Познеров прожила всего несколько недель и вернулась в Париж. Примерно через год наша переписка с Вовой прервалась. Владимир Познер перестал писать по-русски и сделался французским писателем.

Впрочем, с воспоминаниями о своей петербургской юности он, видимо, расстался не скоро. Одной из первых его книг, написанных по-французски и вышедших в Париже, была книга о русской литературе. Эту книгу он прислал мне, и она красовалась у меня до тех пор, пока не погибла во время войны вместе со всей моей библиотекой.

Владимир Познер стал деятелем французской коммунистической партии, сотрудником «Humanité», французским литератором. Я снова увидел его только в 1934 году, на Первом съезде писателей в Москве, после тринадцати лет разлуки.

Он был членом французской писательской делегации, приехавшей приветствовать съезд. Мне сказали, что Вова Познер сидит в буфете Дома Союзов, и я со всех ног помчался в буфет. Он сидел за столиком, совершенно такой же, как прежде, только не в толстовке, а в пиджаке. К моему удивлению, он меня не узнал.

— Вова!

Он поднялся со стула и неуверенно протянул мне руку. Но через мгновение мы уже целовались. Помню, как шли мы с ним вдвоем по Тверской, узкой, горбатой и пустынной, и вдвоем вслух читали шуточные стихи, которые вместе сочиняли в Петрограде в годы гражданской войны. В Москве мы с ним разыскали Мусеньку Алонкину и отправились к ней. Она была замужем за латышом-чекистом. Мужа ее мы не видели, а сама она лежала в постели, поблекшая, несчастная, тяжело больная. У нее много лет был туберкулез позвоночника. Она носила, не снимая, металлический корсет и почти уже не вставала с постели. Только улыбка у нее была прежняя — добрая и беспо-

мощная. Обрадовалась она нам необычайно. Это было последнее мое с ней свидание.

В Москве повстречали мы с Вовой и другую нашу приятельницу времен Петроградского Дома искусств — Олю Зив. Мы вместе с нею две зимы проучились в семинаре Гумилева. На съезде она сама разыскала нас в Колонном зале. Она теперь была репортером газеты «Комсомольская правда» и до того огазетчилась и обкомсомолилась, что, слушая ее, трудно было себе представить, что когда-то она была девушкой при «Цехе поэтов», пишущей стихи под Гумилева. Впрочем, встречались мы с ней чрезвычайно сердечно. Она пригласила нас к себе, угостила ужином и познакомила с мужем, который оказался работником «Комсомольской правды».

После съезда Познер заехал на несколько дней в Ленинград. Здесь он тоже почему-то был встречен женщинами более пылко, чем мужчинами. Остановился он у Слонимских, потому что Дуся Каплан стала уже к этому времени Дусей Слонимской. И каждый вечер проводил он у Козаковых, потому что Зоя Гацкевич к этому времени была уже замужем за Михаилом Эммануиловичем Козаковым.

Следующая моя встреча с Вовой Познером была заочная — во время осады Ленинграда, в сентябре 1943 года.

Военная авиационная газета, где я в то время работал, нуждалась в материале об американской авиации. И я отправился в библиотеку Иностранной литературы, чтобы посмотреть, нет ли там американских авиационных журналов. Эта библиотека была хорошо мне памятна,— основалась она в 1919 году как библиотека издательства «Всемирная литература». И помещалась она в том же месте, на Моховой, 36, как раз напротив Тенишевского училища. Во «Всемирной литературе» отец мой работал вместе с Горьким, и в годы гражданской войны я чуть ли не каждый день после занятий в школе переходил Моховую и шел к отцу в издательство, приветствуемый издательским старичком швейцаром, который называл меня по имени-отчеству, чем весьма льстил моему самолюбию. И вот, спустя двадцать четыре года, я опять оказался в том же доме. Закутанная в тряпье маленькая библиотекарша, без возраста, с опухшим от голода лицом, провела меня через стылые пустынные залы со стеллажами книг и усадила за маленький столик возле окна. Через несколько минут она притащила мне два-три номера толстого американского журнала «Aviation» за 1942 год. Этот журнал

состоял не столько из сведений об авиации, сколько из объявлений и разных сенсаций газетного толка. Я довольно невнимательно читал его и поглядывал в окно, где было сумрачно, холодно и мокро. Прямо за окном видел я каменную арку — вход во двор Тенишевского училища. Вид этой арки взволновал меня. В страшные и грустные месяцы осады меня особенно волновало все, связанное с моим детством и юностью. Сколько раз проходил я когда-то под этой аркой! И конечно, вспомнился мне и Вова Познер, с которым в Тенишевском был я неразлучен.

И вдруг, к изумлению моему, я увидел, что Вова Познер глядит на меня со страницы журнала «Aviation». Почти неизменившийся, круглолицый, улыбающийся, в серой кепке. Я принялся читать и вот что обнаружил.

Это был разворот под шапкой: «Что думают французские писатели об Америке». Дальше пояснялось, что речь идет о французских писателях-антифашистах, бежавших в Америку от гитлеровского нашествия. Левая половина разворота была посвящена Женевьеве Табуи (тоже с портретом), а правая — Владимиру Познеру, автору известного французского романа «На острие шпаги». Владимир Познер, находясь в Бостоне, ответил представителю журнала «Aviation», что он любит Америку

во-первых, как француз,
во-вторых, как демократ,

в-третьих, четвертых и пятых я уже не помню...

Но я непозволительно забежал вперед...

В числе основателей Серапионова братства были два человека, никак не связанные ни с Домом искусств, ни с его Студией. Это Федин и Каверин. Оба они вошли в литературный круг благодаря конкурсу на рассказ, организованному Домом литераторов зимой 1920/21 года.

Дом литераторов существовал в Петрограде в те же годы, что и Дом искусств, и занимал особняк на Бассейной улице недалеко от угла Надеждинской. Состав его членов был в основном другой, чем состав членов Дома искусств. В Доме литераторов состояли преимущественно сотрудники дореволюционных газет: «Новое время», «Речь», «Русская воля», «Биржевые ведомости», «День». В годы революции это были ободранные, голодные, стремительно дряхлеющие и безмерно озлобленные люди. По грязноватым его залам бродили стаями полупомешанные старухи вроде Марии Валентиновны Ватсон и, завывая, проклина-

ли большевиков. Проклинали и в прозе, и в стихах. Вспоминается мне какая-то тамошняя старуха, которая, взгромоздясь на эстраду и тряся седой головой, читала свое стихотворение прерывающимся голосом. Каждая строфа этого стихотворения кончалась строками:

Не бросайте якорей
В логовища злых зверей.

И все понимали, что это означает: «Не идите работать на Советскую власть».

Заправляли Домом литераторов два очень бойких человечка средних лет, два расторопных журналиста из «Биржевки» — Волковысский и Харитон. Они устраивали в Доме литераторов мероприятия за мероприятием. Они доставали для членов Дома литераторов кое-какие пайки,— правда, довольно жалкие. Они умудрялись даже в течение двух с лишним лет издавать журнал «Вестник Дома литераторов» — орган контрреволюционной обывательщины. Когда к 1923 году их «Вестник» был закрыт, они оба ускакали в Ригу и основали там русскую белогвардейскую газету «Сегодня».

В Доме искусств презирали Дом литераторов. Презирали дружно, но по разным причинам. Сторонники Горького и Блока презирали их по мотивам политическим, как пособников саботажа и союзников эмигрантов. Сторонники «Цеха поэтов», бывшие сотрудники «Аполлона», презирали их, как всегда все эстеты презирают газетчиков. Студисты унаследовали это презрение от старших. Даже внешне Дом искусств был несравненно привлекательнее Дома литераторов,— в Доме искусств сохранились бывшие елисеевские слуги, которые, надеясь на возвращение прежних хозяев, заботились о чистоте и порядке, а Дом литераторов с каждым годом становился все грязнее и запущеннее.

Но, несмотря на презрение, это не были два совершенно разобщенных коллектива. Связь между ними постоянно поддерживалась. Многие мероприятия Дома литераторов посещались членами Дома искусств, и наоборот. Для члена Дома литераторов нелегко было стать членом Дома искусств. Но многие члены Дома искусств охотно становились членами Дома литераторов. Несомненно, известную роль играли в этом пайки, которые время от времени выдавали членам своего Дома Волковысский и Харитон.

Однажды, например, по городу разнесся слух, что членам Дома литераторов будут выдавать яйца, сбежались все, кто мог надеяться получить, и образовалась длиннейшая очередь. Пришел Волковысский и заявил, что каждому выдается только одно яйцо. Потом принесли яйца, и собравшихся постигло новое разочарование: все яйца оказались тухлыми. В очереди стоял нищий старик — полковник царской армии Белавенец. Он считался литератором, потому что писал до революции книги по геральдике. Он объявил, что охотно будет есть тухлые яйца, и стал выпрашивать их у всех получивших. По этому поводу Георгий Иванов, тоже стоявший в очереди, сочинил:

Полковнику Белавенцу.
Каждый дал по яйцу.
Полковник Белавенец
Съел много яец.
Пожалейте Белавенца,
Умеревшего от яйца.

Стишок этот сохранился у папы в «Чукоккале».

В конце 1920 года у входа особняка на Бассейной появилось написанное от руки объявление, в котором было сказано, что Дом литераторов проводит конкурс на лучший рассказ. Членами жюри были объявлены Евгений Замятин, Аким Волынский, Борис Эйхенбаум, Николай Волковысский и еще кто-то. Я был на том многолюдном собрании в Доме литераторов, на котором Замятин мужественно провозглашал результаты конкурса. Первой премии был удостоен Константин Федин за рассказ «Сад». Одну из поощрительных премий получил Каверин.

Федин служил в то время на какой-то небольшой должности в издательстве «Парус». Это было частное издательство, находившееся на Невском неподалеку от Аничкова моста, принадлежавшее З. И. Гржебину и существовавшее благодаря покровительству Горького. С Домом литераторов Федин был, по-видимому, связан и до конкурса, благодаря своей дружбе с Лидией Борисовной Харитон, дочерью Харитона. Но с литературной молодежью Дома искусств свел его, конечно, Замятин — сразу после конкурса. Федину в ту пору было уже около тридцати лет, держался он солидно, не без важности, и, разумеется, такие зеленые юнцы, как Вовка Познер, Лева Лунц и я, не могли ему быть интересны. Но с Зощенко, Слонимским, Никитиным, Груздевым он сразу сошелся.

Вениамин Каверин (тогда еще просто Веня Зильбер) попал в круг будущих серапионов тоже, по-видимому, благодаря Замятину и Эйхенбауму. Впрочем, решающую роль здесь, конечно, сыграл Лева Лунц, хорошо знавший Веню Зильбера по университету. Каверин был ровесник Лунца и по возрасту подходил скорее к нам, младшим. Это был плотный черноволосый малый с выросшими из рукавов руками. Самолюбиво поглядывал он на всех большими глазами и держался не без заносчивости. Впрочем, я впервые увидел его на первом серапионовом собрании.

История «Серапионовых братьев» примечательна. Это, кажется, единственный в мировой истории литературный кружок, все члены которого, до одного, стали известными писателями. Но выяснилось это только впоследствии. При организации кружка даже сами участники не придавали этому событию слишком большого значения.

Первое организационное собрание «Серапионовых братьев» состоялось 1 февраля 1921 года в Доме искусств, в комнате Слонимского. Членами братства были признаны Илья Груздев, Михаил Зощенко, Лев Лунц, Николай Никитин, Константин Федин, Вениамин Каверин, Михаил Слонимский, Елизавета Полонская, Виктор Шкловский и Владимир Познер. Название «Серапионовы братья» предложил Каверин. Он в то время был пламенным поклонником Гофмана. Его поддержали Лунц и Груздев. Остальные отнеслись к этому названию холодно. Многие, в том числе и я, даже не знали Гофмановой книги, носящей такое название. Но Лунц объяснил, что там речь идет о собрании монахов, где каждый по очереди рассказывал какую-нибудь занимательную историю. Так как члены кружка тоже собирались по очереди читать друг другу свои произведения, название показалось подходящим. Решили каждому брату дать прозвище и тут же их изобрели. Я их забыл, как забыли их все, потому что никогда впоследствии не употребляли. Помню только, что Груздев был брат-настоятель, а Лунц — брат-летописец. Предполагалось, что Груздев будет исполнять председательские обязанности, а Лунц — секретарские. Но и это не осуществилось. На серапионовых собраниях никто не председательствовал и не велось никакого протокола. Вообще там царило полное равенство, и все организационные мероприятия совершались сообща, скопом. Припоминаю, что Познеру дали прозвище Молодой брат — как самому младшему.

В серапионовском братстве были только братья, сестер не было. Даже Елизавета Полонская считалась братом, и приняли ее именно за мужественность ее стихов. Зощенко прозвал ее «Елисавет Воробей». Однако при серапионовом братстве был, так сказать, официально установлен особый институт — серапионовы дамы. Это были девушки, которые сами ничего не писали, но присутствовали на всех серапионовских собраниях. Вот их имена: Дуся Каплан, Муся Алонкина, Зоя Гацкевич, Людмила Сазонова и Лида Харитон.

На первом собрании было решено, что все присутствовавшие перейдут друг с другом на «ты». Именно с этого дня перешел я на «ты» с Зощенко, с Никитиным, с Груздевым, с Зоей Гацкевич-Никитиной-Козаковой. Но целый ряд «ты» все-таки не осуществился, несмотря на постановление,— между многими не было подлинной близости. В 1954 году Федин встретился с Познером в Варшаве на каком-то конгрессе в защиту мира. Познер прислал ему записку, где назвал его «Костей» и обращался к нему на «ты».

— А ведь мы никогда с ним на «ты» не были!— говорил мне Федин, рассказывая об этом, и был прав. Ни Познер, ни я никогда не были с Фединым на «ты» — слишком велика была между нами разница в возрасте; в 1921 году он относился к нам обоим как к ребятам.

При основании «Серапионовых братьев» оказались, конечно, и обойденные, непринятые. Помню, как разобиделся Николай Катков, товарищ Лунца, Зощенко, Груздева и Никитина по семинару Замятина тем, что его не приняли. Вообще проникнуть к серапионам было нелегко. Они сразу же составили замкнутый круг. После основания в братство были приняты только двое — Всеволод Иванов и Николай Тихонов. Об этом я расскажу ниже.

Серапионы встречались раз в неделю в комнате у Слонимского и читали друг другу свои произведения. Помню, как Зощенко с колоссальным успехом читал свои рассказы «Виктория Казимировна» и «Рыбья самка», как Слонимский читал рассказы, которые впоследствии вошли в его книгу «Шестой стрелковый», как Лунц с неистовой пылкостью читал свою трагедию «Вне закона», как Каверин читал свои фантастические рассказы про Шваммердама, а затем повесть «Большая игра», как Федин читал отрывки из «Городов и годов». Я не в состоянии восста-

новить в памяти порядок этих чтений, хотя помню каждое из них в отдельности. Произведения следовали одно за другим, создавая ощущение щедрости, изобилия, наполняя всех чтецов и слушателей гордой радостью. Вообще первый год существования «Серапионовых братьев» был для них годом удивительного подъема. На глазах у нас создавалась новая литература, способная изобразить новый мир, никогда никем еще не изображенный. Каждое чтение казалось открытием и волновало до боли, до счастья.

Теперь, спустя десятилетия, перечитывая первые литературные попытки серапионов, трудно понять, как они воспринимались тогда. С тех пор революция была не раз изображена несравненно ярче, мощнее, прямее — в «Тихом Доне», в «Хождении по мукам», в «Разгроме», в «Чапаеве». Серапионовские произведения тех лет кажутся сейчас покрытыми коростой литературщины, манерной замятинщины. Но для тогдашних молодых литераторов, воспитываемых в грубых и тупых формалистских представлениях о внеисторической ценности литературных приемов, эта короста казалась неизбежностью. Не замечая этой коросты, мы с восторженным удивлением обнаруживали и блестки новой речи, впервые входившей в литературу, узнавали новые бытовые отношения, чувствовали все страсти своего времени, так жарко обнимавшие нас. И с каждым днем все ярче сиял нам юмор Зощенко, неповторимый, человечный, мудрый.

На первых порах все были очень дружны или казались очень дружными. Еще неравномерное распределение успехов не породило зависти и неприязни. Кроме официальных еженедельных собраний было еще множество неофициальных — фактически все встречались почти каждый вечер. Комната Слонимского превратилась как бы в постоянный штаб братства. Несколько в стороне стоял один только Виктор Шкловский — все-таки он был литератор другого поколения, начавший значительно раньше и не сливавшийся с остальными серапионовцами полностью. Да и не особенно он был, по-видимому, интересен таким серапионам, как, скажем, Никитин или Зощенко, не отличавшимся особой склонностью к теоретическим умствованиям по поводу литературы.

Был у серапионов такой обычай. Если одному из них что-нибудь в разговоре казалось особенно любопытным, он кричал:

— Моя заявка!

Это означало, что любопытное событие или меткое слово, услышанное в разговоре, мог использовать в своей литературной работе только тот, кто сделал на него заявку. В беспрерывной оживленной трескотне, не замолкавшей на первоначальных серапионовских встречах, возглас «Моя заявка!» раздавался поминутно. Иногда двое или трое одновременно выкрикивали «Моя заявка», и возникал спор. Это не означало, что все эти заявки действительно использовались. Тут скорее было кокетничанье своей силой: все, мол, могу описать, что только захочу.

И действительно, ощущение своей силы у каждого в то время было огромное. Целина лежала перед ними: новый мир, который предстояло изобразить. Они не сомневались в том, что это им удастся, и чувствовали себя могучими, как титаны.

Я присутствовал при первом посещении серапионами Горького — при том посещении, которое описал Каверин в своей статье «Горький и молодые» (Знамя. 1954. № 11. 158—167).

Каверин хорошо запомнил это посещение, потому что оно было его первой встречей с Горьким. Для Федина и Слонимского встреча эта была далеко не первой. Я тоже и раньше бывал у Горького на Кронверкском. Однако это посещение ясно помню.

Каверин хорошо описал большую низкую тахту в кабинете у Горького. Тахта стояла как раз против письменного стола, и, когда Горький сидел за столом, лицо его было обращено к тахте. Мы расселись на тахте (те, кто поместились, я, например, не поместился и сел на стул справа от тахты, у окна), Горький сел за стол, и началась беседа, в которой говорил почти один только хозяин. Я не произнес, конечно, ни слова, Лунц, Федин, Груздев отваживались лишь на робкие реплики, раза два что-то промямлил Слонимский. Горький, отделенный от нас плоскостью своего большого стола, говорил долго, назидательно и однотонно.

Когда мы вошли, кроме Горького в кабинете находился еще один человек, большинству из нас, в том числе и мне, незнакомый. Он сидел на тахте — в солдатской шинели, в обмотках, в солдатских сапогах. Шапка-ушанка с белым мехом лежала у него на коленях. Лицо у него было очень широкое, круглое, с узкими глазками и носом картошкой,

и я принял его сначала за монгола. Горький познакомил нас. Это был Всеволод Иванов, недавно приехавший из Сибири и привезший свою первую книжку под названием «Рогульки».

Беседа с того и началась, что Горький стал нам рассказывать про Всеволода Иванова. Биография Всеволода Иванова оказалась весьма причудливой — он успел побывать и циркачом, и наборщиком и повоевать на многих фронтах. Все это нам очень понравилось,— в те времена была мода на пышные, пестрые, мужественные биографии. Никитин и Слонимский, например, изо всех сил старались выдумать себе биографии попричудливей, но у них это плохо получалось. Из всех профессий Всеволоду Иванову больше всего пригодилась профессия наборщика, потому что свою первую книжку «Рогульки» он набрал сам.

Пока Горький говорил, мы маленькую книжечку эту почтительно передавали из рук в руки. В ней были совсем небольшие рассказики, написанные темно и витиевато. Горький попросил книжечку себе и, восторгаясь, прочел один из рассказиков вслух. Мы восхитились. Витиеватость в рассказике была именно та самая, какой требовал Замятин от своих студистов у себя на семинаре. Горький предложил нам подружиться со Всеволодом Ивановым. И Всеволод Иванов был мгновенно принят в Серапионово братство.

Потом Горький перешел к разбору нашего творчества. Совсем не помню, каким образом Горький узнал о «Серапионовых братьях» и познакомился с тем, что они писали. Вероятно, связь первоначально установилась через Федина и Слонимского. Разбор творчества был краткий, но очень лестный для всех. Федина, Зощенко и Лунца Горький хвалил пространнее и горячее, чем остальных, но и остальные не были забыты; даже мои стихи удостоились совсем ими не заслуженного похвального отзыва. Затем Горький перешел к тому, что всех нас тогда интересовало больше всего,— к возможности печататься, к планам издания серапионовского сборника и книг отдельных серапионов. Помню, что при этом, наряду с Госиздатом, часто поминалось имя издателя Зиновия Исаевича Гржебина. Не раз было произнесено священное слово «гонорар», восхищавшее нас не столько тем, что сулило нам деньги, сколько тем, что приобщало нас к касте настоящих профессиональных литераторов.

Существует мнение, будто между Горьким и серапионами с самого начала установились отношения учителя и учеников. Мнение это не вполне справедливо. Такие отношения установились позже, постепенно, а вначале некоторые серапионы даже не понимали литературного значения Горького. Это был результат литературного воспитания. Ценили Горького за его политическую антиэмигрантскую позицию; дорожили им как добрым, могущественным человеком, способным оказать покровительство. Но как писателя знали его мало и понимали плохо. Я из всей его прозы знал тогда только «Детство» и «В людях» — и то не сам читал, а слышал отрывки, которые отец мой любил читать вслух за обедом. Некоторое впечатление на меня произвела лишь маленькая сценка, в которой изображался приказчик, съевший на пари десять фунтов ветчины,— и то только оттого, что я, постоянно в те годы голодный, позавидовал этому приказчику. Стихи его я, как и все в Доме искусств, считал банальными и смешными. Кроме стихотворения «Васька Буслаев», которое очень любил.

Язвительное стихотворение это я тоже слышал в чтении моего отца и вместе с отцом восхищался им.

Землю разукрасил бы — как девушку,
Обнял бы ее — как невесту свою,
Поднял бы, понес ее ко господу:
— Глянь-ко ты, господи, земля-то какова,—
Сколько она Васькой изукрашена!
Ты вот ее камнем пустил в небеса,
Я ж ее сделал изумрудом дорогим!
Глянь-ко ты, господи, порадуйся,
Как она зелено на солнышке горит!
Дал бы я тебе ее в подарочек,
Да — накладно будет — самому дорога!

Убежден, что, скажем, Лунц и Каверин в 1921 году ценили и понимали Горького как писателя еще меньше, чем я. Лунц вообще не любил русскую прозу, он утверждал, что писать надо, как Конан Дойл, как Уэллс, как Киплинг, из русских прозаиков последних десятилетий более или менее признавал только Ремизова да Белого, и, конечно, Горький как писатель ничего не говорил его сердцу. Тогдашний Каверин, с его наивным шкловитянством, с сюжетным трюкачеством, с «остранением», с пристрастием к Гофману, еще меньше способен был понять Горького. Остальные тоже своими учителями считали Лескова, Ремизова,

Белого, Бунина, Киплинга, Замятина, а никак не Горького. Учителем своим они признали Горького гораздо позже, а учились ли у него когда-нибудь действительно — не знаю.

С этого дня Всеволод Иванов стал настоящим серапионовым братом и посещал все серапионовские собрания. На ближайшем собрании в комнате Миши Слонимского он своим диковатым солдатским видом испугал серапионовых дам. Мила Сазонова, крупная, сильная, красивая девушка, шарахнулась в сторону, когда Иванов сел рядом с ней.

— Не бойтесь. я вас не потрогаю,— смущенно сказал Иванов.

Лунц, сидевший в кресле, захохотал, задрав ноги кверху, и долго еще повторял, вытирая слезы кулаками:

— Не бойтесь, я вас не потрогаю.

За Всеволодом Ивановым в серапионовской среде надолго установилась репутация неуклюжего увальня, деревенщины, по правде сказать, совершенно им не заслуженная. Этот тонкий душевно человек был такой же интеллигент, как и они, и обладал всеми теми же интеллигентскими пристрастиями, предрассудками и достоинствами, что и они сами. Однако его долго выдавали за какого-то особенного «человека из народа» и сочиняли про него, любя, соответствующие анекдоты.

Вот один из них.

В 1922 году серапионы чествовали в Доме искусств Мартина Андерсена-Нексе, впервые приехавшего в Советскую Россию. Присутствовал и я. Было нечто вроде банкета — без крепких напитков, разумеется. Датского языка из нас не знал никто, и разговаривать с почтенным гостем можно было только по-немецки. Естественно, разговором завладел Федин, лучше всех знавший немецкий язык. Тягаться с ним мог только Лунц, тоже недурно говоривший по-немецки. Слонимский и Никитин, покраснев от натуги, также произнесли несколько немецких фраз. Остальные были обречены на молчание. Но Всеволод Иванов тоже хотел принять участие в беседе. И, пожимая руку гостю, произнес:

— Und!

Единственное немецкое слово, которое знал.

Я не уверен, правда ли это. Сам я этого своими ушами не слышал. Но Лунц клялся, что правда.

Последним в Серапионово братство был принят Нико-

лай Семенович Тихонов. Произошло это не раньше ноября 1921 года.

На нашем горизонте Тихонов появился впервые, по-видимому, в самом конце двадцатого года. «Открыл» его Всеволод Рождественский и, «открыв», стал водить в Дом искусств.

У Всеволода Рождественского в то время было несколько особое положение — акмеист по убранству стиха, всеми корнями связанный с «Цехом поэтов», он был изгнан из «Цеха» и находился в дурных отношениях с гумилевцами. Однако лагерь будущих серапионов был ему совершенно чужд, относился к нему презрительно, насмешливо, и он, естественно, не мог прильнуть к нему. Но, не примыкая ни к одному из лагерей, он пользовался большим успехом как поэт. У него была своя собственная свита, состоявшая преимущественно из разных дам и барышень. И впервые Тихонов предстал перед нами именно как человек из свиты Рождественского.

На стихах Тихонова той зимы можно заметить влияние поэтики Рождественского.

С конца апреля по середину октября 1921 года меня не было в Петрограде, я вместе с родителями жил в Псковской губернии. Вернувшись после полугодового отсутствия, я нашел родной и знакомый мне петербургский литературный мир значительно изменившимся. За это время не стало и Блока, и Гумилева. Изменилось значение многих людей, появились новые люди.

Среди новых людей нужно назвать прежде всего Сергея Колбасьева — того морячка, которого Гумилев привез с собой из Севастополя. Я уже писал, что это был человек, издавший в Севастополе книгу стихов Гумилева «Шатер».

Теперь расскажу о нем немного больше. В течение всей гражданской войны он сражался на стороне красных, хотя происхождения он был отнюдь не пролетарского. Отец его принадлежал к старой дворянской военной семье, и Сергей Колбасьев бережно хранил медаль, полученную его предком за участие в Отечественной войне 1812 года. Мать его, Эмилия Петровна, урожденная Каруана, была итальянка из купеческой семьи, занимавшаяся вывозом хлеба через Одессу и Николаев. Она давно овдовела и находилась не то в родстве, не то в свойстве с Рейснерами, и, таким образом, Колбасьев, через знаменитую красавицу тех лет Ларису Рейснер, приходившуюся ему чем-то вроде

кузины, оказался в близких отношениях с высшим командованием Красного Флота.

Это был худощавый, довольно высокий молодой человек с черными итальянскими глазами, быстро и много говоривший. Он был прост, приветлив, одержим литературой и необычайно легко сходился с людьми. Я вернулся в Петроград в октябре 1921 года, увидел его впервые и уже через неделю был с ним в самых коротких дружеских отношениях. На нем лежала тогда еще некоторая тень таинственности,— его привез и привел в Дом искусств Гумилев перед самой своей гибелью. Колбасьев был переполнен рассказами, анекдотами, пословицами из морской жизни, и все это — то трагическое, то смешное, часто непристойное — он щедро обрушивал на восхищенных слушателей. Стихи он писал тоже только о море. Впрочем, стихи его у нас большого успеха не имели.

Его дружба с Гумилевым и сам гумилевский покрой его первых стихов открывал перед ним двери «Цеха поэтов». И действительно, Георгий Иванов, Адамович, Оцуп отнеслись к нему весьма благосклонно. Но в «Цех поэтов» Колбасьев не пошел. Осенью 1921 года он избрал себе нового бога вместо Гумилева и шел туда, куда вел его новый бог. Этот новый бог был Николай Тихонов.

За полгода, что меня не было в Петрограде, Тихонов стал богом не для одного только Колбасьева. Его первые баллады, вошедшие потом в его первую книгу «Орда», потрясли весь наш мирок. Между ним и Рождественским не было уже ничего общего, связь их порвалась бесповоротно.

Тихонов захватил в нашем кругу место Познера, уехавшего весной. Но баллады Тихонова с самого начала имели успех гораздо больший, чем баллады Познера. Их лохматой, неуклюжей мощью восхищались все. Георгий Иванов говорил про него сквозь зубы, что это «сильный, но необработанный талант». Но особенно восхищались им серапионы. К балладам Тихонова отнеслись они с шумным восторгом и без конца заставляли его читать их. И он читал и только басовато похохатывал, слушая их упоенные восклицания.

Колбасьев забыл Гумилева и всей душой предался Тихонову. Он повсюду ходил за ним, был с ним неразлучен и сам писал стихи теперь не как Гумилев, а как Тихонов, но только гораздо слабее. Он всей душой любил Тихонова,

и Тихонов позволял ему себя любить, как полгода назад позволял любить себя Рождественскому.

В ту осень серапионы был на взлете, Тихонова тянуло к серапионам. Тяготение это было естественно, потому что тогдашнее творчество его было очень близко к тому, что делали серапионы. И в ноябре решался вопрос о приеме в братство двух новых членов — Тихонова и Колбасьева.

Происходило это почему-то не в комнатенке Миши Слонимского, а в одной из парадных комнат Дома искусств. Всех не членов братства попросили выйти. Мы вышли в соседнюю комнату: я, Тихонов и Колбасьев. Ждали минут двадцать. Несомненно, за дверью происходили споры, но я о них не знаю ничего.

Потом вышел Каверин и объявил, что Тихонов принят, а Колбасьев — нет.

С тех пор в Серапионово братство не был больше принят ни один человек. Организация эта сформировалась окончательно.

Может возникнуть вопрос — сколько времени существовало Серапионово братство? Ответить на него не легко. Сборник под названием «Серапионовы братья» вышел только дважды, один раз в Петрограде, другой раз в Берлине, в 1921 и 1922 гг. Регулярные собрания с чтением друг другу своих произведений продолжались не позже, чем до 1923 года. Организационных собраний после того, на котором приняли Тихонова, больше по-видимому, не было совсем. Оставались только серапионовские «годовщины», справлявшиеся ежегодно 1 февраля. На одной такой «годовщине» десятого февраля 1931 года был и я. Происходила она на квартире у Тихонова, Зверинская, 2, и состояла в дружеской попойке. Не сомневаюсь, что только в этом заключался и смысл всех остальных «годовщин».

Однако, несмотря на это отсутствие организационных форм, «Серапионовы братья» продолжали существовать как единая, сплоченная, ни с кем не сливающаяся, очень деятельная организация по крайней мере до середины тридцатых годов.

Интерес их друг к другу как писателям слабел. Чем дольше шло время, тем больше они друг от друга литературно обособлялись. Но очень еще долго были они нужны друг другу для тех житейско-литературных битв, которые им приходилось вести.

Прежде всего это была энергичнейшая дружная борьба за возможность печататься, за овладение типографскими машинами. Все важнейшие издательские предприятия в Ленинграде двадцатых годов основывались при участии серапионов и в той или иной мере контролировались ими. Крупнейшими деятелями издательства «Прибой» были Миша Слонимский и Зоя Гацкевич — к этому времени уже Зоя Никитина, так как она вышла замуж за серапионова брата Николая Никитина. В Госиздате серапионы тоже играли немалую роль, и именно благодаря им были созданы и альманах «Ковш», и журнал «Звезда». Руководителями «Звезды» вплоть до 1941 года фактически были Слонимский и Тихонов. Но главной их цитаделью в течение долгого времени было Издательство писателей в Ленинграде. Возглавлял его Федин, наиболее влиятельными членами полновластного Редакционного Совета были Тихонов, Слонимский, Груздев, а бессменным секретарем — все та же Зоя Никитина.

Единство серапионов не раз помогало им в истории их отношений с другими группами литераторов. Прежде всего это сказалось внутри так называемого «старого» Союза писателей, возглавлявшегося Федором Сологубом. Они были приняты туда нехотя и сначала заняли самое скромное положение среди разных полупочтенных старцев, чрезвычайно себя уважавших. Но за какой-нибудь год они перевернули в Союзе все и, в сущности, стали его руководством.

«Старый» Союз писателей в Ленинграде был их главной цитаделью вплоть до создания «нового» Союза после ликвидации РАПП. Они установили дружественные и деловые связи с родственными им писателями в Москве,— сначала с Пильняком и Лидиным, потом с Леоновым и, наконец, с Павленко. Годы с двадцать седьмого по тридцать второй прошли для них в напряженной борьбе с РАПП, которую они вели умело, гибко и осторожно. Никогда не идя на рожон и используя борьбу рапповских главарей между собою, они ловко отводили от себя удары и, в то время когда кругом трещали кости, отделывались пустяками. В самый разгул авербаховщины они умудрились ходить в «левых попутчиках» и в «союзниках». РАПП требовал от них «перестройки», и они охотно и изящно «перестраивались», хотя, по правде говоря, ни в какой «перестройке» не было надобности, потому что они с самого начала были прежде всего советскими писателями.

И в борьбе с РАПП они оказались победителями и пережили его.

Распались «Серапионовы братья» не в один какой-нибудь день, а постепенно, по мере того как с возрастом слабели дружеские связи.

1921 год был переломным годом в жизни страны. Кончилась гражданская война, Советская власть окончательно установилась почти на всей территории бывшей Российской империи. Продразверстка была заменена продналогом, произошли коренные изменения в отношениях между рабочим классом и крестьянством, городом и деревней. Контрреволюция, потерпевшая поражение на фронтах, стала прибегать к новым методам борьбы и пропаганды. Начался нэп, разрешена была частная торговля. Открылись кое-какие маленькие частные издательства.

1921 год был переломным годом и для нашего петроградского литературного круга. Во-первых, в этом году заметно изменился его состав. Умер Блок, погиб Гумилев. Георгий Иванов, Адамович, Оцуп, Одоевцева поняли, что оставаться им в Петрограде опасно, стали свертывать свою деятельность и готовиться к эмиграции. Уехал за границу Познер, появился Колбасьев. В этом году основались «Серапионовы братья», в Петроград приехал из Сибири Всеволод Иванов, прогремели первые баллады Николая Тихонова. Из Крыма возвратился в Петроград Мандельштам, из Москвы переехал в Петроград Ходасевич, и оба они сразу заняли заметные места в петроградской литературе.

Некоторые из антисоветски настроенных старых литераторов с возникновением нэпа возымели надежду, что им удастся воссоздать в Советской России антисоветскую печать. В журнальчике Волковысского и Харитона «Вестник Дома Литераторов» была помещена любопытная заметка, подписанная Петром Губером, бывшим сотрудником «Речи». Чтобы привлечь внимание к этой заметке, ее оттиснули на полосе вверх ногами, перевернутой. Озаглавлена была эта заметка «нэп и неп». В заметке объяснялось, что нэп — это Новая Экономическая Политика, а неп — независимая печать, и высказывалось упование, что вместе с нэпом придет и неп. Как известно, этому упованию не суждено было сбыться. Напротив, антисоветски настроенные литераторы с 1921 года сильно

поутихли, и зато заметную роль в литературной жизни Петрограда стали играть пролеткультовцы: Садофьев, Кириллов, Панфилов.

Трехлетие 1918—1920 и семилетие 1922—1928— это две весьма разные эпохи в жизни страны и в жизни литературы. В 1921 году были перемешаны черты обеих эпох, и потому он особняком стоит в памяти. Все ощущали тогда, что происходит перемена, и потому это был год всеобщих опасений и надежд. И конечно, никто не мог тогда предвидеть, каким из этих опасений и надежд суждено сбыться, а какие останутся втуне.

ХОЛОМКИ

В 1921 году наша семья с мая по октябрь прожила в Холомках. Холомки — это было имение князей Гагариных в Псковской губернии, на берегу Шелони, в 25 верстах от уездного города Порхова. Пахотные земли Гагариных были поделены между крестьянами, а усадьба Холомков была объединена с соседней усадьбой имения Новосильцовых «Бельское Устье» и превращена в совхоз. Главной драгоценностью совхоза был новосильцовский яблоневый сад — семь десятин великолепнейших старых яблонь, все ранет и белый налив. Остальные хозяйственные статьи совхоза были ничтожны — кое-какие огородишки да четыре тощие запаршивевшие лошади и две коровы. Лошадей и коров пасла шепелявая дурочка-пастушка, безобразная, немолодая, одетая в мешковину и до того грязная и вонючая, что к ней страшно было подойти. У пастушки этой почему-то были золотые зубы. Почему — не помню, вероятно, она была из опустившихся «бывших» — бывшая кухарка, бывшая лавочница, а может быть, и чиновница. Во всем уезде ни у кого, кроме нее, не было золотых зубов, и крестьяне, встречаясь с ней, не отрываясь смотрели ей в рот, как на чудо. Она постоянно опасалась, что кто-нибудь выбьет ей зубы с целью грабежа, и часто говорила об этом.

Для моего отца поездка в Псковскую губернию летом 1921 года была выходом из чрезвычайно тяжелого материального положения. В 1920 году родилась моя сестра Мура — четвертый ребенок в семье,— и отцу, единственному нашему кормильцу, решительно нечем было кормить нас в голодном Петрограде. Оставался только один выход — уехать в деревню и жить там, меняя вещи на продукты.

Беда заключалась в том, что никаких вещей у нас не было. К двадцать первому году мы уже все обносились

до предела. Но отец нашел выход — с запиской от знакомых работников Петросовета он обратился на один из петроградских металлургических заводов и получил там мешок гвоздей и четыре стальные косы. Мешок с гвоздями притащил домой на спине я,— никогда в жизни мне не приходилось тащить ничего более тяжелого. Это было богатство — деревня погибала без гвоздей и кос. В Холомках мешок гвоздей и четыре косы мы обменяли на четыре мешка ржи. И жили там, пока не съели эту рожь,— до середины октября.

Холомки были открытием художника Добужинского. Он был знаком с Гагариными еще до революции, списался с ними и первым уехал к ним, увезя с собой всю семью. Гагарины продолжали жить в своем помещичьем доме благодаря неизреченной доброте А. В. Луначарского, который выдал им охранную грамоту. Семья Гагариных в это время состояла из трех человек — старой княгини, княжны Софьи Андреевны, женщины лет тридцати двух, и князя Петра Андреевича, семнадцатилетнего мальчика, моего ровесника. Старый князь уже умер, а старшие сыновья были в бегах за границей. Двухэтажный каменный дом их на берегу Шелони был построен перед самой войной и скорее напоминал виллу, чем помещичий дом. В доме сохранилась отличная библиотека Гагариных, и княжна Софья Андреевна, числясь библиотекаршей и получая зарплату из Порхова, выдавала книжки желающим.

Гагаринскую землю крестьяне запахали, но к ним самим относились добродушно и дружелюбно. Бывало, в какую избу ни зайдешь с Петей Гагариным — усаживают за стол, жарят глазунью с луком. Эти глазуньи, которых я так давно не пробовал, потрясали меня до глубины души. Петю крестьяне называли не иначе как «вашим сиятельством». Возможно, в благодушной этой почтительности был и расчет — ведь всего год назад в Порховском уезде владычествовали банды Булак-Балаховича и окончательной уверенности в прочности Советской власти у крестьян не было.

Когда мы приехали в Холомки, там уже жил Евгений Иванович Замятин, тоже вызванный туда Добужинским — подкормиться. У Евгения Ивановича была и особая причина приезда,— он был влюблен в Софью Андреевну Гагарину, и между ними тянулся долгий и, по-видимому, трудный для обоих роман.

Вслед за нами стали приезжать привлеченные пищей все новые художники и литераторы. Из художников я помню двоих — Николая Эрнестовича Радлова с женой Эльзой и дочкой Мапой и Владимира Алексеевича Милашевского. Милашевский был тогда еще совсем молодой человек с уже большой и сложной биографией, как у многих молодых людей того времени. Он был на редкость здоров и силен, хохотлив, шумен и подвижен. Всего за несколько месяцев перед тем он вернулся из Сибири, где провел несколько бурных лет, воюя попеременно на стороне белых и красных. Политикой он нисколько не интересовался и относился к тому, что происходило в России, с презрительным равнодушием ландскнехта. Его назначили комендантом яблоневого сада совхоза, и он выполнял свои обязанности с удивительной ретивостью. Когда яблони начали поспевать, он построил себе между яблонь шалаш и сидел там днем и ночью, наблюдая за тем, чтобы деревенские мальчишки не крали яблок. Против мальчишек он вел правильную войну, устраивал ловушки, засады, с бешеным увлечением гонялся за ними, крича и перепрыгивая через заборы. Он утверждал, что крестьян надо сечь, и совершенно серьезно проповедовал восстановление телесных наказаний. Это не мешало ему установить самые дружеские отношения с местным населением, особенно с женской его половиной. Скоро он стал веселой грозой деревенских девок и баб. Впрочем, бесконечные его похождения не мешали ему всей душой отдаваться рисованию и живописи. Всюду таскал он с собой альбомчик и беспрестанно делал стремительные зарисовки. Как художник он был лаконичен и точен — особенно в портретах. Набросав портрет или пейзаж, он принимался громко восхищаться своей работой, так как обладал неистощимым самодовольством. Его наброски действительно были очень хороши, в них как живая отразилась деревня неповторимого двадцать первого года. Некоторые из них сохранились у меня до сих пор, — и это, может быть, лучшее и наиболее самобытное из всего, что он сделал за свою жизнь.

Литераторов понаехало в Холомки куда больше, чем художников. Появился Ходасевич с женой и пасынком, М. Л. Лозинский со своей лучшей ученицей Оношкович-Яцыной, Леткова-Султанова с сыном Юрием. Вслед за ними появилась и молодежь — Сергей Нельдихен, Миша Зощенко, Миша Слонимский, Лева Лунц и Муся Алонкина. Всех их вместить гагаринский дом не мог, и потому ново-

прибывших поселили в бывшем новосильцовском доме — Бельском Устье.

Новосильцовский дом стоял в двух верстах от Холомков — длинная деревянная двухэтажная постройка с просторными комнатами, паркетом и полным отсутствием мебели; мебель к этому времени уже успели развезти по своим избам окрестные крестьяне. От Холомков к Бельскому Устью вела длинная березовая аллея. Дом Новосильцовых одним фасадом был обращен в яблоневый сад, другим — к бесконечным полям, где блестели изгибы Шелони и чернели деревни. Между домом и рекой стояла церковь, построенная в XVIII веке. По ту сторону реки, за мостом, возле кладбища, стояли три домишка, в которых жили священник, дьякон и псаломщик.

Новоприбывшие разместились в пустом доме кто как мог: на топчанах и просто на полу. Нельдихен устроился на террасе с перебитыми стеклами в длиннейшем ящике из-под яиц. Заглянул я как-то в этот ящик, смотрю, лежит он там на спине, на стружках, выставив вверх острые колени, в гоголевской крылатке, в галстуке бабочкой и ухмыляется своей обычной ухмылкой — дурацкой и плутоватой. Н. Э. Радлов решил преобразить внутренность новосильцовского дома и принялся расписывать его голые стены огромными фресками. Мы с жадным вниманием следили за его работой, быстро продвигавшейся вперед — каждый день появлялась новая фреска. На этих уморительно смешных фресках изображены были мы сами — и Нельдихен в крылатке, и изысканный Лозинский, и Добужинский, и мой отец, и стремительный Лева Лунц, и Гагарины, и Замятин, и маленький Ходасевич с челкой на лбу, в пенсне, с брезгливой улыбкой на крохотном личике.

В сторожке рядом с домом жили Вихровы — семья бывшего кучера Новосильцовых. В семье были две дочери — Женя и Тоня. Женя, старшая, лет двадцати трех, высокая, с удивительной осанкой, была почти совсем глуха. Рассказывали, что оглохла она в результате нервного потрясения после неудачного замужества. Когда летом 1917 года генерал Корнилов сделал попытку подтянуть к Петрограду войска и раздавить революцию, одна из его дивизий, так называемая «дикая», простояла три дня в окрестностях Бельского Устья. За эти три дня один офицер дикой дивизии, по фамилии Лещинский, успел жениться на Жене Вихровой. Венчались рядом, в церкви, при огромном стечении народа, потом сыграли пышную свадьбу, на кото-

рой пировали бесчисленные родственники Вихровых из окрестных деревень. Наутро после брачной ночи дивизия ушла, а вместе с ней ушел и Лещинский. С тех пор Женя Вихрова ничего больше не слышала о своем муже,— он даже письма ей не прислал ни разу. И она оглохла.

Глухоту свою она тщательно скрывала, и с лица ее не сходило выражение величавого замкнутого достоинства. Она казалась загадочной. По вечерам в домике Вихровых собирались Радлов, Милашевский, Ходасевич и я и играли с обеими сестрами в «почту амура». Женя очень нравилась Ходасевичу, и он не отходил от нее. Он читал ей стихи и без конца ей рассказывал о своих ссорах с Брюсовым, с Андреем Белым, о своих отношениях с издательством «Гриф» и журналом «Весы». Она слушала его молча, с загадочной полуулыбкой на величавом лице. Это его поощряло, и он говорил, говорил, хилый, беспокойный, торопливый, пронзительно умный, едва доходивший ей до плеча. Она, конечно, ничего не слышала, а если бы и слышала, ничего не поняла бы. Мы с Тоней понимали друг друга гораздо лучше.

Жене Вихровой посвящено написанное в то лето стихотворение Ходасевича, которое называется: «К Лиде». Начинается оно так:

Высоких слов она не знает,
Но грудь бела и высока,
И сладострастно воздыхает
Из-под кисейного платка.

Сестер Вихровых имел он в виду, когда писал в конце одного из своих стихотворений:

И к девушкам, румяным розам,
Склонясь усталою главой,
Дышу на них туберкулезом,
И Петербургом, и Невой.
Как тот угрюмый неудачник
С печатью бога на челе,
Я тоже — только первый дачник
На расцветающей земле.

Эта «печать бога на челе» требует пояснений. У Ходасевича на лбу была неизлечимая экзема, которую он прикрывал челкой. Он считал ее той печатью, которой бог отметил Каина — угрюмого неудачника — в знак его отверженности. Впоследствии, уже за границей, в одном из своих стихотворений, вошедших в книгу «Европейская ночь», он написал о себе:

Неузнанный проходит Каин
С экземою между бровей.

До Холомков, в Петрограде, я видел Ходасевича всего два-три раза. Мне очень нравились его стихи. Он только зимой 1920/21 года перебрался из Москвы в Петроград и не успел срастись с петроградским литературным кругом. Впрочем, он уже бывал и в Доме искусств, и у Горького. Здесь, в Холомках, он почувствовал во мне поклонника и отнесся ко мне очень благосклонно. У него был трудный литературный путь, и почитателями он не был избалован.

Как видно на примере с Вихровыми, между приехавшими из Петрограда и местными жителями установились самые тесные отношения. Нельдихен и Лунц подружились с дьяконом и его взрослой дочерью. Они каждое утро отправлялись в лес за грибами. Дьякон открыто ухаживал за Мусей Алонкиной и, встречаясь с ней, кокетливо бросал свой носовой платок в ее румяное личико с черными бровками. Миша Слонимский, давний Мусин поклонник, ревновал, но смирился и, вслед за Мусей, покорно ходил с дьяконом за грибами. По вечерам все собирались в новосильцовском доме. Открывались все двери, зажигались керосиновые лампы, местный агроном с лицом Козьмы Пруткова играл на гармони, и устраивалась грандиозная кадриль. В первой паре шел Замятин с княжной Софьей Андреевной, за ними задравший рясу дьякон с Мусей Алонкиной, за ними князь Петя с поповной Лидой, дочерью священника отца Сергия, за ними Милашевский с Женей Вихровой, затем Нельдихен с дочкой дьякона, М. Л. Лозинский с Оношкович-Яцыной, Зощенко с учительницей из деревни Захонье. Всем распоряжался тонкий, стройный, изысканно-изящный Радлов, громко возглашавший:

— Шанже во дам! Гран ронд!

И пары двигались среди выбитых окон, мигающих огней, мелькающих теней, между чудовищными фресками, украшавшими стены.

Это было первое мирное лето после семи лет войны. Никто не знал, надолго ли эта передышка, не возобновится ли война вот-вот опять, и все же все чувствовали огромное облегчение, предавались мечтам и надеждам. Продразверстку заменили продналогом, демобилизованные красноармейцы возвращались в свои деревни, бывшие конники с увлечением рассказывали о прошлогоднем польском походе, крестьяне впервые с уверенностью пахали доставшие-

ся им от помещиков земли, по вечерам на берегах Шелони молодежь жгла костры и прыгала через них, готовясь к свадьбам, по нищим разоренным деревням победно гремели песни. Да и погода стояла на редкость солнечная, яркая, теплая. В Поволжье летом 1921 года солнце сожгло весь хлеб, вызвав чудовищный голод, но для вечно мокрой, дождливой, болотистой Псковской губернии затянувшаяся ясная и сухая погода была благодатью. Подымались хлеба, цвела картошка, и окрепшая Советская власть все увереннее распоряжалась на земле.

Правда, все лето не прекращались слухи о зеленых бандах, бродящих по лесам. Из обитателей Холомков слухи эти больше всего волновали Ходасевича и Милашевского. Ходасевич относился к этим слухам панически и не раз уверял, что зеленые нападут на нас и всех зарежут. Милашевский, напротив, был настроен воинственно и предлагал затребовать из Порхова оружие, чтобы в случае нападения мы могли дать бандитам достойный отпор. В эти минуты они оба были пламенными сторонниками Советской власти, которая только одна могла их защитить.

САЛОН НАППЕЛЬБАУМОВ

Мы уехали в Псковскую губернию весной 1921 года из Петрограда военного коммунизма, а осенью вернулись в Петроград нэповский.

За эти несколько месяцев жизнь в городе круто изменилась. На всех углах открылись частные лавчонки, закрытые с восемнадцатого года. Рынки и барахолки кишели толпой. Разного рода спекулянты и мешочники, еще недавно орудовавшие втайне, теперь действовали открыто, выставляя напоказ свои синие шевиотовые пиджаки, резко выделявшиеся среди миллионов толстовок и заношенных гимнастерок. Валютчики на Невском приставали к прохожим и предлагали доллары, марки, франки. Появились кафе, в которых — впервые за четыре года — продавались пирожные. Особенно много возникло комиссионных магазинов — по перепродаже мебели, фарфора, хрусталя, картин. Все это стоило копейки, но почти не раскупалось, потому что копеек ни у кого не было. Сейчас трудно себе даже представить, до чего убогой была нэповская роскошь. Человек, носивший пиджак и галстук, считался неслыханным франтом, изысканным денди. Человек, покупающий пирожное, считался кутилой, прожигателем жизни.

Однажды таким прожигателем жизни оказался и я. Была у меня приятельница, девочка лет семнадцати, которую звали Таня Ларина. В отличие от пушкинской Тани была она не Дмитриевна, а Константиновна. Я проводил с ней много времени. И, между прочим, свел как-то в Дом искусств. Она понравилась Мише Зощенко, он запомнил ее и потом, встречаясь со мной, всякий раз спрашивал меня о Тане Лариной.

Однажды, поздней осенью 1921 года, пошел я с Таней в театр, находившийся в Пассаже и называвшийся петроградцами по старой памяти театром Сабурова. В фойе теат-

ра — неслыханная новость! — был буфет. В антракте мы с Таней, как заколдованные, ходили мимо стойки, где стояла большая ваза с пирожными. Конечно, я понимал, что настоящий кавалер должен был бы угостить свою даму, но колебался. Тут же в фойе обнаружился поэт Николай Оцуп с женой Полиной, красивой женщиной, казавшейся нам очень шикарной, потому что она как-то по-особенному косила глаза. Оцуп небрежно мне кивнул, подвел жену к стойке, и они съели по пирожному. При виде жующего Оцупа мои колебания кончились. Когда Оцуп расплатился и отошел, я подвел к стойке Таню и предложил съесть по пирожному.

Таня взяла пирожное, взял и я. Таня съела пирожное с величайшим наслаждением. Облизала пальцы, и сейчас же — цоп — взяла из вазы еще одно.

Я, конечно, не говорил ей: «Ложи взад». Но я пережил несколько страшных минут. Я не знал в точности, сколько у меня денег в кармане, но по предварительным моим расчетам выходило, что за два пирожных я заплатить могу, а за три — никак. Я ждал скандала, ждал, что меня выведут из театра. Все обошлось, потому что я отыскал где-то в заднем кармане полученную в трамвае сдачу, о которой я забыл. Но память об испуге, который я испытал в течение нескольких минут, пока Таня ела пирожное, осталась во мне надолго.

На следующий день был я в Доме искусств и зашел к Зощенко, который жил теперь рядом со Слонимским. Зощенко сразу же стал расспрашивать меня о Тане Лариной, и я рассказал ему о своем вчерашнем переживании в театре.

На ближайшем серапионовском сборище он прочитал свой новый рассказ — «Аристократка». Как всегда, читал он серьезно, с неподвижным лицом, но после каждой фразы слушатели хохотали так, что тряслись стены. Мы с Левой Лунцем плакали от смеха. Зощенко очень точно использовал мой рассказ, взял даже слово «цоп», а ведь я, рассказывая ему, не видел в этом неприятном происшествии с пирожным ничего смешного. От этого все, что он читал, казалось мне еще уморительнее. И, несмотря на то что он изобразил меня в виде какого-то малопривлекательного водопроводчика, я был рад, что хоть так попал в литературу.

В переломный двадцать первый год возник новый литературный центр — салон Наппельбаумов.

Моисей Соломонович Наппельбаум был по профессии фотограф-художник. Так он сам себя называл. Родился он в Минске и там начал заниматься фотографией. В поисках лучшей жизни он, оставив в Минске семью, уехал в Америку и прожил там несколько лет. Но Америка ему не понравилась, и перед самой войной он вернулся в Минск. Летом 1917 года, когда отменили черту оседлости, он с семьей перебрался в Петроград.

Это был крупный, красивый мужчина с волнистыми кудрями и большой черной бородой. Всем своим обликом старался он показать, что он — художник. Он носил просторные бархатные куртки, какие-то пелерины, похожие на старинные плащи, галстуки, завязывавшиеся пышным бантом, береты. Свои фото он ретушировал так, что в них появлялось что-то рембрандтовское. Он действительно был замечательным мастером портрета. Его фотография Ленина, снятая в начале 1918 года,— одна из лучших ленинских фотографий. Очень хороши сделанные им портреты Блока. Это был добрый благожелательный человек, очень трудолюбивый, любящий свое дело, свою семью, искусство и деятелей искусства.

Эта любовь к людям искусства и литературы была в нем удивительной чертой, потому что, в сущности, был он человек малообразованный, книг почти не читавший и не только ничего не понимавший в произведениях тех, кого так любил, но и не пытавшийся понять. Свое бескорыстное благоговение перед «художественным» он передал по наследству всем своим детям. Они не мыслили себе никакой другой карьеры, кроме карьеры поэта, писателя, художника.

Детей у него было пятеро — Ида, Фредерика, Лев, Ольга и Рахиль. Две старшие дочери, Ида и Фредерика, помогали отцу проявлять фотографии и, кроме того, писали стихи. С осени 1919 года они занимались в Литературной студии Дома искусств, в семинаре у Гумилева.

Я уже рассказывал, что весной 1921 года Гумилев, великий организатор, создал при «Цехе поэтов» нечто вроде молодежной организации — «Звучащую раковину», членами которой стали участники его семинара. После смерти Гумилева члены «Звучащей раковины» начали собираться на квартире у Наппельбаумов — каждый понедельник. На эти собрания неизменно приходили все члены «Цеха поэтов». А так как после смерти Гумилева обе эти организации перестали быть, в сущности, организа-

циями, потеряли свои границы и очертания, то на понедельники к Наппельбаумам стали приходить и те литераторы, которые не имели никакого отношения ни к «Раковине», ни к «Цеху».

В первые годы нэпа, если отбросить спекулянтов и лавочников, стоявших как бы вне советского общества, самым зажиточным слоем городского населения России были ремесленники-кустари — портные, шапочники, сапожники, зубные техники, фотографы. Это длилось примерно до 1926 года, когда их начали по-настоящему прижимать фининспекторы. Тогда зажиточнее всех стали инженеры. А в первую половину двадцатых годов у нас в Петрограде главным покровителем живописцев был друг художника Исаака Бродского портной Иосиф Наумович Слонимский, занимавший на Сергиевской улице целый особняк, а главным покровителем поэтов — фотограф Моисей Соломонович Наппельбаум.

Наппельбаумы жили на Невском, недалеко от угла Литейного, в квартире на шестом этаже. Половину квартиры занимало огромное фотоателье со стеклянной крышей. Но собрания происходили не здесь, а в большой комнате, выходившей окнами на Невский,— из ее окна видна была вся Троицкая улица из конца в конец. В комнате лежал ковер, стоял рояль и большой низкий диван. Еще один ковер, китайский, с изображением большого дракона, висел на стене. Этому ковру придавалось особое значение, так как дракон был символом «Цеха поэтов». Один из сборников, изданных в 1921 году «Цехом», так и назывался — «Дракон». Ни стола, ни стульев не было. На диване собравшиеся, разумеется, не помещались и рассаживались на многочисленных подушках вдоль стен или на полу, на ковре. Свои стихи каждый понедельник читали все присутствующие,— по кругу, начиная от двери. Этот обычай оставался неизменен в течение всего времени, пока существовал наппельбаумовский салон — с 1921-го по 1925 год. Расцвет салона был в начале его существования — зимой 1921/22 года. Потом начался долгий, затянувшийся на три года упадок.

Серапионы-прозаики относились к наппельбаумовским сборищам презрительно и не посещали их. Но серапионы-поэты, Полонская и Тихонов, приходили каждый понедельник. Тихонов всегда приводил с собой Сергея Колбасьева, который после смерти Гумилева стал преданнейшим тихоновским оруженосцем. Приходил и Всеволод Рож-

дественский, исключенный из «Цеха», но встречавшийся со своими прежними товарищами здесь, на нейтральной почве. Приходил Михаил Кузмин и приводил свою постоянную свиту — Анну Радлову, Юркуна, художницу Арбенину, пианиста Ореста Тизенгаузена. Приходил Ходасевич, презиравший, конечно, Наппельбаумов и их салон, но не больше, чем все остальное на свете.

Первое время дух Гумилева как бы витал над салоном, о нем поминали постоянно. Большим успехом пользовалось стихотворение Иды Наппельбаум, посвященное Гумилеву:

Ты правил сурово, надменно и прямо,
Твой вздох это буря, твой голос — гроза.
Пусть запахом меда пропахнет та яма,
В которой зарыты косые глаза.

Но, разумеется, столько молодых, деятельных, честолюбивых людей не могли долго жить оплакиванием. Вскоре, наравне с поклонением прежнему богу, началось поклонение и новым божкам.

Каждый понедельник у Наппельбаумов стихи читало человек тридцать. Но по-настоящему волновали слушателей только пятеро — Тихонов, Вагинов, Рождественский, Кузмин и Ходасевич. А увлекали сердца только двое.

Константин Константинович Вагинов был, бесспорно, лучшим поэтом «Звучащей раковины», и это признавали все. Он был уже членом «Цеха» и печатался в цеховских сборниках. Слушали его внимательно и серьезно, многие стихи его знали наизусть. Он был своеобразен — быть может, своеобразнее всех прочих посетителей салона. Но именно это своеобразие и отгораживало его от остальных. Да и помимо этого он был слишком деликатным, скромным, мягким и застенчивым человеком для того, чтобы стать вождем. У Всеволода Рождественского были пламенные поклонницы, и вообще стихи его нравились дамам и девам,— впрочем, далеко не всем. Люди посерьезнее считали его творчество дешевкой. Никаким вождем он не мог стать уж хотя бы оттого, что рассорился с «Цехом»; с Тихоновым, после первоначальной пламенной дружбы, он тоже разошелся. К Кузмину относились с глубоким почтением, как к старому заслуженному мэтру, но по-настоящему его стихи волновали только его собственный крошечный кружок.

Подлинными властителями дум и сердец в этом ограниченном замкнутом слое интеллигенции стали Тихонов

и Ходасевич. Они исключали друг друга — все, кто любил Тихонова, не признавал Ходасевича, и наоборот. За Тихоновым пошли все поклонники Гумилева, к Ходасевичу примкнули многие из любивших Блока. Так как в этом кругу поклонников Гумилева было несравненно больше, чем поклонников Блока, то и успех Тихонова был несравненно шумнее успеха Ходасевича.

Георгий Иванов, хотя и несколько сквозь зубы, во всеуслышание признал, что Тихонов «большой, но необработанный поэт». С ним сейчас же согласились Адамович, Одоевцева и Оцуп — они теперь во всем соглашались с Георгием Ивановым, потому что после смерти Гумилева он стал признанным идейным главой «Цеха». Сережа Колбасьев, имевший склонность к издательской деятельности, был первым издателем Тихонова и таким образом положил начало его широкой известности. Колбасьев организовал издательство под названием «Островитяне», которое просуществовало один год — 1922-й — и успело выпустить три книжки стихов: «Орду» Тихонова, «Открытое море» Колбасьева и сборник «Островитяне», в который вошли стихи Тихонова, Колбасьева и Вагинова. «Орда» сразу имела большой и довольно широкий успех.

Издать книжку тогда было несложно: Колбасьев шел в любую государственную типографию, сговаривался с рабочими, и они в кредит давали ему бумагу (ужасную), в кредит набирали и печатали. Потом Колбасьев распродавал тираж и расплачивался с рабочими. В 1922 году я и сам таким способом издал две книжки: сборник стихов моих приятелей и приятельниц под названием «Ушкуйники» и старую статью моего отца «Оскар Уайльд».

Так же поступал в своей издательской деятельности и Моисей Соломонович Наппельбаум. За год-полтора выпустил он четыре книги: сборник стихов «Звучащая раковина», книжку стихов дочери Иды, книжку стихов дочери Фредерики и первый номер толстого журнала «Город». Сборник «Звучащая раковина» — толстый, большого формата, отпечатанный на отличной бумаге — был украшен пышной обложкой с безвкуснейшей виньеткой. Никакого успеха и значения он не имел. Когда сейчас просматриваешь его, он поражает своей бледностью, бесталанностью, убогой подражательностью, хотя все помещенные в нем стихи написаны в полном соответствии с гумилевскими таблицами. Исключение составляют только стихи Вагино-

ва, сквозь смутную ткань которых проглядывает дарование и скрытая трагическая сила.

По идее, журнал «Город» должен был быть периодическим органом наппельбаумовского салона. Вышел только один номер — большой и толстый, вроде нынешнего журнала «Новый мир». Этот номер «Города» интереснее сборника «Звучащая раковина» — в нем напечатана романтическая трагедия в стихах Льва Лунца — «Бертран де Борн», стихи Тихонова, Вагинова. Все эти произведения тех лет давным-давно стали библиографической редкостью и почти недоступны, а между тем они необходимы для изучения русского общества первых лет нашей революции.

Ко всем этим затеям Моисей Соломонович имел отношение только, так сказать, финансовое. Все составлялось и редактировалось его старшими дочерьми. Принимали гостей и руководили чтением стихов тоже только дочери. Моисей Соломонович даже и присутствовал при чтении далеко не всегда. Он только появлялся иногда в дверях — с роскошной бородой, в роскошной бархатной куртке,— стоял и слушал, пока читал какой-нибудь поэт постарше возрастом, например, Кузмин или Ходасевич. Потом опять исчезал в глубине квартиры. Гостей угощала Фредерика. Тоненькая, стройная, с негромким мелодичным голосом, с прелестными руками и ногами, она появлялась в комнате, где происходило чтение, неся тарелку, в которой лежали бутерброды с прозрачными ломтиками сыра. Она подходила по кругу к каждому и предлагала взять бутерброд. В этом и состояло все угощение, которое Наппельбаумы предлагали большинству своих гостей. По тем временам это было немало, если принять во внимание, что гостей собиралось человек тридцать — сорок. Позже, после одиннадцати, наиболее почетные или близкие к семье гости тихонько переходили в столовую и там, за общим семейным столом, пили чай. Только там, у себя в столовой, в узком кругу папа Наппельбаум иногда отваживался высказать и свое мнение о прочитанных стихах. Едва он открывал рот, как у дочерей его становились напряженные лица: они смертельно боялись, как бы он чего не сморозил и не осрамил их перед лицом знатоков. Обычно они перебивали его раньше, чем он успевал закончить первую фразу. И он, благоговевший перед своими дочками, послушно замолкал.

Салон Наппельбаумов начал вырождаться и хиреть уже со второго сезона. В течение 1922 года Георгий Иванов, Одоевцева, Адамович, Оцуп уехали за границу. Поздней

осенью за ними последовал и Ходасевич, удиравший со своей новой женой от старой. Колбасьев нарисовал и всем показывал карикатуру, на которой «Звучащая раковина» была изображена в виде унитаза; это оскорбило хозяев, и они перестали принимать его. Тогда и Тихонов, друг Колбасьева, стал приходить далеко не каждый понедельник. Сборища все более принимали домашний обывательский характер, стали напоминать деревенские посиделки. Девицы и молодые люди были сплошь влюблены друг в друга, но все как-то невпопад: *а* любила *в*, *в* любил *с*, *с* любила d, d любил *а*, и взаимности не получалось. Все это со всеми оттенками и многозначительными намеками изливалось в стихах к ближайшему понедельнику, в понедельник читалось по кругу, и заинтересованные лица с пламенным интересом следили за дальнейшим развитием этих любовных несоответствий.

Мало-помалу в салоне стали появляться и новые люди. Стал приходить здоровенный детина, писавший стихи под псевдонимом Андрей Скорбный. Возникли два брата, два студента университета, Анатолий и Николай Брауны. Николай Браун читал свои стихи с шумным успехом. Частыми посетителями Наппельбаумов стали и поэты-пролеткультовцы — Илья Садофьев, Алексей Крайский, Евгений Панфилов. Принимали их так же приветливо и благодушно, как и всех прочих. Помню, Садофьева впервые привел к Наппельбаумам Кузмин, громко восхищавшийся его стихами. Садофьев читал стоя, а маленький Кузмин, с волосенками, расположившимися вокруг лысины, как лавровый венок, все хвалил и все просил: еще, еще. Раскачиваясь, делая по ковру то шаг вперед, то шаг назад, Садофьев медленно произносил:

Что такое стало с маткой?
Матку взяли мертвой хваткой...

На сборищах у Наппельбаумов бывали не только поэты, но иногда и музыканты. Приходил композитор Артур Лурье, пианист Александр Каменский — красивый, рослый малый в такой же бархатной куртке, как у хозяина дома. Садились за рояль, давали концерты. Порою за рояль садился поэт Михаил Кузмин и играл свои музыкальные сочинения, подпевая себе слабеньким голосочком:

Нам философии не надо
И глупых ссор,

Пусть будет жизнь — одна отрада
И милый вздор.

Георгий Иванов в своих воспоминаниях, которые он выпустил в 1929 году в Париже, цитирует эту песенку Кузмина, усматривая в ней какой-то протест против Советской власти. А между тем ровно никакого протеста в этой песенке не было.

Михаил Алексеевич Кузмин был самый чистопородный, без всяких примесей, эстет в русской литературе, небогатой чистыми эстетами. Решительно все явления бытия он рассматривал только с одной точки зрения: вкусно или безвкусно. Всякая государственность, безразлично какая, была для него только безвкусицей. Всякую философию, все то, что люди называют мировоззрением, он считал безвкусицей. Тот гумилевский формализм, который исповедовал Георгий Иванов, тоже, безусловно, казался Кузмину безвкусицей. При этом к безвкусице Кузмин вовсе не относился непримиримо. Как эстет изысканный, он от души радовался всякий раз, когда безвкусица принимала неожиданные, причудливые, нелепые формы. Помню, как он восхищался пошлейшими немецкими фильмами,— именно оттого, что они были так причудливо пошлы и нелепы. Он даже писал стихи на темы, взятые из этих фильмов. Стихи Ильи Ивановича Садофьева доставляли ему такое удовольствие, разумеется, только тем, что в них, помимо воли автора, на каждом шагу сталкивались, создавая удивительные комбинации, безвкусицы, принадлежавшие к самым различным родам.

Мне и моим приятелям Кузмин в те годы был глубоко чужд жеманством своих стихов. Впрочем, иногда,— когда вдруг переставал жеманничать,— он блистал стихами истинно прелестными. Вот, например, какое стихотворение прочел он однажды у Наппельбаумов:

По веселому морю летит пароход,
Облака расступились что мартовский лед
И зеленая влага поката.
Кирпичом поначищены ручки кают,
И матросы — все в белом — сидят и поют,
И будить мне не хочется брата.

Ничего не осталось от прожитых дней...
Вижу: к морю купаться ведут лошадей,
Но не знаю заливу названья.
У конюших бока золотые, как рай,

И, играя, кричат пароходу: «прощай!»
Да и я не скажу «до свиданья».

Не у чайки ли спросишь: «летишь ты зачем?»
Скоро люди двухлетками станут совсем,
Заводною заскачет лошадка.
Ветер, ветер, летящий, плавучий простор,
Раздувает у брата упрямый вихор,—
И в душе моей пусто и сладко.

С начала революции до 1922 года путешествие из Петрограда в Москву и обратно было делом трудным, требующим больших хлопот, как и всякое железнодорожное путешествие в то время. И литературная жизнь в обоих городах в течение пяти лет развивалась обособленно, почти не сообщаясь. Ходасевич, в 1920 году переехавший из Москвы в Петроград, был чуть ли не единственный литератор, совершивший в это время подобное переселение. Но с 1922 года все изменилось. Железная дорога наладилась, и Москва оказалась близко, рядом. До нас все громче доносился шум московской литературной жизни. «Голый год» Пильняка, стихи Есенина, Леф, имажинисты, Стойло Пегаса, какие-то ничевоки — все это налетело на нас вихрем брошюрок и стихов. Изредка москвичей стало заносить и к нам, в Петроград.

Помню, как у Наппельбаумов появилась целая толпа ничевоков. Мы робко на них взирали. Все они были молоды, странно разодеты, не обращали на хозяев никакого внимания, держали себя с наглостью и развязностью предельной и похожи были на пьяных солдат. Стихов их я не припоминаю, не уверен даже, читали ли они нам свои стихи. Предводительствовал ими некий Рюрик Рок — хорошенький нахальный мальчик с ямочками на щеках, в какой-то пестрой шапочке с кисточкой. В качестве оруженосца и телохранителя за ним всюду следовал черкес — с кинжалом, с газырями. Впрочем, по фамилии этот черкес был Рабинович.

В конце 1923 года у Наппельбаумов читал свои стихи Борис Пастернак. Я впервые видел и слышал Пастернака, стихов его я до тех пор совсем не знал. Он стоял рядом с роялем — в коричневой тройке, с коричневым галстуком, с очень белым воротничком, прекрасноглазый — и читал стремительно, увлеченно, много,— все то, что вошло в его книгу «Сестра моя жизнь». Он поразил и пленил меня — быстротой своих ритмов, яркой и легкой изобразитель-

ностью, новизной своего языка, полного таких неожиданных просторечий. Даже его манера читать была совсем новой для нас, петроградцев, привыкших к торжественному акмеистическому вытью. Конечно, все подлинное значение этого поэта я понял гораздо позже, но полюбил его уже с того вечера.

Надо сказать, что на общество, собравшееся у Наппельбаумов, Пастернак большого впечатления не произвел. Потряс он только меня да Тихонова, который на целое десятилетие заразился пастернаковскими ритмами.

С 1923 года наппельбаумовские сборища стали посещать два поэта, только что переехавшие в Петроград из Ташкента,— Павел Лукницкий и Михаил Фроман. Лукницкий сидел у Наппельбаумов на ковре, в халате и тюбетейке, скрестив перед собой ноги, и пел узбекские песни. Он даже выдавал себя за узбека, что ему совсем не удавалось, так как был он светлорус, голубоглаз и курнос. В квартиру Наппельбаумов привела его пламенная любовь к Гумилеву, которого он никогда не видел. А Фромана привела сюда не менее пламенная любовь к Ходасевичу. И оба они опоздали. Гумилева уже не было в живых, а Ходасевич находился в Германии.

Любовь Лукницкого к Гумилеву была деятельной любовью. Не застав Гумилева в живых, он стал расспрашивать о нем тех, кто встречался с ним, и заносил все, что они ему рассказывали, на карточки. Карточек набралось несколько тысяч. Эта драгоценная биобиблиографическая картотека хранится у Лукницкого до сих пор. Любовь Фромана к Ходасевичу была не столь энергична, но зато, попав в дом Наппельбаумов, он воспылал иною, более жаркой любовью и примерно через год женился на Иде Моисеевне Наппельбаум.

Своей женитьбой Михаил Александрович Фроман как бы разрубил всю цепь неудачных любвей, и все стало на место,— все перестали любить кого не нужно и полюбили кого нужно. Начались браки. Фредерика Моисеевна тоже вышла замуж. Вышла замуж и Ольга Моисеевна. Костя Вагинов женился на Але Федоровой — тоже участнице гумилевского семинара.

На этих браках, собственно, существование салона Наппельбаумов и прекратилось. Произошло это, конечно, не сразу, не в один день.

Последнее собрание у Наппельбаумов, которое я запомнил,— юбилей Кузмина в 1925 году. Он праздновал

двадцатилетие своей литературной деятельности. Под торжество Наппельбаумы предоставили всю свою квартиру. Пиршественные столы стояли в ателье. Приглашенных было человек шестьдесят, вина очень много. Но юбилея этого я почти не запомнил, потому что по молодости своей и неопытности сразу напился и очень захмелел. Потом мне рассказывали, что я колотил по клавишам наппельбаумовского рояля табуреткой и нанес ему серьезные повреждения. И Наппельбаумы мне это простили, еще раз доказав свое великодушие и свою удивительную доброту.

ОТРИЦАТЕЛЬ

С Владиславом Фелициановичем Ходасевичем я познакомился в 1920 году, вскоре после его приезда из Москвы в Петроград, в 1921 году прожил с ним бок о бок несколько месяцев в глуши Псковской губернии и постоянно встречался с ним в Петрограде вплоть до отъезда его за границу в конце 1922 года. Потом я некоторое время с ним переписывался.

Он был превосходный поэт одной темы — неприятия мира. Он не принимал не какие-нибудь отдельные стороны действительности,— скажем, мещанство, как многие, или капитализм, как Блок и Маяковский, или революцию, как поэты-эмигранты,— но любую действительность, какой бы она ни была. Он писал:

Счастлив, кто падает вниз головой,
Мир для него хоть на миг, а иной.

Он утверждал, что всякое, любое проявление действительности доставляет ему только боль:

Мне каждый звук терзает слух.
И каждый луч глазам несносен.

В 1920 году, переехав из Москвы, он читал прелестное свое стихотворение:

Смоленский рынок
Перехожу.
Полет снежинок
Слежу, слежу.
Полет снежинок,
Остановись!
Преобразись,
Смоленский рынок.

С тех пор прошло несколько десятилетий, и желание его исполнилось — Смоленский рынок действительно преобразился. В Смоленскую площадь. Там теперь и высотное здание, и гастроном, и станция метро, и асфальт, и широкие проезды. Но если бы Ходасевич был жив и увидел это преображение, он не испытал бы ни малейшей радости. Торжество «малых правд», как он выражался, нисколько его не утешало. Любая форма бытия тяжела, безысходна. Впрочем, есть один выход — небытие, смерть. Или, на худой конец, подобие смерти — сон.

Есть у него стихотворение «В заседании». Там он писал:

Лучше спать, чем слушать речи
Злобной жизни человечьей,
Малых правд пустую прю.
Все я знаю, все я вижу,
Лучше сном к себе приближу
Невозможную зарю.

Даже искусство, лучшее из всего, созданного человечеством, не считал он достойным особого уважения. Вот как он описал свое посещение какого-то знаменитого музея, в котором собраны шедевры живописи:

Все рвется человечий гений —
То вверх, то вниз. И то сказать:
От восхождений и падений
Уж позволительно устать.

Невольно опускаю веки
Пред сонмом вакхов и мадонн,
И так отрадно, что в аптеке
Есть кисленький пирамидон.

Я никогда не разделял его взглядов и смотрел на мир совсем иначе. Но меня пленяло в нем поразительное чувство русского стиха — свойство крайне редкое и всегда обольщавшее меня в любом человеке.

Моя ранняя юность прошла в кругу тех петроградских литераторов, чьи поэтические вкусы были воспитаны «Цехом поэтов» и Гумилевым. Главной чертой этих вкусов было отрицание почти всей русской классической литературы и поклонение французам. Русская проза отрицалась целиком,— кроме прозы Пушкина да еще Достоевского, которого признавали великим, но не читали. Из русских поэтов XIX века считалось приличным чтить имена Батюшкова, Пушкина, Баратынского и Тютчева. О Некрасове

говорили с ненавистью, о Лермонтове с презрением, обо всех остальных с гадливостью. Имена Фета, Полонского были просто ругательствами. Однажды в Доме искусств Георгий Иванов сказал мне, что людей, читающих стихи А. К. Толстого, он не считает людьми. Да и Пушкина они чтили только номинально, а по существу знали его плохо и считали устарелым и смешноватым. Помню, как однажды на большом собрании в клубе Дома искусств поэтесса Елизавета Полонская, желая сказать про стихотворение одного молодого поэта, что оно глупо и наивно, сказала, что оно напомнило ей стихотворение Пушкина «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда...». Ненависть их к стихам Блока вызывалась, между прочим, и тем, что они чувствовали связь этих стихов с русской поэзией второй половины XIX века — с Некрасовым, Фетом, Яковом Полонским.

В этом кругу прилично было любить Теофиля Готье, Эредиа, Леконта де Лиля, Рэмбо, Аполлинера. А с каким поразительным прононсом выговаривались эти имена,— в прононсе-то и заключался главный шик. Конечно, понастоящему знали этих поэтов только те, кто постарше,— Гумилев, Георгий Иванов, Адамович, Одоевцева, Оцуп, М. Л. Лозинский, Бенедикт Лившиц, вернувшийся в 1922 году в Петроград из Киева, отчасти Вагинов. Зеленая молодежь поколения «Звучащей раковины» знала французских поэтов только понаслышке и повторяла их имена из попугайства. На наиболее даровитых представителей этой молодежи могучее влияние оказал другой поэт, тоже не русский — Редьярд Киплинг. Влияние его роскошных колониалистских баллад с их мужественным тоном и антигуманизмом легко заметить в стихах начала двадцатых годов таких поэтов, как Владимир Познер, Тихонов, Колбасьев, Елизавета Полонская.

(Я неоднократно встречался с мнением, будто Киплинг оказал влияние и на Гумилева. Думаю, это не верно. Колониализм Гумилева — французского происхождения, его Африка — французская колониальная Африка. Озеро Чад с изысканным жирафом и Сенегамбия, где валы поют в дифирамбе,— тогдашние французские владения. Капитаны в розоватых брабантских манжетах — французы. Его абиссинцы имеют в виду французов, когда говорят:

Ой, френджи, как они ловки
На выдумки и пустяки.

И людоеды его жарят Пьера, а не Питера.)

Мне все эти шикарные Сенегамбии и жареные Пьеры были чужды, я испытывал к ним смутную вражду с самого начала своих занятий в семинаре у Гумилева. И Ходасевич, с которым я близко познакомился летом 1921 года, поразил меня тем, что он весь был полон традициями русского стиха с его необыкновенным богатством скрытых ритмических ходов и способностью изображать внутреннюю жизнь человека. От него я узнал, что моя юношеская любовь, скажем, к Фету, не является позором, чем-то вроде дурной болезни, которую надо скрывать от окружающих.

Любопытно, что к русской прозе Ходасевич относился совершенно так же, как гумилевцы. Он говорил мне:

— Идет дождь, и едет поп на тележке. И дождь скучный-скучный, и тележка скучная-скучная, и поп скучный-скучный. Вот и вся русская проза.

Теперь подобные взгляды кажутся удивительными по своей слепоте, но в то время они были довольно широко распространены в среде художественной интеллигенции. Их, кроме сторонников «Цеха поэтов», так или иначе разделяли и Лунц, и Каверин, и Тихонов, и Колбасьев,— «цехисты» из вражды к горьковскому «Знанию», опиравшемуся на традиции русской классической прозы, а более молодые просто оттого, что были воспитаны на переводной прозе с механическим сюжетным построением, заполонившей русский книжный рынок перед первой мировой войной. Для Ходасевича такая точка зрения была случайной и отражала только мнение среды, к которой он принадлежал, как и многие другие его высказывания. Прозой он не интересовался, он интересовался поэзией. А русскую поэзию он любил всей душой и знал удивительно.

Приехав в Петроград в разгар борьбы гумилевцев с Блоком, он сразу стал на сторону Блока. Перед Блоком он преклонялся,— и не перед Блоком «Стихов о прекрасной даме», а перед поздним, зрелым реалистическим Блоком, автором третьей книги стихов, «Возмездия», «Двенадцати». Помню, в 1922 году мы сидели с ним рядом у Наппельбаумов на диване и перелистывали только что вышедший сборник Блока «Седое утро». Ходасевич внезапно наткнулся на стихотворение:

Утреет. С богом. По домам.
Позвякивают колокольцы...

Этих стихов он до тех пор не знал. Он побледнел от волнения, читая.

— Как бы мне хотелось, чтобы я написал эти стихи! — воскликнул он.— Если бы я написал это стихотворение, я умер бы от счастья!

Он был маленький хилый человечек невзрачного вида. Я уже говорил, что на лбу у него была непроходящая экзема, которую он скрывал под челкой черных волос. Он был близорук и носил пенсне. Маленькое желтоватое личико его все время брезгливо морщилось. Глядя на него, я всегда вспоминал фразу, которую сказал Бунин об одном из своих героев: «Он был самолюбив, как все люди маленького роста». Не знаю, все ли люди маленького роста самолюбивы, но Ходасевич был болезненно и раздражительно самолюбив.

Довольно долгий литературный путь его был труден и сложен, и во всех своих неудачах, действительных или вымышленных, он видел каверзы и козни недругов. А между тем причина его неудач заключалась прежде всего в нем самом. Сначала он очень долго не мог найти своего места в литературе. Потом, после революции, он не умел найти своего места в жизни и кончил тем, что безнадежно запутался. Печататься он начал чуть ли не с 1905 года и лет около десяти писал чистенькие подражательные стихи — под символистов. Таких эпигончиков Брюсова, Бальмонта, Белого из сыновей адвокатов в Москве было много, и, естественно, относились к ним без почтения и печатали неохотно. Первая книжка его стихов «Молодость», вышедшая, кажется, в 1912 году, поражает своей бледностью и несамостоятельностью. Судя по ней, он и надежд никаких не подавал. А между тем он был очень высокого о себе мнения и озлобился — на весь мир и прежде всего на московский литературный круг. Вторая его книжка «Счастливый домик» несколько лучше, но тоже весьма незначительна. Главная ее тема — воспевание эстетизированного обывательского уюта. Это было модно в последние годы перед первой мировой войной — как реакция на расплывчатость и отвлеченность символистов. Но Ходасевич в «Счастливом домике» был далеко не первый, последовавший этой моде,— до него ей отдали дань и Борис Садовской, и Кузмин, и другие. Да и тема домашнего уюта была для него совсем не органична,— он был человек трагичный, безуютный, неприкаянный. В «Счастливом домике» для читателя, знающего более позднего Ходасевича, уже справившегося с литературной шелухой, так долго мешавшей ему выразить самого себя, угадывается

трагизм, который он с такой силой выразил впоследствии. Например, в таком четверостишии:

Мы дышим легче и свободней
Не там, где есть сосновый лес,
Но древним мраком преисподней
Иль горним воздухом небес.

Но выражено это было еще слабо, робко, и «Счастливый домик» тоже не имел почти никакого успеха. Первой книгой, в которой голос его приобрел самобытность, была «Путем зерна».

В сущности, Ходасевич как поэт начался только с этой книги. Его голос становится все более трагическим, он писал все резче, отчаянней и своеобразней. Следующая его книга «Тяжелая лира», вышедшая уже в Петрограде в 1922 году, поразила Горького. Поразила она и еще некоторых, в том числе и меня.

Когда я с ним познакомился, он был женат на Анне Ивановне Чулковой, сестре поэта Георгия Чулкова. Жил с ними и ее сын от первого брака, Гарик Гренцион, мальчик, которому в 1921 году было лет тринадцать. Впоследствии он стал известным в Петрограде актером. Жили они всё в том же Доме искусств на углу Невского и Мойки, в маленькой комнате, лишенной почти всякой мебели. С середины потолка свисал грязный шнур, на котором болталась загаженная мухами шестнадцатисвечовая угольная электрическая лампочка. Именно эту комнату изобразил он в стихотворении «Орфей», в котором были слова:

Гляну в штукатурное небо
На солнце в шестнадцать свечей.

Хотя я не раз бывал у Ходасевича, но на Анну Ивановну обращал крайне мало внимания и почти ее не запомнил. Кажется, была она маленькая и бойкая, лет около сорока, т. е. с моей тогдашней точки зрения глубокая старуха. Тогда я мало задумывался над семейной жизнью, но теперь мне ясно, что жизнь Анны Ивановны с Ходасевичем была не сладка,— этот неуютный, нищий, болезненный человек был капризным, эгоистичным и вечно недовольным мужем. И когда он бросил ее, она, может быть, вовсе не была так убита горем, как он предполагал.

По случайному стечению обстоятельств я оказался причастным к истории его новой любви и женитьбы.

В конце 1920 года у меня появилась приятельница, девочка моих лет, Нина Берберова. Она незадолго перед тем переехала с папой и мамой из Ростова в Петроград и, так как писала стихи, стала посещать семинар Гумилева. В семинаре она успеха не имела и являлась туда не слишком аккуратно, но зато была усерднейшей посетительницей клуба Дома искусств и потом салона Наппельбаумов. Держалась она несколько особняком и ни с кем не дружила, кроме меня.

Отец ее был ростовский армянин, а мать русская, и это смешение кровей дало прекрасные результаты. Нина была рослая, сильная, здоровая девушка с громким веселым голосом, с открытым лицом, с широко расставленными серыми глазами. По самой середке ее верхних зубов была маленькая расщелинка, очень ее красившая. Она, подобно мне, писала множество стихов и знала наизусть всех любимых поэтов.

Особенно подружились мы с ней осенью 1921 года, когда я вернулся из Псковской губернии. Нас объединяло то, что она, так же как и я, воспитана была на Блоке, Фете и Некрасове, а не на Гумилеве и Брюсове. Так же как и я, к окружавшим нас гумилевцам она чувствовала глухую и невнятную неприязнь. Дружба наша заключалась почти исключительно в том, что мы долгими часами то днем, то ночью гуляли вдвоем по пустынному Петрограду и вслух читали друг другу стихи.

Ни малейшей романтической подкладки в наших отношениях не было. Я, в те годы весьма неравнодушный к женским чарам, чар Нины просто не замечал. Помню, как после прогулки она завела меня к себе на несколько минут — чтобы переодеться и идти со мной в Дом искусств. Переодевалась она в моем присутствии, и мы так заговорились, что оба не заметили в этом ничего странного. Вдруг в комнату вошла ее мать и, увидев Нину, стоявшую передо мной в одном белье, вскрикнула:

— Нина! При молодом человеке!

— Какой он молодой человек?— сказала Нина.— Он поэт.

Я был так далек от мысли, что между Ходасевичем и Ниной может быть роман, что заметил его, вероятно, до смешного поздно. Нину познакомил с Ходасевичем я, и

ходила она к нему вместе со мной. Этот раздраженный, недоброжелательный ко всем и всему человек был ко мне удивительно добр, всерьез разбирал мои полудетские стихи и разговаривал со мной как с равным, хотя мне было всего восемнадцать лет. И мне не казалось странным, что он так же относился к Нине, которой тоже было восемнадцать[1] и которая в вопросах поэзии была полной моей единомышленницей. И когда я кое о чем стал догадываться, я испытал неприятное чувство.

То, что Ходасевич влюбился в Нину, мне казалось еще более или менее естественным. Но как Нина могла влюбиться в Ходасевича, я понять не мог.

Так как мне ничего не надо было от Ходасевича, кроме стихов и разговоров о литературе, я относился к нему прекрасно. Кроме того, я уважал в нем умного человека. Он не только сам был очень умен, но и ценил в людях прежде всего ум и беспощадно презирал дураков. Помню, как однажды на собрании у Наппельбаумов он показал мне человека, который сидел задумавшись и не слыша того, что происходит вокруг.

— Смотрите, он задумался,— сказал мне Ходасевич.— Задумываться — это свойство, присущее очень редким людям.

Однако все мое уважение к его стихам и его уму не мешало мне видеть в нем много жалкого и даже смешного. И то, что Нина могла не видеть этого и полюбить его, меня, по моей жизненной неопытности, очень удивило.

Прежде всего она почти на целую голову была выше его ростом. И старше ее он был по крайней мере вдвое. Не к тем принадлежал он мужчинам, в которых влюбляются женщины. Характер у него был капризный, чванливый и вздорный. Кроме того, я хорошо знал, что он отчаянный трус. Когда мы вместе с ним жили в Псковской губернии, он даже на станцию ездить не решался, так как боялся, что его по дороге зарежут бандиты. Как-то раз в Петрограде мы шли с ним днем по Невскому, и вдруг у проезжающего мимо грузовика громко лопнула покрышка. Ходасевич мгновенно влетел в ближайшую парадную. Когда я, удивленный, зашел туда вслед за ним, он стоял, белый от страха, на пятой ступеньке и прошептал мне:

— Стреляют!

---

[1] Н. Берберова родилась в 1901 г.— *Сост.*

Когда он читал свои стихи и произносил последнюю строчку, обычно самую важную в стихотворении, он на несколько мгновений застывал с открытым ртом, чтобы подчеркнуть всю многозначительность концовки, и это казалось мне смешным. При всем своем уме он был на редкость недалек и зауряден в своих суждениях обо всем, что происходило в те годы вокруг, и с важным видом повторял самый затхлый обывательский вздор. Я иногда пытался обращать внимание Нины на эти его черты, но безуспешно. Ей он казался совершенством.

Тайный их роман, о котором вначале знал только я, развивался так пылко и бурно, что, разумеется, скоро о нем догадались многие. Нина вся как-то одурела от счастья, а Ходасевич посветлел, подобрел, и очки его поблескивали куда бойчей и веселей, чем раньше. Он на несколько месяцев спрятал свой трагизм и даже временно стал относиться к мирозданию значительно лучше.

Весной 1922 года написал он свое прекрасное стихотворение «Улика»:

Была туманной и безвестной,
Мерцала в лунной вышине,
Но воплощенной и телесной
Теперь являться стала мне.

И вот среди беседы чинной
Порой с растерянным лицом
Снимаю волос, тонкий, длинный,
Забытый на плече моем.

Тут гость из-за стакана чаю
Хитро косится на меня.
А я смотрю и понимаю,
Тихонько ложечкой звеня.

Блажен, кто завлечен мечтою
В безвыходный дремучий сон
И там внезапно, сам собою
В нездешнем счастье уличен.

Впрочем, счастье его было не безоблачным. Он самым жалким образом боялся своей Анны Ивановны. Она, как водится, долго ничего не подозревала, и он смертельно страшился, как бы она не догадалась. В начале лета 1922 года он вместе с ней и пасынком уехал куда-то на дачу, и тут ему и Нине понадобился я. Через меня шла вся их тайная переписка. Ходасевич надписывал конверт на мое имя, и я, получив письмо, нес его, не вскрывая, к Нине, на

улицу Рылеева. Нинины ответы посылались в конвертах, надписанных моей рукой.

В середине лета Ходасевич сбежал с дачи, явился к Нине и увез ее в какую-то глухую деревню на берегу Ладожского озера. В страхе перед Анной Ивановной он обставил этот побег так, что, кроме меня, ни один человек на свете не знал, где он находится. В течение полутора месяцев я служил им единственной связью с внешним миром. Свои обязанности поверенного и друга я исполнял честно и с увлечением. Они оба платили мне пылкими выражениями дружбы и благодарности. Нина написала стихотворение, в котором было четверостишие:

Вот церковь — здесь с тобой встречались,
Вот друг — он нам помог не раз,
Мы в этом кресле целовались,
Ну что ж, и креслу — добрый час.

Друг — это я.

Страх Ходасевича перед Анной Ивановной все возрастал. Это был уже не страх, а ужас. Он подозревал ее в каких-то чудовищных кознях против себя и говорил об этом страстно, но настолько невнятно, что я не мог понять сути его опасений. Вернувшись в город, он немедленно связался с Горьким и, с помощью Горького, стал поспешно хлопотать об отъезде за границу. В конце 1922 года он уехал в Берлин вместе с Ниной.

Он уехал за границу из страха перед женой, а не перед Советской властью. С Советской властью он за пять лет отлично сжился и об эмиграции никогда не помышлял.

Трудно писать о политических убеждениях человека, который постоянно утверждал, что у него нет никаких политических убеждений. Это утверждение было отчасти правдиво,— он вообще не имел никаких стойких убеждений и постоянен был только в любви к стихам и в своем презрительном скептицизме по отношению ко всему остальному. Но никаких причин враждовать с революцией и с Советской властью он не имел.

Он не был ни богат, ни знатен и ничего не потерял с крушением старого режима. К буржуазии, к мещанству он относился с отвращением и не видел в мещанских меч-

тах и идеалах ничего, кроме пошлости. Во время первой мировой войны он не прельстился ни шовинизмом, ни немцеедством. Никакого участия в саботаже Советской власти, охватившем в первые месяцы после Октября широкие круги буржуазной интеллигенции, он не принимал; напротив, он охотно выполнял разные обязанности в разных культурно-просветительных советских учреждениях, так как нуждался в заработке. В годы гражданской войны он любил холодный, голодный, пустынный Петроград именно за то, что в этом городе, освобожденном от торжества мещанских интересов, можно было жить свободной духовной жизнью.

Нэпа он, как очень многие, не понял. Он счел его уступкой буржуазии, мещанству, началом перерождения Советской власти и был этому предполагаемому перерождению резко враждебен. Он даже написал стихи как бы от имени такого мифического перерожденца:

> Прочь! Не мешай мне! Я торгую!
> Но не буржуй, но не кулак,
> Я прячу выручку дневную
> Свободы в огненный колпак.

При всей путаности своих воззрений он дорожил революцией как освобождением от мира наживы и торгашества. Круг тайно и явно белогвардействующих литераторов вроде Георгия Иванова, Адамовича, Оцупа, Даманской, Волковысского, Валериана Чудовского, Амфитеатрова был ему чужд и враждебен, хотя он сам толковал эту враждебность не как политическую, а как эстетическую. Он очень дорожил вниманием Горького и уехал за границу не как политический эмигрант, а как горьковский сотрудник, как участник горьковских литературных замыслов.

В то время Горький затевал издание за границей советского литературного журнала «Беседа» и пригласил Ходасевича заведовать в этом новом журнале отделом поэзии. Ходасевич, по приезде в Берлин, рьяно приступил к исполнению своих обязанностей. Между прочим, в первом же номере «Беседы» он напечатал мою поэму «Козленок», вовсе не заслуживавшую этой чести, написанную мною летом 1921 года в гагаринских Холомках, когда мы жили там вместе с ним. За границей дружба Ходасевича с Горьким продолжалась года два. Отношения их, по-видимому, были очень тесными, если вспомнить, что Горький, пере-

ехав в Сорренто, захватил туда и Ходасевича с Ниной и поселил их рядом с собой. В этот период своей дружбы с Горьким Ходасевич написал самую замечательную из своих книг — «Европейскую ночь». Эта книжка, поразительная по простоте, изобразительности и силе стиха, содержит в себе самое жестокое, верное и непримиримое описание жизни европейского капиталистического города, какое я знаю. Именно в этой книге, где его старый ужас перед бытием слился с ужасом перед бессмыслицей и пошлостью капиталистического быта, стал он одним из крупнейших, совершеннейших и своеобразнейших русских поэтов первой половины нашего века.

Все эти стихи я узнавал сразу же после их написания, потому что он вкладывал их в свои письма ко мне. У меня накопилась большая кипа его писем, и я очень жалею, что впоследствии утратил их. Переписка наша продолжалась до тех пор, пока он не поссорился с Горьким. Поссорившись с Горьким, он перестал переписываться с людьми, жившими в Советском Союзе, в том числе со мной.

Я не знаю обстоятельств его ссоры с Горьким, но думаю, что она была неизбежна. Однако, если бы они не жили за границей так тесно, эта ссора разыгралась бы, вероятно, позднее. При длительном близком общении Ходасевич с его вздорным характером, с его самомнением, презрительностью, мнительностью, суетностью был невыносим. Поссорившись с Горьким, он сразу же скатился в болото белогвардейской эмигрантщины. Он стал сотрудничать в газете «Русь» и писать хвалебные рецензии о стишках каких-то великих княжон.

Умер он в конце тридцатых годов, перед второй мировой войной. О заграничной жизни своей написал он в одном из своих поздних стихотворений, которому дал название: «Зеркало».

Я... я... я... Что за странное слово?
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого
Желтосерого, полуседого
И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине, летом,
Танцовавший на дачных балах,
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, ненависть, страх?

Так бывает всегда в середине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины к причине,
А глядишь — заблудился в пустыне
И своих же следов не найти.

Нет, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала,
И Вергилия нет за плечами,
Только есть одиночество в раме
Говорящего правду стекла.

КОКТЕБЕЛЬ

С Максимилианом Александровичем Волошиным я познакомился весной 1922 года во время его первого после революции и гражданской войны приезда в Петроград. Как поэта тогдашняя литературная молодежь знала его мало и мало им интересовалась, считая его одним из второстепенных подражателей Брюсова. С ним связывались представления скорее даже несколько комического, анекдотического свойства. Например, все знали, что Саша Черный в одном из своих предреволюционных стихотворений назвал его Вакс Калошин. Многим было известно, что прозвище это намекало на следующую историю.

Однажды, в годы перед первой мировой войной, осматривая декорации Александра Бенуа за кулисами Мариинского театра, Гумилев и Волошин, оба сотрудники «Аполлона», поссорились и оскорбили друг друга. При оскорблении присутствовали посторонние, в том числе и Бенуа, и потому решено было драться на дуэли. Местом дуэли выбрана была, конечно, Черная речка, потому что там дрался Пушкин с Дантесом. Гумилев прибыл к Черной речке с секундантами и врачом в точно назначенное время, прямой и торжественный, как всегда. Но ждать ему пришлось долго. С Максом Волошиным случилась беда — оставив своего извозчика в Новой Деревне и пробираясь к Черной речке пешком, он потерял в глубоком снегу калошу. Без калоши он ни за что не соглашался двигаться дальше, и упорно, но безуспешно искал ее вместе со своими секундантами. Гумилев, озябший, уставший ждать, пошел ему навстречу и тоже принял участие в поисках калоши. Калошу не нашли, но совместные поиски сделали дуэль психологически невозможной, и противники помирились.

Вот и все, что сохранилось у меня в памяти из этого рассказа, хотя я слышал его с множеством подробностей от

обоих участников. Гумилев рассказывал о дуэли насмешливо, снисходительно, с сознанием своего превосходства. Макс — добродушнейше смеясь над собой[1].

Доброта, добродушие было самой заметной чертой этого коренастого толстяка, широколицего бородача с маленькими голубенькими крестьянскими глазками. Глядя на его потертый пиджачок, надетый поверх косоворотки, трудно было себе представить, что до первой мировой войны он жил в Париже больше, чем в России, носил цилиндр, монокль. Борода у него тоже была мужицкая, рыжевато-каштановая, с проседью, и он постоянно ухмылялся в нее большим добрым ртом. Годы гражданской войны провел он безвыездно в Крыму, у себя в Коктебеле, жил и под белыми, и под красными (не одобрял ни тех, ни других, отлично ладил и с теми, и с другими). Он с гордостью рассказывал, как при белых он хлопотах за арестованных красных, а при красных — за арестованных белых. Возможно, было в этой «нейтральности» немножко и позы. Прислушиваясь к его рассказам,— а он был говорлив,— легко можно было заметить, что красные ему все-таки куда милее белых. Он с негодованием рассказывал о зверствах белогвардейского офицерства, об его тупости. Осенью двадцатого года, после Перекопа, он не убежал с белыми в Константинополь, хотя имел к тому полную возможность; белые пугали его, что красными он будет расстрелян, сами угрожали ему расстрелом, но он спрятался и остался. О писателях-эмигрантах говорил он с открытой враждебностью. Проездом в Петроград он остановился в Москве и не без гордости рассказывал, как хорошо был встречен Брюсовым,— который был в то время коммунистом и, в сущности, руководителем всей московской литературной жизни.

В двадцать четвертом году приехал он в Ленинград с женой, Марьей Степановной. Первая его жена была Сабашникова, судя по фотографии, красивая женщина — из известной семьи московских купцов и издателей. Марья Степановна была маленькая женщина, очень ему преданная и трогательно считавшая его великим поэтом и великим человеком. «Когда я была девушка,— рассказывала она,— все мои подруги мечтали выйти замуж за красавцев,

---

[1] По свидетельству очевидцев, дуэль на самом деле состоялась. См. об этом в сб. «Воспоминания о М. Волошине» (М., Советский писатель, 1989). Прозвище «Вакс Калошин» не связано с дуэлью, так как стихотворение Саши Черного написано задолго до нее.— *Ред.*

или генералов, или богачей. А я говорила: не нужно мне ни красавца, ни генерала, ни богача, был бы мой милый умен. Так и получилось». Говорилось это с наивным простодушием, чуть-чуть наигранным. Марья Степановна была по образованию фельдшерица, и именно как фельдшерица попала в коктебельский дом Волошина,— ухаживала за матерью Макса во время ее предсмертной болезни и осталась в доме хозяйкой.

В тот их приезд в Ленинград я встретился с Волошиным дважды — у Марии Михайловны Шкапской и дома у моих родителей.

Марья Михайловна Шкапская была автором книжки стихов «Mater dolorosa», в которой описывались страдания женщины, сделавшей аборт и оплакивающей нерожденного ребенка:

Да, говорят, что это нужно было...
И был для хищных гарпий страшным корм,
И тело медленно теряло силы,
И укачал, смиряя, хлороформ.
И кровь моя текла, не усыхая —
Не радостно, не так, как в прошлый раз,
И после наш смущенный глаз
Не радовала колыбель пустая.

Это была очень милая женщина, средних лет, писавшая стихи, жена инженера, мать двух прелестных мальчиков. Жила она на Петроградской стороне, и у нее тоже был литературный салон вроде наппельбаумовского, но поменьше, и посещали ее преимущественно литераторы, обитавшие на Петроградской стороне. Среди частых ее посетителей были Н. С. Тихонов, живший на Зверинской, и Ю. Н. Тынянов, живший на углу Большого и Введенской. Бывал у нее и В. А. Каверин — живший там же. Я захаживал к ней редко, потому что жил от Петроградской стороны далеко. По-видимому, я в тот раз пошел к ней только для того, чтобы послушать Волошина.

Стихи Волошина произвели на меня большое впечатление. Это было совсем не то, что я ожидал. Ни брюсовщины, ни гумилевщины не оказалось в них ни капли — никакого «Аполлона». Это были серьезные живые раздумья о России, о революции, об истории, о только что утихнувшей гражданской войне, выраженные в несколько тяжеловатых, длинноватых, но страстных и искренних стихах. Особенно запомнилось мне «Видение Иезекииля» — лучшее, по-моему, из всего, что написал Волошин.

Много в его раздумьях было наивного: он представлял себе революцию стихийным бунтом, чем-то вроде пугачевщины, он писал об истории как о чем-то извечно повторяющемся и потому безысходном, он, подобно многим интеллигентам того времени, считал самого себя стоящим над схваткой, тогда как в действительности он стоял под схваткой — и при всем том стихи эти были значительны, необычны, полны любви к родной земле, к людям, пронизаны тревогой и добротой, озарены солнцем южной России и овеяны сухим ветром степей.

Читал он долго, а когда кончил, Марья Степановна стала петь. Песни у нее были самодельные — она брала стихотворения Сологуба или Блока, подбирала к ним мотив и пела тоненьким-тоненьким, слабеньким голоском. Особенно удавалась ей «Заря-заряница» Сологуба:

Заря-заряница,
Красная девица,
Мать пресвятая богородица.

По всей земле ходила,
Все страны посещала,
В одно село пришла.
Все рученьки оббила,
Стучать не достучала,
Приюта не нашла.

Заря-заряница,
Красная девица,
Мать пресвятая богородица.

Ее от окон гнали,
Толкали и корили,
Бранили и кляли,
И бабы ей кричали:
Когда б мы всех кормили,
То что б мы сберегли.

Пока она пела, Макс с любовью, с затаенным восхищением, с гордостью искоса поглядывал на нее маленькими, лукаво-добродушными глазками.

Через несколько дней Волошины обедали у нас на Кирочной. Отец мой встретил Макса приветливо, как старого знакомого. Макс вначале держался слегка застенчиво,— чувствовалось, что за несколько лет, проведенных вдали от больших городов, у него появилась робость провинциала. Но уже за супом он разговорился и не без удовольствия стал рассказывать, как уважительно приняли его в Москве.



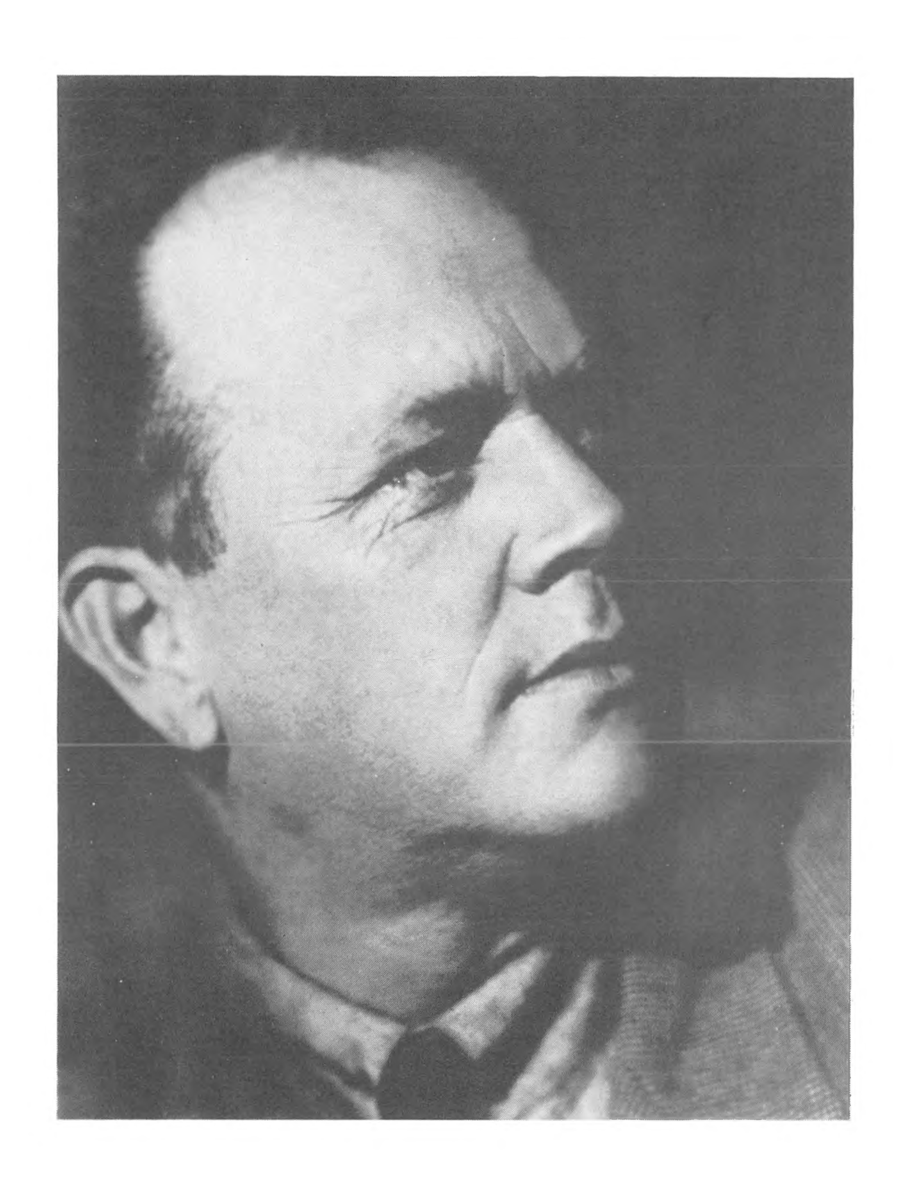
Корней Иванович, Мария Борисовна и Коля Чуковские.



Александр Блок. Фото М. Наппельбаума.



Владимир Маяковский.



Василий Каменский. Фото М. Наппельбаума.



Николай Гумилев. Фото М. Наппельбаума.



Ирина Одоевцева. Рисунок В. Милашевского.



Анна Ахматова. Фото М. Наппельбаума.



Лев Лунц. Фото М. Наппельбаума.



Сергей Колбасьев. Фото М. Наппельбаума.



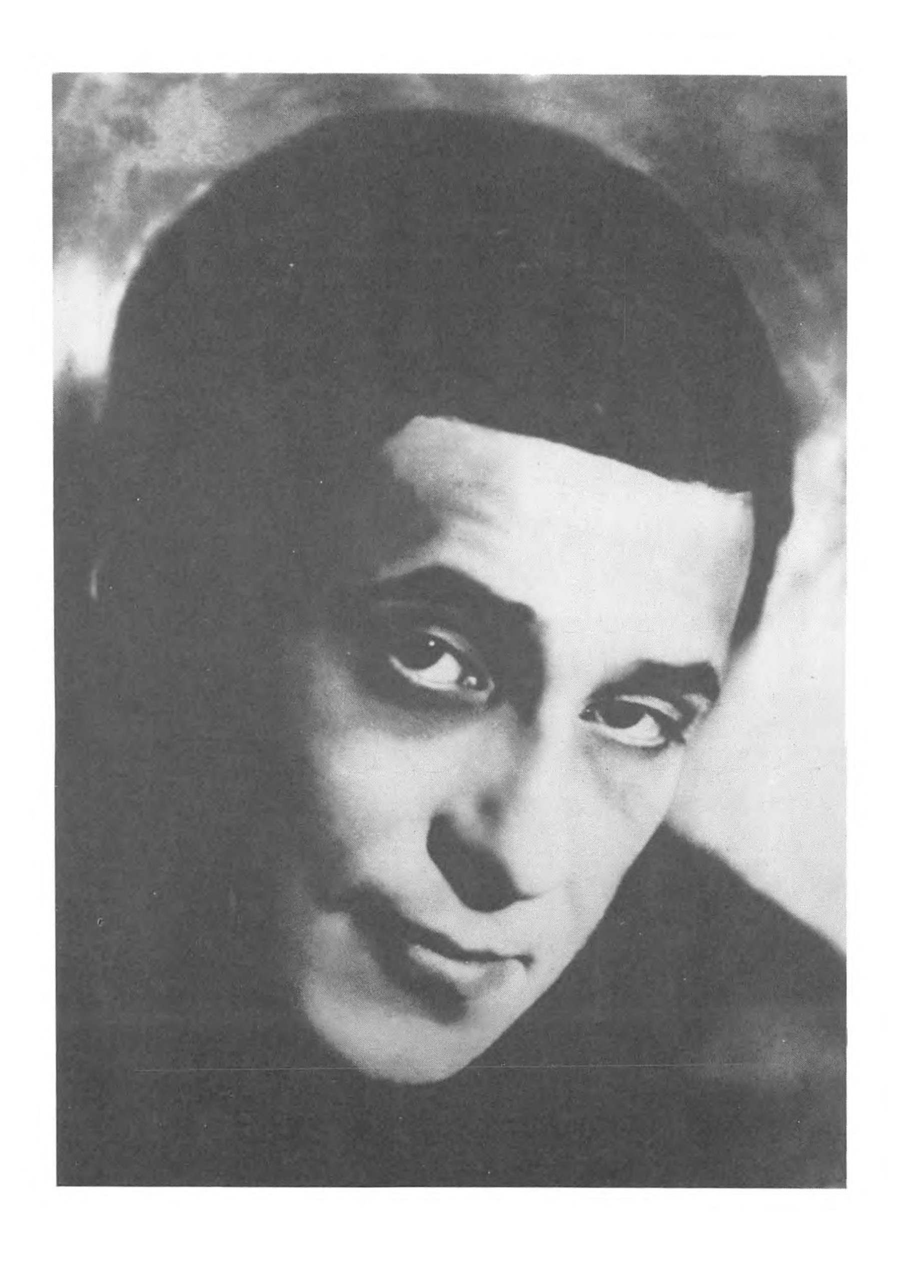
Павел Лукницкий. Фото М. Наппельбаума.



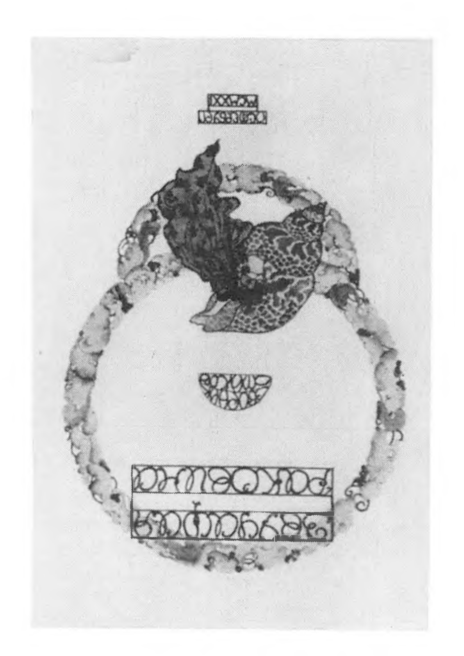
Михаил Слонимский. Фото М. Наппельбаума.



Евгений Замятин. Рисунок В. Милашевского.



Михаил Зощенко. Фото М. Наппельбаума.



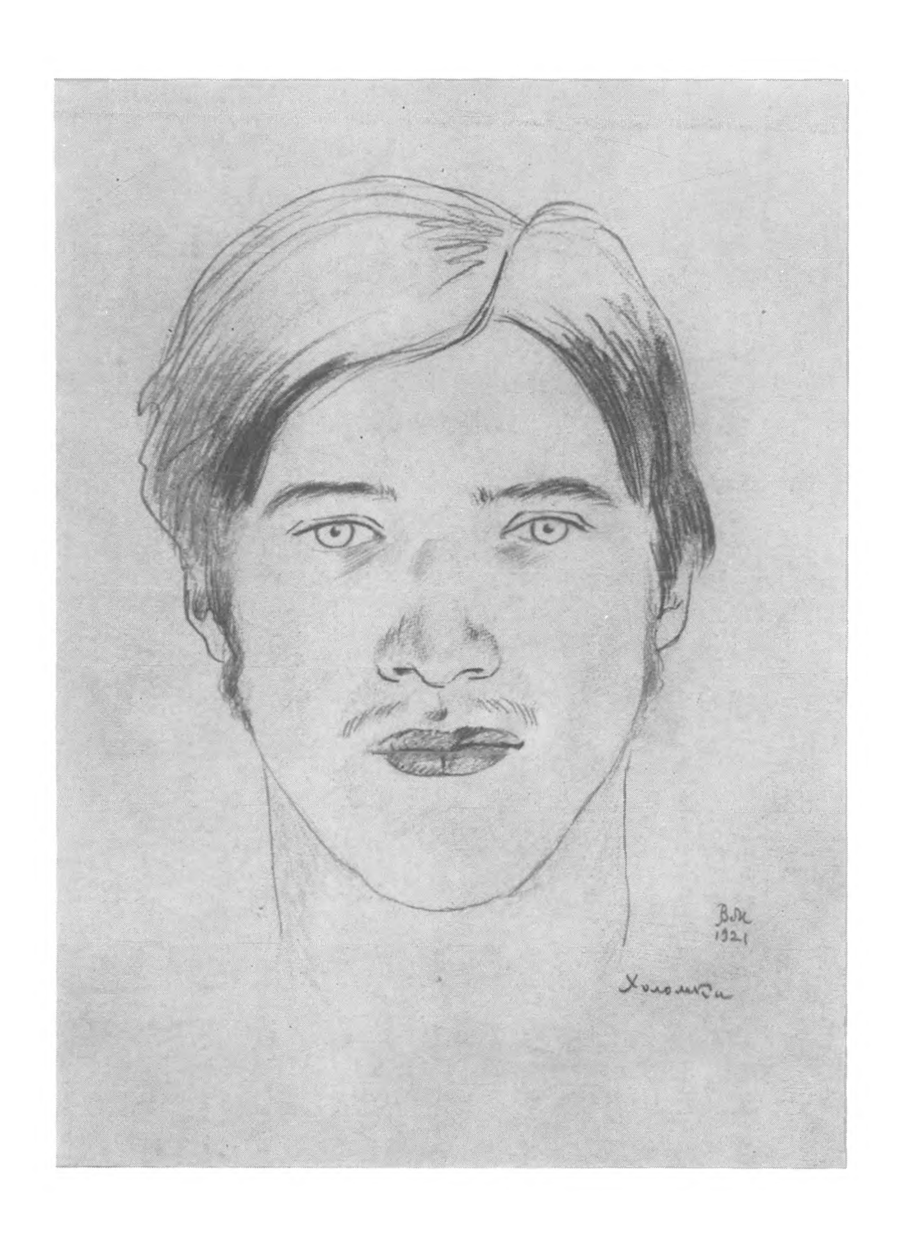


Обложка сборника «Звучащая раковина».
Владимир Познер.



Владислав Ходасевич, Анна Ивановна Чулкова, сын Чулковой Гаррик и Юрий Султанов. Холомки. 1921 г. Рисунок В. Милашевского.

Женя Вихрова. Рисунок В. Милашевского.



Николай Чуковский. Рисунок В. Милашевского.

Во все время этого рассказа Марья Степановна, заботясь о том, чтобы он не уронил своего достоинства, громким звонким голосом вставляла свои пояснения и дополнения, имевшие своей целью доказать, что любые почести, оказываемые Максимилиану Александровичу, не могут поколебать независимости его взглядов.

После обеда Макс читал свои стихи — те же самые, которые я слышал у Шкапской. Отец мой вежливо хвалил их, восхищался отдельными удачными выражениями, но по тону его я понял, что стихи понравились ему не очень и что он, как и раньше, считает Макса поэтом второстепенным. Показалось мне, что понял это и сам Макс. В его ответах на вопросы отца появился холодок.

Однако отношения скоро опять утеплились — после обеда все мы собрались в кабинете. Марья Степановна запела, и пение ее привело отца в восторг. Он растрогался, на глазах у него заблестели слезы. «Зарю-заряницу» он издавна любил и все заставлял Марью Степановну петь снова и снова:

Огонь небесный ярок,
Высок, далек да зорок
Илья святой пророк.
Он встал, могуч и жарок,
И грозных молний сорок
Связал в один клубок.

Заря-заряница,
Красная девица,
Мать пресвятая богородица.

По облачной дороге
На огненной телеге
С зарницей на дуге
Помчался он в тревоге.
У коней в бурном беге
По грому на ноге.

Конечно, восхищение отца пением Марьи Степановны не могло возместить его холодности к стихам Макса. Макс принадлежал к числу тех литераторов, которые не сомневаются в величии всего, что они пишут, и позволяют слушателям только восхищаться. Марья Степановна постоянно говорила о нем в его присутствии как о гениальном человеке, и он выслушивал ее восхваления с довольной, ласковой и снисходительной улыбкой. И мой отец, несмотря на искреннюю свою симпатию к Максу, навсегда

остался с Волошиным в далековатых и прохладных отношениях.

Однако он получил приглашение пожить у них на даче в Коктебеле на берегу моря и летом 1923 года воспользовался им. У Волошиных прожил он месяц и вернулся из Крыма довольный, помолодевший, с лукавыми глазами.

Весной 1924 года я женился. Нам с женой хотелось уехать куда-нибудь на юг, но денег у нас почти не было. И отец сказал мне:

— Давай я напишу Волошиным. Не сомневаюсь, они пригласят вас.

В ответ на папину открытку пришло любезное письмо, и в июне мы с женой поехали. В то время поезд из Ленинграда в Феодосию шел четверо суток. И я, и жена, мы до тех пор редко покидали родной город, и потому путешествие это запомнилось мне на всю жизнь. Ехали мы в жестком бесплацкартном вагоне, и спал я на багажной полке. Погода стояла прекрасная, поезд шел на юг, в лето, подолгу стоял на маленьких станциях, я бегал за кипятком по прогретым доскам платформы, покупал яйца, калачи, пряники, жадно вдыхая запахи паровозной гари, земли, травы, листвы. Большинство наших спутников менялось чуть ли не на каждой станции. На Украине все разговоры полны были еще воспоминаниями о гражданской войне. В вагон заходили бешеные деревенские коммунисты, едущие в город на съезд — в рубахах, в высоких сапогах, с папками в руках,— и вдруг узнавали какого-нибудь притихшего бородача, сидящего в проходе на туго набитом мешке:

— Мы тебя, куркуль, знаем, ты махновцев прятал!..

А за окном медленно темнело, пахло горячей степной сушью, птицы прыгали в пыльных посадках, и небо казалось все огромней.

В Феодосию поезд пришел во вторую половину дня, у вокзала мы наняли линейку, и тот путь до Коктебеля, который теперь на машине преодолеваешь за полчаса, занял у нас часа два с половиной. С удивлением глядел я на залитые вечерним солнцем бурые и рыжие феодосийские бугры. С одного из бугров уже в сумерках увидел я впервые очертания трех знаменитых коктебельских гор — Карадага, Святой и Суурюк-Айя,— очертания, которые впоследствии стали для меня такими родными и от которых всю жизнь у меня замирало сердце, сколько бы я

раз на них ни глядел. К волошинскому дому мы подъехали уже в темноте. Смутные облики неведомых мне деревьев теснились вокруг. На перилах открытой терраски сидело семь женских фигур — все в белом. Когда мы с женой слезли с линейки, они воскликнули в один голос:

— И этот женатый!

Волошины приняли нас ласково, дали нам комнату. В этом вовсе не было проявления особого к нам внимания. В их странном доме всех принимали так, даже совсем незнакомых. Московский студент-первокурсник Кот Поливанов, пробираясь летней ночью 1924 года на Карадагскую зоологическую станцию, где он собирался поработать, заблудился, вышел к волошинскому дому и попросился переночевать; и не только застрял там на все лето, но потом в течение четырех десятилетий приезжал туда ежегодно проводить свой отпуск. Без всяких просьб и оснований во множестве жили у Волошиных самые разные литераторы, окололитературные люди и многочисленные дамы и девицы. Кормились все за свой счет и кто как умел. Мы с женой вступили в «коммуну», которую организовали человек пятнадцать, кормившихся в складчину. Готовила нам специально приглашенная феодосийская дама Олимпиада Никитишна, которая потом много лет работала сестрой-хозяйкой в коктебельском Доме творчества Литфонда. Брала она гроши, но у Макса и Марьи Степановны не было и этих грошей, и они всегда охотно соглашались поесть нашего супа и нашей рыбы.

Жили Волошины крайне бедно, на наш нынешний взгляд даже нище. Макс не зарабатывал ничего, а Марья Степановна, лечившая как фельдшерица больных в деревне, получала за свои труды копейки. В их распоряжении было два больших дома — свой и стоящий позади «юнговский», принадлежавший детям известного окулиста и путешественника Юнга, который когда-то владел всей коктебельской долиной; эти Юнги жили в одной из комнат своего дома еще и при нас, но я их помню совсем смутно. Бедностью своей Макс не тяготился нисколько и, казалось, не замечал ее. От своих гостей он хотел лишь одного — чтобы они восхищались его стихами и мудростью.

И гости охотно и щедро платили ему восхищением. Одни потому, что это им ничего не стоило, другие — большинство — совершенно искренне.

Стихи читались по вечерам, каждый вечер, а в течение дня все были свободны. Свобода, постоянное чувство свободы — в этом была главная прелесть коктебельского житья. Прямо перед волошинским домом находились два пляжа, мужской и женский, ничем не огороженные и, в сущности, почти рядом. Женский пляж назывался «геникей», а мужской, соответственно, «мужикей». В то лето на мужском пляже царили Саша Габричевский и Антон Шварц. Оба они были рослые, красивые, тридцатилетние и казались мне тогда образцом зрелой мужественности. Александр Георгиевич Габричевский был знатоком Гёте, много говорил о немецкой литературе, презрительно отзывался о Шиллере. «Гёте это подлинный человек, т. е. в нем женское и мужское начало слиты воедино,— рассуждал он,— а Шиллер это мужчинка с жидкими ляжками». Был он поклонник Ницше, что уже тогда, в двадцатые годы, накладывало на него отпечаток милой старомодности. Он прелестно грассировал, был очень начитанный человек, глубоко порядочный и с неизменным чувством собственного достоинства, говорун, остряк, женолюб, умница, пьяница, не имевший ни малейшего пристрастия к труду и нисколько не сожалевший об этом. Наши жены оказались родственницами, и мы хорошо сошлись на всю жизнь. Габричевский был создан для Коктебеля,— солнце, море, горы, вино, стихи, дамы, разговоры, книги,— лучшего в жизни он не искал. И он застрял в Коктебеле навсегда. Зимы проводил в Москве, а ранней весной отправлялся в Коктебель и оставался там до поздней осени. Там, в собственном уже домике, живет он и сейчас, в 1959 году,— крупный одноглазый старик, почти глухой, но с отличной осанкой, грассирующий, добрый и благородный, по-прежнему чтущий Ницше и прибавивший к своим прежним увлечениям увлечение Кафкой и абстракционистами.

Сидеть на пляже в трусах или в купальниках считалось в те времена в Коктебеле дурным мещанским тоном. Валялись на пляже и купались нагишом. В геникее было куда более людно, чем в мужикее, и женщины непрестанно перекликались с мужчинами. Каждый день с женского пляжа к мужскому приплывала Леля Кашина — красивейшая женщина того далекого коктебельского лета, двадцатишестилетнее белокурое чудо из прежде богатой купеческой семьи. Незадолго перед тем она вышла замуж за Николая Николаевича Евреинова, но

мужа в Коктебель не привезла. Она подплывала к мужикею и, лежа на животе у берега в мелкой воде, затевала глубокомысленные разговоры с Антоном Шварцем, который очень ей нравился, а мы тем временем любовались ее крупным, розовым, молодо полнеющим телом. Леля Кашина была по взглядам фрейдистка и даже напечатала книжку, называвшуюся «Эротическое у Достоевского» или что-то вроде этого. Во время прогулок она в форме всех камней и скал видела эротические символы и важным наукообразным языком объясняла остальным свои открытия. Год спустя она уехала с Евреиновым в Америку. А еще через год я в одном американском журнале встретил ее фотографию с надписью «Helene Kashina, famous russian psychologist»[1].

На прогулки ходили сообща,— обычно под предводительством Макса. Несмотря на свою тучность, он ходил легко, быстро и неутомимо. В подпоясанной по животу рубахе, похожей на хитон, в штанах до колен, с толстыми голыми икрами коротких ног, бородатый, со шнурком в крупнокудрявых волосах, он был похож на Посейдона. Он любил Коктебель нежной любовью и старался заразить ею каждого. Каждому он хотел показать все. Мы изнемогали, поднимаясь вслед за ним на кручи, мы не осмеливались следовать за ним по каменным карнизам над бездной, где он шагал так же уверенно, как по ровному полю. Жар солнца не смущал его,— он всегда ходил с непокрытой головой. Природа Коктебеля поразительно разнообразна — за час ходьбы можно попасть и в степи, похожие на пустыни, и в скалистые горы, и в горные дубовые леса. И всюду — море. У Макса каждая отдельная местность вызывала особые ассоциации — преимущественно историко-культурные. Он часто говорил, что Коктебель напоминает ему греческие острова в Эгейском море, где он бывал в молодости. В мастерской его — так он называл свой рабочий кабинет, ибо был не только поэт, но и художник,— хранился — и сейчас хранится — кусок днища деревянного корабля, настолько древнего, что доски его сбиты гвоздями, сделанными из бронзы, и Макс уверял, что это обломок того самого корабля, на котором аргонавт Ясон плыл за золотым руном. Он знал названия каждой горки и каждой долинки вокруг, а если не знал, то сам выдумывал. Например, существо-

---

[1] «Елена Кашина, знаменитый русский психолог» *(англ.)*.

вала долина, которая называлась Ассирия,— он уверял, что в древней Ассирии были точь-в-точь такие пейзажи. Мыс, постоянно менявший цвет, когда над ним проходили облака, он назвал Хамелеоном,— название это сохранилось до сих пор.

Во время одной долгой прогулки по берегу мы дошли до того места, откуда был виден синеющий вдали мыс Меганом. Я сразу же вспомнил стихи Мандельштама:

Туда душа моя стремится,
За мыс печальный Меганон,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон.

Мандельштам плохо расслышал название мыса, и Меганом у него превратился в Меганон.

Вообще в Коктебеле мне постоянно вспоминались стихи Мандельштама, привезенные им из Крыма в 1920 году. Мне казалось, что никогда еще в мировой поэзии природа Крыма не была изображена лучше и богаче, чем в мандельштамовском стихотворении:

Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
— Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем,— и через плечо поглядела.

Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа да собаки. Идешь, никого не заметишь.
Как тяжелые бочки спокойные катятся дни.
Далеко в шалаше голоса — не поймешь, не ответишь.

После чая мы вышли в огромный коричневый сад,
Словно веки на окнах опущены черные шторы,
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где прозрачным стеклом обливаются сонные горы.

Я сказал: «Виноград как старинная битва живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке».
В каменистой Тавриде наука Эллады, и вот
Золотых десятин благородные ржавые грядки...

Проходя километры по берегу у самого прибоя, я постоянно повторял про себя последнее четверостишие этого стихотворения:

Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Целый день грохотали морские тяжелые волны.
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

Так как Макс тоже постоянно сравнивал Крым с Элладой, я напомнил ему эти стихи. Но он отнесся к ним сдержанно. Он не очень любил стихи Мандельштама. Как о человеке он отзывался о нем с симпатией, но насмешливо. Он вообще не любил, когда слишком хвалили чьи бы то ни было стихи, кроме его собственных. И все же он ценил Мандельштама несравненно больше, чем Пастернака. О стихах Пастернака он говорил с откровенной враждебностью. Когда однажды на берегу я прочел ему отрывок из Пастернака, где морская пена сравнивается с пеной на пиве, он возмутился и сказал:

— Пиво можно сравнивать с морем, а не море с пивом!

Зато о Гумилеве он всегда говорил любовно. Гумилев, как и он сам, шедший от Брюсова, был ему ближе, роднее. Он с удовольствием вспоминал, как Гумилев гостил у него в Коктебеле,— кажется, летом 1916 года. Я помню его рассказ о том, как они с Гумилевым ловили скорпионов и заставляли их пожирать друг друга.

Скорпионы водились в той самой долине, которая называлась Ассирией. Макс и Гумилев охотились там за ними и приносили их в стеклянных банках на дачу. На даче они устраивали скорпионам гладиаторские состязания. Два скорпиона — один гумилевский, другой волошинский — сажались в стакан. В стакане они вступали в драку, и сильный пожирал слабого. Так отбирались самые сильные скорпионы; потом этих силачей стравливали друг с другом, пока не остались только сильнейшие. Победителем этого состязания оказался Гумилев — у него был скорпион, который мог пожрать любого другого скорпиона, сколько бы их не подсаживали ему в стакан.

По временам в Коктебеле устраивались веселые пиры. Инициаторами всегда были гости Макса, сам Макс и Марья Степановна участвовали в них только как гости своих гостей. За вином шагали в деревню днем всей компанией, захватив с собой множество жестяных чайников. В те времена всякий человек, отправлявшийся в далекое железнодорожное путешествие, брал с собой большой чайник, чтобы наливать его кипятком на станциях, и, следовательно, чайников у гостей Макса было достаточно. Чайники надевали за ручки на два длинных шеста, двое мужчин брали каждый шест за концы и, сопровождаемые всеми, двигались в деревню. В деревне все чайники доверху наливались молодым белым вином. Летом 1924 года крестьяне-болгары, жившие в Кок-

тебеле, брали за кружку вина, вмещавшую полбутылки, пятьдесят копеек. На обратном пути тащить чайники было тяжело, носители шестов часто сменялись. Устраивались привалы для отдыха, садились на горячие от солнца каменные ступеньки болгарских домиков. Терпения, разумеется, не хватало, и пить начинали на этих привалах — сосали вино из носиков чайников; и на волошинскую дачу приходили уже слегка навеселе. Приглашали Волошиных, и начинался пир. Макс и Марья Степановна, охмелев, были очень трогательны. Они садились рядком, обнимались и дружно пели:

Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету...

На этих пирах все очень сдружались, переходили на «ты». Я сам был на «ты» с Максом, несмотря на почти тридцатилетнюю разницу в возрасте.

По вечерам после ужина все население обеих дач собиралось у Макса на «вышке». «Вышкой» называлась открытая площадка на крыше дачи, куда можно было подняться по деревянной лестнице. Днем оттуда был прелестный вид на Коктебельскую бухту, на Карадаг, на окрестные холмы. Глядя с «вышки» на Карадаг, можно было заметить, что карадагская скала, обращенная к морю, напоминает своими очертаниями исполинский профиль Макса. Сходство и впрямь было поразительное,— Максин лоб, Максины глазные впадины, Максин нос, Максина борода. Макс гордился этим сходством и даже воспел его в стихах:

И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой.

Но по ночам с башни ничего не было видно, кроме неба и моря. В лунные ночи по морю бежала серебряная дорожка, в безлунные — пропадало и море, и «башня» казалась кораблем, плывущим среди созвездий. Несмолкаемый звон цикад доносился снизу. Мы все усаживались кругом на низеньких скамейках, устроенных вдоль перил «вышки». И начиналось чтение стихов.

Больше всего читал сам Макс. Слушать его полагалось с благоговением, и слушали с благоговением. В сущности, в этом благоговении состояла единственная плата, которую он принимал за свое гостеприимство.

Если память мне не изменяет, в первое время после моего приезда на «вышке» читали свои стихи кроме Макса только двое — я и Евгений Ланн. Стихи у Евгения Ланна были беспомощные, малопонятные, но очень претенциозные, с каким-то харьковским шиком. Однако Макс охотно удостаивал их благосклонной похвалы — так же, как и мои. Мы в своем ничтожестве не были для него соперниками, и он был к нам куда щедрее, чем к Мандельштаму и Пастернаку.

Так в то лето шла коктебельская жизнь, пока не приехал туда, в гости к Максу, Андрей Белый. С приездом Андрея Белого многое изменилось.

Его ждали давно и с волнением. Гостей Макса волновала возможность близкого знакомства со знаменитым писателем. Макса волновала встреча со старым знакомым, которого он не видел уже восемь лет. Андрей Белый находился тогда на вершине своей славы. Он был близок тогдашней интеллигенции, потому что пережил — начиная с 1905 года — все те наиболее типичные колебания, которые пережила она сама. Как и Блок, начал он с соловьевства. После 1905 года он выпустил «Пепел» — самую лучшую и самую реалистическую из своих стихотворных книг, полную любви к революции и ненависти к старой России. На стороне революции стоял он и в «Петербурге» — талантливом романе о борьбе с самодержавием. Да и революцию изображал он в «Петербурге» как борьбу эсеровских заговорщиков с царскими администраторами. В годы реакции он поддавался всем реакционным влияниям — главным образом мистико-религиозным. В 1914 году он мечтал о «разгроме тевтонов», в 1916-м — о революции и о мире без аннексий и контрибуций. Февральскую революцию встретил восторженно. В 1917 году развивался все влево и влево и восторженно встретил Октябрь. В начале 1918 года, в одно время с блоковскими «Двенадцатью», он написал стихотворение, в котором воспел Октябрьскую революцию:

Рыдай, буревая стихия,
В столпах заревого огня!
Россия, Россия, Россия —
Мессия грядущего дня.

Октябрьская революция представлялась ему тогда событием стихийным и анархическим,— и именно это ему в ней нравилось. В годы гражданской войны, в годы

голода и разрухи, когда в революции стали все отчетливее проявляться организационно-государственные формы он стал охладевать к ней. Он написал поэму «Последнее свидание» — всю обращенную к прошлому, к далекой ранней юности — прелестную, полную милого юмора, в которой он изобразил свою юность куда ярче и отчетливее, чем в томах своих воспоминаний, написанных в последние годы жизни. После гражданской войны он оставил Советскую Россию и уехал за границу. Эмигрантские круги приняли его поначалу восторженно, но очень скоро выяснилось, что они ошиблись. Белогвардейская эмиграция оказалась для Белого совершенно чуждой, и он занял по отношению к ней резко враждебную позицию. Уже через год явился он в советское полпредство в Берлине и попросился назад, в Москву. Его пустили. И через несколько месяцев после возвращения он приехал в Коктебель к Максу.

Он приехал в Коктебель не один, а с пятью дамами средних лет, пятью антропософками, пылкими его поклонницами. Имен и фамилий их я не помню, но — странное совпадение — по отчеству они все были Николавны. Всех пятерых Николавен поселили в первом этаже дачи Юнгов, в одной комнате, самой задней — той, которая выходит окнами в противоположную от моря сторону. Белый же занял комнату в доме Макса, выходящую на ту деревянную терраску, которая еще и до сих пор называется «палубой». До приезда Белого в Коктебеле был один центр, вокруг которого вращалось все общество,— Макс. Теперь центров стало два. И новое солнце стало быстро затмевать прежнее.

Белый, несмотря на седину и лысину, был в то время еще сухощав и крепок. Лицом он казался значительно старше своих сорока четырех лет, но тело имел совсем юношеское, очень скоро покрывшееся коричневым загаром. Ходил он быстро, легко, был подвижен, деятелен и говорлив. Говорил торопливо, с присвистом, сильно жестикулируя, и маленькие голубенькие глазки его, как буравчики, вонзались в собеседника. Вставал он рано, шел на пляж, купался в стороне от всех,— потом много часов бродил по берегу, собирая камешки. Собирать камешки в Коктебеле — обычай, сохранившийся и по сей день. В те времена — а вернее, и еще раньше — были придуманы для них названия, известные только коктебельцам и до сих пор употребляемые только

там — «фернампикс», «полинезиец», «лягушка». У многих из гостей Макса были в то лето замечательные коллекции камешков, но Белый в несколько дней обогнал всех коллекционеров. Недели через две после приезда он устроил выставку своих камешков на деревянных перилах своей терраски, и, помню, коллекция эта поразила всех любителей красотой, подбором, количеством.

На мужской пляж он не ходил, и многое в тогдашних слишком свободных коктебельских нравах было ему, по-видимому, не по вкусу. Помню, каким раздраженным вернулся он однажды с берега моря и с каким возмущением рассказывал, как две незнакомые дамы подошли к тому месту, где он сидел, и стали раздеваться в нескольких шагах от него. Он долго не мог успокоиться, пришепетывал и присвистывал от негодования, а Макс, поклонник античности и свободы, глядел на него, добродушно и хитро улыбаясь в бороду.

С женщинами Белый был учтив до чопорности. Вскоре оказалось, что он отличный и страстный танцор. Из Берлина привез он новый танец — фокстрот, о котором мы до тех пор никогда и не слышали. Он решил обучить фокстроту нас всех и в одной из больших комнат юнговского дома устроил танцевальный вечер. Явился он в домино, надетом на голое тело,— точно таком, какое описано в его романе «Петербург». Танцевал он стремительно, пылко, самозабвенно и мою девятнадцатилетнюю жену явно предпочитал как партнершу всем своим пятерым антропософкам.

Антропософией он, по-видимому, увлечен был сильно. Вскоре после приезда он собрал нас и прочитал нам лекцию по антропософии. Говорил он быстро, со всеми внешними признаками вдохновения, присвистывал, ходил, жестикулировал, но из его лекции я не запомнил ни одного слова — настолько чуждо было мне все, что он говорил. В углу стояла черная школьная доска, и, в пояснение своих мыслей, он мелом начертил на ней круг, пронзенный стрелой. Круг должен был обозначать «бытие», а стрела — «сознание». Впрочем, не помню, может быть, и наоборот. Слушали его почтительно, но сдержанно, и лекция ни на кого, кроме Николавен, впечатления не произвела. А Макс, тот откровенно посмеивался. Уже тогда начал чувствоваться тот разлад между Белым и Максом, который постепенно разрастался.

На вечерних собраниях на «вышке» теперь царствовал не Макс, а Белый. И восхищались стихами не Макса, а Белого. Макс, конечно, еще раз прочел перед Белым все те свои стихи, которые уже неоднократно читал перед нами. И Белый хвалил их учтивейше, но, видимо, не так, как хотелось бы Максу. Стихи же самого Белого принимались слушателями восторженно. И действительно, слушать его под коктебельскими звездами было большим наслаждением. Я всегда любил многие его стихи и всегда считал его поэзию выше его прозы, написанной излишне сложно, манерно, путано, претенциозно.

Читал он на «вышке» много, охотно. Сначала свои сравнительно недавние вещи — «Королевна и рыцари», «Первое свидание», потом стихи более старые, даже времен «Пепла». Помню, как поразило меня в его чтении стихотворение «Железная дорога», написанное им давным-давно, в те времена, когда он, после революции 1905 года, еще пытался опереться на некрасовские традиции:

Поезд плачется. В дали родные —
Телеграфная тянется сеть.
Пролетают — поля росяные,
Пролетаю — в поля: умереть.
Пролетаю — так пусто, так голо...
Пролетают — вот там и вон здесь —
Пролетают — за селами села,
Пролетает — за весями весь;
И кабак, и погост, и ребенок,
Засыпающий там у грудей,
Там — убогие стаи избенок,
Там — убогие стаи людей.
Мать Россия, тебе мои песни,—
О, немая, суровая мать,—
Здесь и глуше мне дай, и безвестней
Непутевую жизнь отрыдать.

Он царил на «вышке» не только стихами, но и рассказами. Говорил он не умолкая. Здесь и речи не было об антропософии, здесь он рассказывал что-нибудь забавное или страшное. Он знал множество страшных рассказов, передавал их мастерски, и на темной «вышке», освещенной лишь звездами, они звучали особенно жутко. Я все их забыл и помню только, как он свистящим шепотом повторял фразу:

— Горло перерезано, бритва на полу!

Это перерезанное горло окончательно отодвинуло Макса на задний план.

Охлаждение между Максом и Белым, исподволь нараставшее, прорвалось наконец наружу после того, как Белый прочел нам инсценировку своего романа «Петербург». Слушать его собрались мы после обеда у Макса в мастерской. Белый читал стоя, расхаживал под бюстом египетской богини Таиах, то кричал, то шептал, размахивал руками, вкладывал в чтение весь свой темперамент. Слушатели расположились где попало — на ступеньках деревянной лестницы, на тахте, на ковре. Макс сидел у окна, спиной к морю, за маленьким столиком, раскрыв перед собой большой альбом, разложив акварельные краски и кисточки. Слушая, он писал свои пейзажи, прелестные и талантливые, хотя и дилетантские. Способ его работы был удивителен,— писал он их, не глядя на натуру, сидя спиной к окну. Писал две акварели, совершенно разные, одновременно. Он макал кисточку в коричневую краску и накладывал разом все коричневые пятна сначала на левый лист альбома, где создавалась одна акварель, потом на правый лист, где создавалась вторая. Затем брал другую кисточку, макал ее в синюю краску и на оба листа накладывал синие пятна. И на обоих листах мало-помалу возникали горы, море, степь, облака — все очень похожее на Коктебель и в то же время вовсе не изображающее какую-нибудь реальную существующую часть Коктебеля.

Он слушал Белого спокойно, настолько углубившись в свои акварели, что нельзя было даже сказать, слушает он или нет. Он ни разу не показал, что чтение ему нравится. Признаться, мы все были несколько разочарованы, хотя не осмеливались это показать. Инсценировки романов редко удаются, и у Белого его «Петербург», превращенный в драму, стал бледен и ходулен.

Буря разразилась после чтения — когда началось обсуждение. Впрочем, первые выступавшие говорили комплиментарно, хотя и очень общо,— пока не выступил Макс. В его выступлении, внешне вполне корректном и очень добродушном, было несколько насмешливых колкостей. Это вывело Белого из себя. Он даже растерялся от бешенства. Перебивая Макса, он возражал ему дрожащим от обиды фальцетом — и довольно невразумительно. В его выражениях были намеки на что-то давнее, нам, присутствовавшим, неизвестное и непонятное. Макс не потерял самообладания, но сильно покраснел. Леля Кашина стала разбирать прослушанную инсценировку с психо-

аналитических фрейдистских позиций, но это только еще сильнее обидело Белого, уже очень раздраженного. Антон Шварц стал возражать Леле Кашиной, объявив себя марксистом. Этим он обрушил на себя гнев и презрение Макса, который в то время, как и все ему близкие люди, считал марксизм явлением дурного тона, свидетельствовавшим об отсутствии вкуса. Белый немедленно взял марксизм под защиту,— в его уме каким-то таинственным образом марксизм уживался с антропософией. Страсти накалялись, началась общая сумятица, и кончилось это тем, что Белый решил немедленно уехать и пошел укладывать свой чемодан. Все пять Николавен вышли вместе с ним и тоже отправились укладывать чемоданы.

Ссору эту Максу удалось ликвидировать — он объяснился с Белым наедине, и Белый остался. Но прежние отношения уже не восстановились,— Белый никогда уже больше не приезжал в Коктебель.

Нам с женой пора было уезжать. Мы провели в Коктебеле более полутора месяцев. За несколько дней до нашего отъезда мне пришлось поговорить с Белым наедине.

Он подошел ко мне в сумерках, когда я лежал один на песке и смотрел, как зажигаются звезды. Он сел на песок рядом со мной. Для меня это было неожиданностью,— до тех пор он никогда со мной не разговаривал, между нами была слишком большая разница в возрасте. Сидя рядом со мной и глядя на звезды, он сказал:

— Сейчас установлено, что строение атома подобно строению солнечной системы. Таким образом, мы вправе предположить, что все видимые нами созвездия — только атомы, составляющие, скажем, пятку какого-нибудь исполинского Ивана Ивановича, который сидит на балконе и пьет чай. Вот и ищи после этого смысла вселенной...

Дней за десять до отъезда мы с женой заказали себе железнодорожные билеты в Ленинград и истратили на них все деньги, какие у нас были. На еду во время пути у нас не осталось ни копейки. Первый день путешествия в вагоне было очень жарко и есть не хотелось, но вечером жара спала, и голод стал мучить нас. В Коктебеле жена наварила абрикосового варенья — большую жестяную банку — и везла его с собой. За неимением ничего другого мы принялись есть это варенье.

Ели мы его и весь следующий день. Нет ничего отвратительнее, чем съесть натощак полтора-два кило приторного варенья без хлеба. Однако мы свершили этот подвиг, и, когда на третий день утром приехали в Москву, банка была пуста.

В Москве нам предстояло провести целый день, так как поезд на Ленинград отходил только вечером. Голод терзал нас, нужно было перевезти вещи с Курского вокзала на Ленинградский, а между тем у нас не было даже на трамвай. Я вспомнил, что у меня в Москве есть приятель, и решил зайти к нему, чтобы попросить у него кусок хлеба и рубль.

Оставив жену стеречь вещи на Курском вокзале, я пошел искать приятеля, который жил за Девичьим полем. В Москве было жарко. Мне хотелось есть и пить. Когда я дошел до квартиры приятеля, оказалось, что он на даче. На квартире была только его тетка, которой я не знал и которая меня не знала. Она отнеслась ко мне крайне недоверчиво. Я, тем не менее, рассказал ей о нашем положении, и она, колеблясь, вынесла мне рубль. Я напился воды из водопровода и побрел пешком назад, на Курский вокзал.

Рубль ушел целиком на переезд с вещами с Курского вокзала на Ленинградский. Весь день мы ничего не ели. В Ленинградском поезде на соседней лавке оказалась дама с большой корзиной. Она на минуту раскрыла корзину, чтобы лучше уложить вещи, и мы среди белья увидели французские булки с маслом, ветчиной и сыром. Я стал деятельно ухаживать за этой дамой. На станции Клин я побежал для нее за кипятком. Она опять раскрыла корзину и, заедая булкой, стала пить чай. Чтобы отблагодарить меня, она раскрыла большую коробку, полную маленьких конфеток. Мы с женой взяли по одной конфетке.

В конце двадцатых годов Макс и Марья Степановна опять приезжали в Ленинград, и я виделся с ними, но помню об этом свидании мало. У Макса поседела борода, и он еще потолстел. Стихов его на этот раз я не слышал.

Я снова приехал в Коктебель через восемь лет после первого моего посещения — в июле 1932 года. Ехал я на этот раз один, без жены, и не в гости к Максу, а по путевке в Дом отдыха Литфонда. К тому времени дом Макса был уже домом Литфонда,— за Волошиными оста-

вался только второй этаж, где помещалась мастерская Макса. Все это произошло по воле самих Волошиных. Соседний дом — дача Юнга — тоже принадлежал теперь Литфонду. Обоими этими домами распоряжалось Московское отделение Литфонда. У Литфонда был еще и третий дом в Коктебеле — бывшая дача Манасеиной. Этой дачей распоряжалось Ленинградское отделение Литфонда, и я, как ленинградец, поселен был в ней.

Когда я проезжал через Москву, кто-то,— кажется, Иван Катаев — попросил меня передать Максу, что его стихи идут в одном из ближайших номеров «Нового мира». Таким образом, я вез в Коктебель радостную для Макса весть. За последние годы Макс писал мало, и речь шла о тех самых стихах, которые я слышал в начале двадцатых годов. Они всё еще не были напечатаны. Постоянная жизнь в Коктебеле, вдали от литературных центров, мешала стареющему Максу завязать связи с крепнувшей молодой советской литературой. За восемь лет, с 1924 года по 1932-й, интеллигенция прошла огромный путь развития, а Макс, у которого, безусловно, были все данные, чтобы принять в этом развитии участие, остался в стороне, отстал, законсервированный среди коктебельских гор и пляжей.

Приехав в Коктебель, я сразу узнал, что он тяжело болен. За несколько дней до моего приезда у него был удар. Я поспешил к нему.

Макс, необчайно толстый, расползшийся, сидел в соломенном кресле. Дышал он громко. Он заговорил со мной, но слов его я не понял,— после удара он стал говорить невнятно. Одна только Марья Степановна понимала его и в течение всей нашей беседы служила нам как бы переводчиком.

При всем том он был в полном сознании. Когда я сказал ему, что стихи его пойдут в «Новом мире», лицо его порозовело от радости. Снова и снова почти нечленораздельными звуками просил он меня повторять привезенную мною весть.

Через несколько дней у него был второй удар, и он умер.

Он лежал в саду перед своим домом в раскрытом гробу. Гроб казался почти квадратным — так широк и толст был Макс. Лицо у него было спокойное и доброе,— седая борода покрывала грудь. Мы узнали, что он завещал похоронить себя на высоком холме над морем, отку-

да открывался вид на всю коктебельскую долину. Гроб поставили на телегу, возница стегнул лошадь, и маленькая процессия потянулась через накаленную солнцем степь. До подножия холма было километра три, но мы сделали гораздо больший путь, так как обогнули холм кругом,— с той стороны подъем на холм был легче. И все же лошадь на холм подняться не могла, и метров двести вверх нам пришлось нести гроб на руках.

Это оказалось очень трудным делом. Макс в гробу был удивительно тяжел, а мужчин среди провожающих оказалось только пятеро — Габричевский, чтец Артоболевский, писатель Георгий Петрович Шторм и я. Кто был пятый — я забыл. Солнце жгло нестерпимо, и, добравшись до вершины, мы были еле живы от усталости.

Отсюда мы увидели голубовато-лиловые горы и мысы, окаймленные белой пеной прибоя, и всю просторную, налитую воздухом впадину коктебельской долины, и далекий дом Волошиных с деревянной башенкой, и даже дельфинов, движущихся цепочкой через бухту. Знойный воздух звенел от треска цикад в сухой траве. Могильщики уже вырыли яму, гроб закрыли крышкой и опустили в светло-рыжую сухую глину. Чтец Артоболевский, высокий, худой, в черном городском пиджачном костюме, прочел над могилой стихотворение Баратынского «На смерть Гёте»:

Предстала, и старец великий смежил
　　Орлиные очи в покое,
Почил безмятежно, зане совершил
　　В пределе земном все земное!
Над дивной могилой не плачь, не жалей,
Что гения череп — наследье червей.

И мы поплелись вниз с холма.

После смерти Макса я множество раз бывал в Коктебеле, живал там по полтора-два месяца. Могила Макса на вершине холма цела до сих пор. На ней нет ни креста, ни памятника — Макс был неверующий и считал, что памятники уродуют природу. Восхождение на могилу стало любимой прогулкой отдыхающих в Коктебеле. Они не очень ясно представляют себе, кто лежит в этой могиле,— стихи Макса известны немногим, мало кто даже слышал его имя. На посмертную славу ему незаслуженно не повезло,— даже весть, которую я привез ему перед

его смертью, радостная весть, что стихи его будут напечатаны в «Новом мире», оказалась ложной: номер «Нового мира» вышел без его стихов. И все же могила Волошина стала местной достопримечательностью, пользующейся всеобщим уважением. Все приезжающие в Коктебель знают, что это могила поэта, и почтительно склоняются перед нею. Собиратели камешков на морском берегу несут к ней лучшие свои «фернампиксы» и трогательно украшают ими низенькую могильную насыпь.. Я даже видел военную карту-двухкилометровку Восточного Крыма времен второй мировой войны, на которой есть надпись: «Могила Волошина».

А Марья Степановна жива и сейчас, когда я пишу эти строки, в 1959 году. Живет она все там же, на втором этаже коктебельского волошинского дома, получая маленькую пенсию от Литфонда. Она еще крепка, деловита, разумна и держится с достоинством, подобающим вдове поэта. Она верна всем заветам Макса — в ее речах живут его словечки, его симпатии и антипатии. Она как святыню бережет его мастерскую, библиотеку, архив, она читает посетителям стихи Макса — с теми же интонациями, с какими читал их сам Макс. Верна она и его завету гостеприимства. Каждое лето приезжают к ней старушки, бывшие коктебелки, жившие еще у Макса, и живут у нее месяцами, платя ей только одним — усердным и набожным слушанием Максовых стихов.

Во время войны, в захваченном немцами Крыму, Марья Степановна вела себя превосходно. Дом ее служил явкой партизан, через нее поддерживалась связь между партизанами и подпольным крымским обкомом. Когда двадцать пять черноморских моряков, высадив десант, захватили на сутки Коктебель, они — перед смертью — нашли приют у Марьи Степановны... Это тоже был завет Макса — верность России.

И плывет дом Макса через время, как кораблик,— с ветхой деревянной «вышкой», с ветшающими лестницами, балконами, перилами. Кругом кипит уже совсем другая жизнь — строятся новые дома, растут новые люди, открываются новые санатории и дома отдыха, бегут автомобили по новому шоссе, соединяющему Феодосию с Ялтой. И литература давно уже новая. И в нижнем этаже, принадлежащем Литфонду, сменяются все новые и новые жильцы. А мастерская Макса все такая же — блестят

корешки книг, изданных в первое десятилетие нынешнего века, стоит гипсовая голова египетской богини Таиах, пахнет пылью, старым деревом, рассохшимся на солнце. А за окнами мастерской — то, что гораздо неизменнее, чем она сама: море.

Человеку непокорно
Море синее одно:
И свободно, и просторно,
И приветливо оно;
И лица не изменило
С дня, в который Аполлон
Поднял вечное светило
В первый раз на небосклон.

О МАНДЕЛЬШТАМЕ

Осипа Эмильевича Мандельштама я очень любил, всегда восхищался его стихами, считал его одним из замечательнейших русских поэтов своего времени, знаком был с ним в течение семнадцати лет, довольно часто встречал его, но никогда не был с ним близок,— отчасти из-за разницы в возрасте, отчасти оттого, что он, со свойственной ему откровенностью, никогда не скрывал от меня пренебрежительного отношения ко всему, что я писал. Ему чужды были не только мои робкие литературные попытки, но и весь строй моих литературных пристрастий,— к Блоку он относился довольно холодно, Некрасова не любил, у Фета ценил только некоторые строчки, терпеть не мог стихов Бунина и, подобно всем акмеистам, был внутренне враждебен русской реалистической прозе. Из русских поэтов больше всего любил Пушкина, Батюшкова и Баратынского.

Когда-то учился он, подобно мне, в Тенишевском училище, но окончил его лет на пятнадцать раньше меня. В 1918 году он уехал из Петрограда в Крым. Впоследствии он написал об этом так:

Чуя грядущие беды, бурь приближенье мятежных,
Я убежал к нереидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних, от тех европеянок нежных
Сколько я принял смущенья, надсады и горя.

Впервые я увидел его в конце 1920 года, когда он вернулся в Петроград из Крыма, только что освобожденного от Врангеля. Он имел возможность сбежать с белыми в Турцию, но, подобно Волошину, предпочел остаться в Советской России. Перед приходом в Крым красных он жил в Феодосии и там написал:

Недалеко от Смирны и Багдада,
Но трудно плыть, а звезды всюду те же.

В Петрограде его поселили в Доме искусств, дали ему комнатенку возле комнаты Михаила Слонимского. Мандельштам был невысокий человек, сухощавый, хорошо сложенный, с тонким лицом и добрыми глазами. Он уже заметно лысел, и это его, видимо, беспокоило, потому что одно его стихотворение начиналось так:

Холодок щекочет темя,
И нельзя признаться вдруг,—
И меня срезает время,
Как скосило твой каблук.

Обликом он в те годы был отдаленно похож на Пушкина — и знал это. Вскоре после его приезда в Доме искусств был маскарад, и он явился на него, загримированный Пушкиным — в сером цилиндре, с наклеенными бачками.

По просьбе моих товарищей тенишевцев, чтивших его, я как-то раз привел его в Тенишевское училище почитать стихи,— подобно тому, как приводил раньше Гумилева. Он пришел охотно, хотя, кажется, нисколько не был растроган посещением школы своего детства. Мы все в то время знали только одну его книгу стихов, «Камень», вышедшую перед первой мировой войной. Особенной известностью пользовались те стихи из «Камня», в которых умно и красноречиво описывались знаменитые памятники архитектуры: «Айя-София», «Notre Dame», «Адмиралтейство». За эти изысканные и умные стихи, написанные очень торжественным тоном, насмешники прозвали Мандельштама «мраморной мухой». Меня же эти великолепные стихи, отчетливо отразившие все основные каноны акмеизма, оставляли равнодушным. В «Камне» меня волновало другое — то, что находилось как бы на периферии этой книги. Меня удивляло точностью, простотой, ритмом и умом стихотворение Мандельштама, написанное им еще в ранней юности, в 1909 году:

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло...

Некоторые стихотворения «Камня» поражали меня еще одной чертой — правдивостью изображения, реалистичностью. Русские поэты первой четверти двадцатого века почти никогда не ставили перед собой задач реалистического изображения мира. Блок был чуть ли не единственным исключением. И меня поражало великолепное изображение оперного спектакля в восьмистишии из «Камня» Мандельштама:

Летают Валькирии, поют смычки.
Громоздкая опера к концу идет.
С тяжелыми шубами гайдуки
На мраморных лестницах ждут господ.

Уж занавес наглухо упасть готов;
Еще рукоплещет в райке глупец,
Извозчики пляшут вокруг костров.
Карету такого-то! Разъезд. Конец.

Но больше всего во всем «Камне» нравилось мне стихотворение «Петербургские строфы» — о дореволюционном Петербурге. Я считал, что стихотворение это — лучшее изображение Петербурга в русской поэзии со времен «Медного всадника». Начиналось оно так:

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна,— как броненосец в доке,—
Россия отдыхает тяжело.

А над Невой — посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира
Как власяницаа грубая бедна...

Это поразительное по изобразительной точности и ритмике стихотворение особенно трогало меня своим концом, где внезапно появлялся Евгений из «Медного всадника» — нищий интеллигент-разночинец, противопоставленный императорскому Петербургу:

Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход —

Чудак Евгений — бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

Этот образ нищего разночинца, столь чуждый снобам-акмеистам, появился в «Камне» только один раз, и еще трудно было предугадать, какое большое место суждено ему было занять в дальнейшем творчестве Мандельштама.

Из более поздних его стихотворений я в то время знал только одно — то, в котором он отрекается от «Камня»:

Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою,
И ныне я не камень,
А дерево пою.

Оно легко и грубо,
Из одного куска
И сердцевина дуба
И весла рыбака.

Вбивайте крепче сваи,
Стучите, молотки,
О деревянном рае,
Где вещи так легки.

Мы, тенишевцы, сидели на деревянных скамейках в зале, где на переменах играли в пятнашки, а он, стоя, читал перед нами — торжественно, нараспев, задирая маленькую голову, как молодой петушок. Он объяснил нам, что русская поэзия по духу — эллинистическая и что в возврате к эллинизму лежит единственный путь ее очищения. К этим взглядам пришел он под влиянием своих крымских впечатлений, потому что в Крыму ему все напоминало Элладу. Часа два читал он нам все новые и новые стихи, в которых поминались Персефона, Пиэрия, ахейские мужи, Троя, Елена. Смысл этих стихов дошел до меня гораздо позже, а тогда я был заворожен их звуком. Мандельштам читал, подчеркивая звуковую, а не смысловую сторону стиха, и я задыхался от наслаждения, слушая, что он делает из сочетаний звуков *д*, *р* и *е*:

Г*де* милая Т*р*оя, г*де* ца*р*ский, г*де* *де*вичий *до*м?
Он бу*де*т раз*р*уш*е*н, высокий П*р*иамов скво*ре*шник.
И па*д*ают ст*ре*лы сухим *де*ревянным *д*ож*де*м,
И ст*ре*лы *д*ругие *р*астут на земле, как о*ре*шник.

Или какого изящного разнообразия русских *е* добивался он в двух строчках:

Гляди, навстречу словно пух лебяжий,
Уже нагая Делия летит.

Помню, как поразили меня тогда два его новых стихотворения о Петербурге, написанных уже после революции. Первое из них написано было еще в 1918 году, перед отъездом в Крым, когда холодный, замерзающий Петроград перестал быть столицей и стремительно пустел. Оно начинается так:

На страшной высоте блуждающий огонь.
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,
Твой брат, Петрополь, умирает.

На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда мерцает.
О если ты, звезда, воде и небу брат,
Твой брат, Петрополь, умирает...

Второе стихотворение о Петрограде он написал в Крыму, при Врангеле. Оно полно тоски по родному городу:

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем...

Там есть воспоминания о революционном Петрограде:

Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь:
За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь.
. . . .
Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи.
В черном бархате всемирной пустоты
Все поют блаженных жен крутые плечи,
А ночного солнца не заметишь ты.

В Петрограде он прожил тогда до весны 1922 года, и я встречал его в Доме искусств и у Наппельбаумов. Из Дома искусств он переехал в Дом ученых, где Горький дал ему комнату, и я как-то зимой был там у него. Окно выходило на замерзшую Неву, мебель была роскошная, с позолотой, круглые зеркала в золоченых рамах, потолок был высочайший, со сгустившейся под ним полуть-

мой, в углу стояли старинные часы — величиной с шкаф, которые отмечали не только секунду, минуту и час, но и месяц, и число месяца. Мандельштам лежал на кровати, лицом к окну, к Неве, и курил, и в комнате не было ничего, принадлежащего ему, кроме папирос,— ни одной личной вещи. И тогда я понял самую разительную его черту — безбытность. Это был человек, не создававший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого уклада.

Я вспомнил эту комнату в Доме ученых, Неву за окном и часы, отмечающие месяцы, прочитав впоследствии его стихотворение «Соломинка»[1], казавшееся многим непонятным:

В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их — такая тишина,—
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.

Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.

Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не соломинка, Лигейя, умиранье —
Я научился вам, блаженные слова.

Всю силу его необыкновенной несопряженности ни с каким бытом я особенно ощутил летом 1922 года, когда побывал у него в Москве, на Тверском бульваре, в комнате, которую ему предоставил Дом Герцена. С этого времени начались мои более близкие с ним отношения, потому что в Москве он оказал мне большую услугу и выручил меня из беды.

Это была моя первая поездка в Москву и вообще первая сколько-нибудь дальняя поездка — до тех пор я никогда не ездил из Петрограда дальше Пскова.

Попал я в Москву следующим образом. Мне было восемнадцать лет, я писал стихи и страстно мечтал увидеть их напечатанными. Не то чтобы я считал свои стихи прекрасными, вовсе нет, я был о них скромного мнения. И все же я только о том и думал, как бы их

---

[1] Н. К. Чуковский ошибся. Стихотворение «Соломинка» написано в 1916 году, задолго до того, как Мандельштам поселился в Доме ученых.— *Сост.*

напечатать. Необъяснимая непоследовательность. Но что поделаешь, так было. К моему горю, никто не изъявлял желания их напечатать. И я решил напечатать их сам.

В зиму с 1921-го на 1922 год в судьбе русской православной церкви произошло крупное событие — возникло новое религиозное течение, назвавшее себя живой церковью. Вот причина его возникновения. В 1921 году был неурожай в Поволжье, и Советское правительство, чтобы накормить голодающих, решило закупить хлеб за границей. Для этого нужно было золото, а золота не хватало. Для того чтобы достать золото, решено было изъять ценности, находившиеся в руках у церкви. Патриарх Тихон, глава церкви, человек, настроенный белогвардейски, воспротивился этому. По его указанию священники и монахи стали прятать церковные ценности от властей.

Но Тихон рассчитал плохо,— большинство верующих не поддержало его. Помощь голодающим была задача, которой до такой степени все сочувствовали, что противодействие ей не могло стать популярным. В особенно трудное положение попали церковники в Петрограде.

Среди петроградских рабочих в те времена было еще очень много верующих. Однако политические их взгляды нисколько не отличались от политических взглядов всех остальных рабочих,— они вместе со всеми участвовали в Октябрьской революции, служили в Красной Гвардии, сражались с Юденичем, подавляли кронштадтский мятеж. И отказ церковников помочь голодающим возмутил их.

Всем этим воспользовался о. Александр Введенский, настоятель церкви Захария и Елисаветы на Захарьинской улице. Во время одной из служб он в присутствии всех прихожан снял с себя золотой священнический крест и пожертвовал его в фонд помощи голодающим. Он пожертвовал голодающим все золотые и серебряные предметы своего храма. Он организовал среди своих прихожан сбор средств для голодающих. За все это патриарх Тихон лишил его священства. Он не подчинился патриарху и организовал свою особую церковь, отдельную от православной, которую назвал Живой.

Это был рослый мужчина тридцати с небольшим лет, цыганского типа. В городе его хорошо знали, потому что он нередко выступал на антирелигиозных диспутах, очень распространенных в первые революционные годы. Не раз бывал он оппонентом и самого Луначарского. Луначарский доказывал, что бога нет, а священник Алек-

сандр Введенский утверждал, что есть. При этом он говорил, что цели у христианства и большевизма одни и те же и что все истинно верующие должны поддерживать Советскую власть.

Живая церковь ввела богослужение на русском языке вместо церковнославянского, отменила безбрачие монашества. Александр Введенский стал митрополитом и в своих проповедях поминал имена Шопенгауэра, Дарвина, Маркса и Александра Блока. Портрет Александра Блока (увеличенную фотографию работы М. С. Наппельбаума) он даже поместил среди икон на иконостасе церкви Захария-Елисаветы. Последователей у него было много.

Пылкой его последовательницей была преподавательница Тенишевского училища К., сухопарая длинная старуха из петербургских немок, принявших во время первой мировой войны православие. У нее была дочь Таня, учившаяся со мной в одном классе. Эта Таня тоже стала пламенной сторонницей Живой церкви, а потом сделалась невестой Александра Введенского.

Таня и открыла мне дорогу в 9-ю государственную типографию, находившуюся на Моховой неподалеку от улицы Белинского,— маленькое полукустарное предприятие, занимавшееся, главным образом, печатаньем афиш, бланков и этикеток. В ней работал метранпаж Васильев — плотный сорокалетний мужчина с примасленными светлыми волосами, пламенный сторонник Живой церкви и поклонник о. Александра. Рекомендация невесты митрополита подействовала безотказно. Типография согласилась в кредит снабдить меня бумагой и в кредит отпечатать книгу стихов с тем, что я расплачусь, когда продам тираж — 1000 экземпляров.

Я был счастлив, но тут выяснилось, что у меня нет стихов даже на самую маленькую книжку. То есть, разумеется, стихотворений у меня было уже несколько десятков, но я считал стоящими только два-три, написанные в самое последнее время. Но не терять же такую редкостную возможность — издать книгу. И я решил издать сборник стихов разных поэтов, включив в него и свои. Несколько стихотворений я взял у своих приятельниц — Нины Берберовой и сестер Наппельбаум. В ту зиму я учился на первом курсе Ленинградского университета, и среди моих сокурсников было, конечно, множество поэтов. Я и у них взял стихи — то, что мне казалось лучшим. Одно стихотворение дал мне Николай Тихонов,—

между прочим, нигде никогда с тех пор больше не печатавшееся. Своих стихотворений я включил в сборник только три.

Я печатался в первый раз, и впервые передо мной возник вопрос, как подписывать свои произведения. Подписываться моим настоящим именем мне казалось неловким, потому что отец мой был известный литератор. И я придумал себе псевдоним — Николай Востоков. Я был очень доволен своим псевдонимом, но когда сказал о нем отцу, он стал называть меня Водостоковым. Я засмущался и придумал себе другой псевдоним — не столь пышный.

Юные поэты, мечтавшие напечататься в моем сборнике, заискивали передо мной. Я внезапно стал влиятельным лицом и упивался этим. Мы сообща придумали сборнику воинственное название — «Ушкуйники»,— хотя стихи наши были робки, бледны и ничего воинственного не содержали.

Типография, у которой не было заказов, изготовила книжку в несколько дней. С каким наслаждением впервые в жизни держал я корректуру! Печататься, делать книги, держать корректуру — у меня в детстве и юности не было более страстной мечты. И вот «Ушкуйники» готовы, одеты в белую обложку из меловой бумаги, и весь тираж свезен к нам на квартиру на Кирочной улице и сложен в углу моей комнаты.

Это была изрядная кипа — 1000 экземпляров! Я роздал по десять книжек каждому автору, я подарил по книжке всем моим знакомым, но кипа почти не уменьшилась. На мне висел долг в 381 миллион и угнетал мою душу. «Ушкуйники» нужно было продать — как можно скорее.

По книжным магазинам Петрограда мы отправились вдвоем с моим братом Бобой, которому шел двенадцатый год. Он помогал мне нести книги.

Оказалось, что в Петрограде нет и двадцати книжных магазинов. Мы все их обошли за два часа. Нэп был в самом разгаре, и почти все книжные лавки принадлежали частным владельцам. В двух магазинах у нас купили по пять экземпляров. В одном купили три,— и то только потому, что Боба был очень хорошенький мальчик и понравился продавцу. В двух магазинах взяли у нас по десять экземпляров, но на комиссию,— с тем, что деньги нам будут уплачены только тогда, когда экзем-

пляры разойдутся. В остальных не взяли ничего. Когда нам отказали, Боба, выходя из магазина, плевал на порог.

Кипа книг в моей комнате не уменьшалась, и продать ее, казалось, не было никакой надежды. Необходимо рассчитаться с типографией, но как добыть деньги? Всю весну 1922 года прожил я в тоске и тревоге. Каждый день я ходил в Университет, готовился к экзаменам, но мне было не до ученья. Я считался отстающим студентом и предчувствовал, что мне придется остаться на первом курсе на второй год.

А между тем слава моя как издателя на первом курсе росла и росла. Первокурсник, мальчишка, а уже издал книгу! Университет кишел восемнадцатилетними поэтами, и все они заискивали передо мной, надеясь, что я издам и их. Напечататься, только бы напечататься! Меня умоляли издать второй сборник и включить всех, всех.

В эту несчастную для меня весну я сблизился со студентом Наумом Соломоновичем Левиным, называвшимся попросту Нюмой. Он был года на четыре старше меня и уже одним этим заслужил мое уважение. Одевался он по-нэпмански — галстук, коричневый пиджачок в талию, пестрые носки, полуботинки с острыми носками. Стихов он не писал, но много знал их наизусть и охотно рассуждал о современной поэзии. Между прочим, от него я впервые услышал стихи Павла Антокольского.

Гуляя с Нюмой Левиным по бесконечному университетскому коридору, я, чувствуя потребность поделиться своей тревогой, рассказал ему и о своем долге, и о том, что я отчаялся продать «Ушкуйники». К моему удивлению, Нюма не нашел в моем положении ничего трагического.

— Вам просто нужно поехать в Москву,— сказал он.— Там больше книжных магазинов, чем в Петрограде, и там вы все продадите.

Эта мысль приходила мне в голову и раньше. Но как поехать в Москву, если нет денег на железнодорожный билет?

— Билет я вам достану бесплатный,— сказал Нюма.— Мой дядя работает в управлении железной дороги и устроит билет.

Но я в Москве никогда не был, никого там не знал, и мне негде было остановиться.

— Я поеду вместе с вами,— объявил он.— У меня в Москве родственники. Мы оба остановимся у них.

Через несколько дней его проект принял следующий вид. Мы с ним оба едем в Москву и везем с собой весь тираж «Ушкуйников». Останавливаемся у его родственников. Продаем «Ушкуйники» московским книготорговцам. В результате продажи у меня, за вычетом долга, останется сумма в несколько сот миллионов рублей. Мы вернемся в Петроград, и Нюма Левин к моим сотням миллионов прибавит свои сотни миллионов — ровно столько же. На эти деньги мы начнем издавать литературно-художественный журнал. Мы оба будем издателями и редакторами на равных началах. Для нашего журнала есть прекрасное название — «Корабль».

Я сразу согласился на все. Я понимал, что у меня нет никакой другой надежды расплатиться с типографией. Да и издательский зуд во мне еще не прошел. Стать редактором журнала и печатать в нем все, что захочешь,— разве можно вообразить себе большее счастье?!

Я сдал только половину экзаменов, и то посредственно, и остался на второй год. Но зато весь первый курс узнал, что я редактор журнала «Корабль». Я уже деятельно занимался собиранием материала для первого номера. Я достал стихи даже у Ходасевича и Анны Ахматовой,— рукописи их потом долго хранились у меня.

Тем временем наступило лето. Студентов распустили на каникулы, и мы с Нюмой Левиным решили ехать не откладывая.

Я запаковал весь тираж «Ушкуйников» в рогожу, нанял человека с тачкой, злополучный сборник был отвезен на Московский вокзал, называвшийся тогда Октябрьским, и сдан в багаж. Я стал готовиться к отъезду. Достал заплечный мешок на ремнях, положил в него три банки сгущенного молока, полученного папой из Ара, чистую рубаху и полбуханки хлеба; мама дала мне немного денег на путевые расходы — миллионов двадцать. Снаряженный таким образом, я пошел на квартиру к Нюме Левину, чтобы отправиться с ним на поезде.

Однако в тот день уехать не удалось, потому что Нюма сказал, что дядя его достал билеты не на сегодня, а на завтра. Он раскрыл бумажник и дал мне мой билет. Один день — не расчет, и задержка меня не огорчила. Провожая меня в прихожей, Нюма спросил:

— У вас есть какие-нибудь деньги?

Я показал ему двадцать миллионов.

— Одолжите мне их до завтра,— сказал Нюма.— Мы завтра поедем вместе, и в поезде я вам отдам.

Я дал ему все свои деньги и пошел домой.

На другой день в тот же час я опять был у Нюмы Левина. Он жил очень близко от вокзала, и мы вышли из его квартиры минут за двадцать до отхода поезда. На улице я заметил, что у него нет никакого багажа. Отправляясь в Москву, он даже кепки не надел.

— Я ничего не хочу с собой таскать,— ответил он на мой удивленный вопрос.— В Москве у моих родственников все найдется.

В вагон мы вошли за пять минут до третьего звонка. Нюма, как человек более опытный, сразу нашел мою полку и показал мне. Я снял заплечный мешок и сел.

— А где ваша полка?— спросил я.

— В том конце вагона,— ответил Нюма.

Но он не пошел ее разыскивать, а продолжал стоять передо мной, чего-то ожидая.

Поезд вздрогнул и медленно двинулся. Нюма вдруг кивнул мне и быстро пошел к выходу. Только тут я заподозрил что-то неладное. Я побежал за ним и догнал на площадке:

— Нюма!..

Он обернулся, но не взглянул мне в глаза. Лоб у него был в поту.

— Я не еду,— сказал он.

И на ходу соскочил с поезда.

Я растерялся. Пока я размышлял, прыгать ли мне за ним, поезд пошел так быстро, что прыгнуть было уже невозможно. Я вернулся в вагон, сел на лавку и стал думать о своем положении.

Положение мое казалось мне ужасным. Во-первых, Нюма не вернул мне моих денег и у меня не было ни одной копейки. Во-вторых, в Москве я не знал ни одного человека и мне негде было остановиться. С горя я съел банку сгущенного молока с хлебом и заснул.

В Москве было солнечно и очень жарко. Не зная, что предпринять, я спросил, где центр, и медленно побрел по Мясницкой. У меня не было даже несчастных двухсот пятидесяти тысяч на трамвайный билет. Да и куда ехать? Я прошел Мясницкую, Кузнецкий мост, Тверскую, заходя в книжные магазины. У меня с собой был один экземпляр «Ушкуйников», я показывал его магазинщикам

и спрашивал, сколько экземпляров такой книжки они могли бы купить у меня. Очень скоро мне стало ясно, что все книжные магазины Москвы не взяли бы у меня и пятидесяти экземпляров. Так что все зря,— расплатиться с типографией не было надежды. Да и пятьюдесятью экземплярами я не мог располагать, потому что по своей багажной квитанции я должен был получить весь свой груз целиком, а что мне с ним делать, когда у меня не было денег даже на то, чтобы сдать его в камеру хранения. У меня не было денег даже на телеграмму маме, даже на почтовую открытку.

Днем на бульварной скамейке я пообедал — сгущенным молоком с хлебом. Жара стояла изнурительная, от сладкого сгущенного молока меня тошнило, хотелось пить. Я уже не искал книжных магазинов, а бесцельно бродил по бульварному кольцу из конца в конец. Долгий жаркий день погас. Я присел на скамейку на Тверском бульваре и провел на ней всю ночь.

Я дремал сидя. Бульвар постепенно пустел. Дольше всех на бульваре оставались проститутки. Они ходили мимо меня взад и вперед, как солдаты на часах,— до фонаря и обратно. Когда они поворачивались под фонарем, серьги их вспыхивали.

Перед рассветом стало холодно, и мне захотелось есть. Я опустошил третью банку сгущенного молока и швырнул ее в траву. Я доел свой хлеб. Потом положил под голову пустой мешок, растянулся на скамейке и заснул крепчайшим сном.

Проснулся я, когда солнце плыло уже высоко над крышами, почувствовав, что кто-то пристально смотрит мне в лицо. Я открыл глаза. Надо мной стоял Осип Эмильевич Мандельштам, тревожно и внимательно разглядывая меня.

Оказалось, я, сам того не зная, провел ночь как раз напротив Дома Герцена (Тверской бульвар, 25), тогдашнего литературного центра Москвы, где в левом флигеле занимал в то время комнату Мандельштам.

Несмотря на то что Осип Эмильевич знал меня довольно мало и отношения его с нашей семьей были довольно поверхностные, он, увидя меня спящим на бульварной скамейке, отнесся ко мне сердечно и участливо. На его расспросы я, со сна, отвечал сбивчиво и не очень вразумительно, и он повел меня в сад Дома Герцена, за палисадник, и усадил там меня рядом с собой на скамейку, в тени под липой.

Мы начали прямо со стихов — все остальное нам обоим казалось менее важным. Мандельштам читал много. Я тогда впервые услышал его стихотворение, которое начиналось:

Я по лесенке приставной
Лез на всклоченный сеновал,—
Я дышал звезд млечных трухой,
Колтуном пространства дышал...

Потом он попросил читать меня.

Я читал последние свои стихи, читал старательно и именно так, как читал он сам и все акмеисты,— т. е. подчеркивая голосом звуковую и ритмическую сторону стиха, а не смысловую. Мандельштам слушал меня внимательно, и на лице его не отражалось ни одобрения, ни порицания. Когда я кончал одно стихотворение, он кивал головой и говорил:

— Еще.

И я читал еще.

Когда я прочитал все, что мог, он сказал:

— Каким гуттаперчевым голосом эти стихи ни читай, они все равно плохие.

Это суждение его было окончательным. Никогда уже больше он не просил меня читать мои стихи.

Однако отношение его ко мне нисколько не изменилось. Все так же участливо повел он меня к себе в комнату, на второй этаж.

Комната, в которой он жил, большая и светлая, была совершенно пуста. Ни стола, ни кровати. В углу большой высокий деревянный сундук с откинутой крышкой, а у раскрытого настежь окна — один венский стул. Вот и все предметы в комнате. На подоконнике рыжей горкой лежал табак. Он предложил мне свертывать и курить.

Он расспрашивал меня о своих петроградских знакомых, и я рассказывал ему все, что знал.

Осип Эмильич отнесся к «Ушкуйникам» с полным презрением, но мой долг в 381 миллион заинтересовал и взволновал его.

— Ну, это мы сейчас уладим,— сказал он мне.— Пойдемте.

И он повел меня по раскаленным московским улицам и привел в какое-то частное контрагентство печати, помещавшееся в одной комнатке в полуподвале. Там сидели четыре нэпмана средних лет, которые, как объяснил мне

Мандельштам, открыли множество книжно-газетных ларьков по станциям железных дорог, но почти не имели товара для продажи. И они тут же купили у меня мою накладную на «Ушкуйники» и сразу же заплатили мне за нее один миллиард рублей.

Крупных купюр тогда не существовало, и весь этот миллиард с трудом запихался в мой пустой заплечный мешок. И все мои горести рухнули разом. Я мог сегодня же ехать домой и расплатиться с типографией.

О журнале «Корабль» я больше не помышлял. Можно ли издавать журнал с компаньоном, который поступил со мной так подло! А чтобы издавать его одному, было мало моего миллиарда, да и после мытарств с «Ушкуйниками» затея эта мне изрядно опротивела. Я попрощался с Мандельштамом и пошел на вокзал, таща свой миллиард за плечами.

Счастливый, шел я пешком, чтобы посмотреть Москву. На всех перекрестках стояли лотки с надписью «Моссельпром», и с этих лотков женщины в белых халатах продавали папиросы, конфеты, шоколад. «Моссельпром» был государственной торговой организацией, созданной для вытеснения частников. Из всего, что было на этих лотках, меня больше всего прельщал шоколад. В предпоследний раз я ел шоколад в 1916 году, когда отец мой, вернувшись из Англии, привез нам, детям, по плитке. В последний раз я ел шоколад в 1919 году на банкете, устроенном в Доме искусств в честь приезда Уэллса. С тех пор прошло уже около трех лет, и все это время я хранил о шоколаде смутное воспоминание как о чем-то блаженно-вкусном. Теперь я мог себе позволить есть шоколад. На каждом перекрестке я останавливался, закидывал руку себе за спину, на ощупь вытаскивал из мешка несколько миллионов и покупал плитку шоколада с орехами. Я съедал ее до следующего перекрестка и там покупал себе новую. Шоколад размякал от солнца и тек по пальцам, но от этого казался мне не менее прекрасным. Так я дошел до вокзала. Ночью я спокойно спал в вагоне, положив голову на свой миллиард. На другой день я получил в типографии квитанцию в уплате долга. Авторам «Ушкуйников» я, к величайшему их удивлению, выдал гонорар. Остальные деньги отдал матери.

Потом я встречался с Мандельштамом на протяжении еще пятнадцати лет. Он то пропадал на многие месяцы и даже годы из моего поля зрения, то возникал опять.

У него никогда не было не только никакого имущества, но и постоянной оседлости,— он вел бродячий образ жизни. Он приезжал с женой в какой-нибудь город, жил там несколько месяцев у своих поклонников, любителей поэзии, до тех пор пока не надоедал им, и ехал в какое-нибудь другое место. Так живал он в Тбилиси, в Эривани, в Ростове, в Перми. Конечно, немало жил он и в Москве. Не раз приезжал он и в Ленинград. Я встречался с ним главным образом в Ленинграде.

О нем всегда ходило множество анекдотов, повествовавших, как он присваивал себе в разных домах разные мелкие и малоценные вещи и как он занимал деньги без отдачи. ⟨...⟩

Все эти и подобные анекдоты свидетельствовали вовсе не о стремлении Мандельштама к обладанию чем бы то ни было, а о совсем обратном: о полном равнодушии к любому имуществу. Он вспоминал о предмете только тогда, когда этот предмет становился ему необходимым. Ему понадобилось мыло, и он взял его там, где увидел.

Миша Слонимский рассказывал мне, как Мандельштам, зайдя на несколько минут к нему в комнату, забыл у него свой паек — хлеб и крупу. Миша берег этот паек несколько дней, уверенный, что Мандельштам спохватится и вернется. Но Мандельштам не приходил, и хлеб уже начал плесневеть. Тогда Миша понес паек к Мандельштаму. Мандельштам удивился от всей души.

— Я не зашел, потому что не сомневался, что вы сразу же все съели,— объяснил он.

Так же относился он и к деньгам. Он всегда был крайне беден и каждый день в обеденный час начинал думать о том, где бы достать несколько рублей, чтобы пообедать. И эти рубли он брал у любого встречного, где приходилось. Долгов же он не отдавал никогда,— просто потому, что если в руки ему попадали деньги, они были ему остро необходимы все для той же цели — сегодня пообедать.

Рассказывали про него и такой случай. Однажды Ленинградский Дом ученых постановил выдавать на похороны каждого своего члена, в случае смерти, пособие в размере 150 рублей и вывесил об этом объявление. Мандельштам почему-то был членом Дома ученых, хотя никакими науками никогда не занимался. Прочитав объявление, он явился в канцелярию Дома ученых и попросил выдать ему сто рублей, предлагая дать расписку, что после его смерти

его наследники будут просить на похороны только пятьдесят.

— Деньги гораздо нужнее живому, чем мертвому,— сказал он.

Помню, Бенедикт Лившиц с возмущением рассказывал мне, как Мандельштам присвоил причитавшийся ему гонорар. Он попытался по этому поводу объясняться с Мандельштамом, но Мандельштам не только не признал себя виновным, но страшно обиделся, хотя действительно взял в издательстве деньги Лившица и вовсе не собирался их возвращать. Дело было так: Мандельштам и Лившиц, два старых друга, подрядились для московского издательства «Земля и Фабрика» отредактировать собрание сочинений Вальтера Скотта и заключили на этот труд совместный договор. Все это, конечно, был только предлог для получения денег, так как ни тот, ни другой английского языка не знал и Скотта редактировать не мог. Они просто расклеивали старые переводы и кое-где наугад меняли некоторые фразы. В процессе этой работы между ними образовались сложные расчеты, подробностей которых издательство не знало. И Мандельштам, живший в то время в Москве и имевший возможность посещать издательство гораздо чаще, чем Лившиц, живший в Ленинграде, получил не только все деньги, причитавшиеся ему самому, но и часть денег, причитавшихся Лившицу. Характерно, что в результате всей этой истории не Лившиц обиделся на Мандельштама, а Мандельштам на Лившица. И обиделся совершенно искренне. Постоянно нуждаясь в деньгах, он в то же время от души презирал деньги и возмущался, когда люди придавали денежным расчетам какое-нибудь значение.

Вообще он был полон чувства собственного достоинства и самоуважения и очень обидчив. Обижаясь, он по-петушиному задирал маленькую свою голову с перышками редеющих волос, выставлял вперед острый кадык на тощей, плохо бритой шее и начинал говорить об оскорбленной чести совершенно в старoофицерском духе. Чтобы яснее стало это его свойство, я расскажу о его столкновении с писателем Сергеем Бородиным в конце двадцатых годов.

Сергей Бородин, в те давние молодые свои годы подписывавшийся псевдонимом Саргиджан, жил, как и Мандельштам, в Доме Герцена на Тверском бульваре. Мандельштама он знал мало, и поэтому, когда Мандельштам попросил у него взаймы пятьдесят рублей, он полагал, что через

несколько дней получит свои деньги назад. Однако дни шли за днями, а Мандельштам денег не возвращал. Это сердило Бородина, и он, несколько раз встречая Мандельштама, напоминал ему о долге. Наконец, потеряв терпение, он пошел к Мандельштаму объясняться.

Он явился к нему в комнату, но застал одну Надежду Яковлевну. Она объяснила, что мужа нет дома. Бородин, сначала спокойно, а потом все более и более раздражаясь, стал требовать у нее свои пятьдесят рублей. Надежда Яковлевна сказала, что ничего об этих деньгах не знает и что ему следует говорить не с ней, а с Осипом Эмильевичем. Однако Бородин, все более сердясь и повышая голос, не уходил и требовал денег.

В эту минуту в комнату вошел Мандельштам.

Он сразу же запальчиво накинулся на Бородина и потребовал, чтобы тот перестал оскорблять его жену. А Бородин потребовал пятьдесят рублей. Мандельштам и слышать не хотел ни о каких деньгах, он говорил все громче, что Надежда Яковлевна оскорблена, и настаивал, чтобы Бородин немедленно удалился. Бородин уходить без денег не собирался. Страсти накалялись. Кончилось это дракой. Два умных человека — плотный коротенький Бородин и сухопарый Мандельштам — тузили друг друга, а Надежда Яковлевна кричала. Окно в садик Дома Герцена было открыто, прибежали люди и растащили дерущихся.

Это глупое происшествие имело длинное продолжение. В Доме Герцена был устроен товарищеский суд над Бородиным и Мандельштамом. На разбирательстве дела присутствовало человек триста. Председателем суда и главным судьей выбрали Алексея Николаевича Толстого.

Начали с выслушивания объяснений обвиняемых. Бородин заявил, что он знать ничего не знает, что он никого не оскорблял, что не он начал драку, и просил суд заставить Мандельштама вернуть ему пятьдесят рублей. Мандельштам в своих объяснениях ничего не говорил о пятидесяти рублях, считая их несущественной мелочью, не имеющей никакого отношения к делу. Запальчиво и обидчиво он кричал об оскорблении, нанесенном его жене. Он объявил, что, если суд строжайшим образом не покарает Бородина, он будет считать председателя суда таким же оскорбителем Надежды Яковлевны, как самого Бородина.

Алексей Толстой старался вести дело к примирению. Возможно, он и достиг бы этого, если бы не присущее ему чувство юмора. Он несколько раз мягко пошутил, показав

тем самым, что считает все происшествие крайне незначительным. Мандельштам, торжественно относившийся к вопросам чести, счел это новым оскорблением. Он заявил, что за оскорбление, нанесенное ему председателем суда, он расплатится, как найдет нужным. И, высоко задрав голову, вместе с женой покинул заседание.

Месяца через два, в Ленинграде, он дал Алексею Толстому пощечину. Случилось это в Издательстве писателей, в бухгалтерии, в платежный день. Издательство писателей помещалось в Гостином дворе, и его бухгалтерия занимала небольшую комнату, густо заставленную конторскими столами. В платежный день там было полно. Алексей Толстой, рослый, грузный, в пышной шубе и потому занимавший очень много места, расписывался, склонясь, в гонорарной ведомости. Мандельштам подошел к нему сзади и ударил его по правой щеке. В истории пощечин это была первая и единственная пощечина, нанесенная сзади.

На этом вся цепь нелепостей кончилась, потому что Толстой отнесся к происшедшему со спокойствием умного человека[1].

Когда в 1913 году Мандельштам написал: «Самолюбивый, скромный пешеход — чудак Евгений — бедности стыдится, бензин глотает и судьбу клянет!» — он изобразил самого себя. Это он и был всю жизнь самолюбивым пешеходом. Он вырос в императорском Петербурге среди военных парадов и карет с гербами, но отец его был мелкий торговец кожей, и ни к парадам, ни к гербам маленький Осип не имел никакого отношения. Он правдиво и точно написал об этом в стихотворении двадцатых годов «Лэди Годива»:

С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья,
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобью.

С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевой
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.

---

[1] Конечно, Н. Чуковский не присутствовал при объяснении Бородина с Надеждой Яковлевной и при разборе дела. Но следует помнить, как это оговорено в предисловии к книге, не все, о чем расказывает автор, может быть подтверждено документально, многое является плодом художественного воображения. Анекдотам о Мандельштаме не всегда нужно верить: они передавались из уст в уста и обрастали преувеличениями.— *Сост.*

Литературную деятельность он начал вместе с акмеистами — поэтической школой, наиболее отчетливо выражавшей эстетические взгляды господствующих классов предреволюционной России. Но он всегда болезненно и самолюбиво ощущал свою несопряженность с окружавшим его миром. В отличие от многих своих друзей, он приветствовал Октябрьскую революцию. Революция казалась ему страшной, грозной, но великой и достойной прославления. И он прославил ее.

Прославим, братья, сумерки свободы,
Великий сумеречный год.
В кипящие ночные воды
Опущен грузный лес тенет;
Восходишь ты в глухие годы —
О солнце, судия, народ.

Прославим власти роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет.
. . . .
Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть, тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.

Мы в легионы боевые
Связали ласточек — и вот
Не видно солнца; вся стихия
Щебечет, движется, живет;
Сквозь сети — сумерки густые
Не видно солнца и земля плывет.

Ну, что ж, попробуем; огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи.
Как плугом океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

Но он оказался так же мало сопряжен с миром революционным, как и с миром минувшим. Он был несопрягаем ни с каким бытом, ни с каким общественным укладом, ни с какой государственностью. Он понимал это и называл себя «разночинцем».

Мы разночинцы,
Мы все умрем, как пехотинцы,—

писал он в одном из своих поздних стихотворений. В этих словах была и горечь, и гордость. В одной из своих статей

он писал, что ему, как разночинцу, чужды сочинения, основанные на семейных преданиях вроде аксаковского «Детства Багрова-внука», потому что у разночинца нет семейных преданий, нет никакого прошлого, кроме книг, которые он прочел.

Я — трамвайная вишенка страшной поры,—

написал он о себе вскоре после окончания гражданской войны.

Стихи свои ему удавалось печатать редко. В 1928 году он выпустил сборник «Стихотворения». Тираж этой книжки — 2000 экземпляров. В тридцатые годы он напечатал в журнале «Звезда» цикл изумительных стихотворений об Армении. Стихи его усердно переписывались и заучивались наизусть любителями поэзии, но в печати откликов не получали. Читатели его любили страстно, но это были читатели только из среды наиболее образованных слоев интеллигенции. Слишком большие требования к поэтической культуре читателя предъявлял его стих. Как многие русские поэты первой трети двадцатого столетия, он был лишен величайшего счастья — говорить сложным и мудрым языком подлинной поэзии и в то же время быть народным, быть любимым и понимаемым миллионами русских людей. Это счастье в указанную эпоху оказалось доступным только двум поэтам — Блоку и Маяковскому. Мандельштам был великий русский поэт для узенького интеллигентского круга. Он станет народным только в тот неизбежный час, когда весь народ станет интеллигенцией.

В последнее десятилетие своей жизни он внешне уже нисколько не походил на Пушкина. В 1928 году Горький вернулся в СССР; ленинградские писатели по инициативе Федина решили в его честь своими силами разыграть пьесу «На дне». Федин пригласил принять участие в этой затее и Мандельштама, жившего тогда в Ленинграде.

— А разве там есть роль сорокалетнего еврея?— спросил его Мандельштам.

Он был дурно одет — в одежду с чужого плеча — и потерял почти все зубы. Он вставил себе новые зубы — на золотых штифтах,— но вставленные зубы скоро выпали, а штифты остались и покривились.

— У него во рту — индустриальный пейзаж,— говорил мой друг Валя Стенич, страстный поклонник стихов Мандельштама.

Куря, Осип Эмильевич обычно не пользовался пепельницей; пепел с папиросы он стряхивал себе за спину через левое плечо. И на левом плече его всегда собиралась горка пепла. Портился его характер, росла обидчивость, он все чаще находился в нервном, тревожном состоянии духа. Помню, я навестил его как-то летом, когда он жил в Царском Селе. Он поразил меня своей нервностью, душевной угнетенностью. Он очень много говорил, то вскакивал, то садился; иногда он вдруг опускал голову на стол и когда поднимал ее, в глазах его стояли слезы.

В тридцать пятом или тридцать шестом году, осенью, в дождь, я как-то возвращался из Москвы в Ленинград. На Ленинградском вокзале в Москве я увидел Мандельштама, сидевшего рядом с женой на потертом чемодане. Чемодан был маленький, и, затерянные в огромном зале, они сидели, тесно прижавшись друг к другу, как два воробья. Я подошел к ним, и в глазах Мандельштама блеснула надежда. Он спросил, каким поездом я еду. Я ехал «Стрелой».

— А мы на час позже,— сказал он.— Мы пошли бы посидеть в ресторан, но...

Я понял его и дал ему пятьдесят рублей.

В наступившие вскоре страшные времена он написал стихотворение, полное удивительного человеческого достоинства:

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай же меня, словно шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей,

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первозданной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
Где сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

Но выслали его поначалу не в Сибирь, а только в Воронеж. Выслали его без всякой вины, а просто так, потому что он был

Как беззаконная комета
Среди расчисленных светил.

Он, постоянно кочевавший из города в город, мог бы жить и в Воронеже, но беда заключалась в том, что там у него не было никаких средств к существованию. Пользуясь слабостью надзора, гонимый голодом и тоской, он несколько раз сбегал оттуда в Москву и однажды добрался даже до Ленинграда. Тут я видел его в последний раз в жизни.

Днем мне позвонил мой друг Стенич и попросил вечером прийти к нему. Жил он тогда на Канале Грибоедова, 9, в маленькой двухкомнатной квартирке. Там я застал кроме Стенича и его жены Мандельштама с Надеждой Яковлевной и Анну Андреевну Ахматову. Мандельштам был в мохнатом темно-сером пиджаке, который ему за час перед тем подарил Юрий Павлович Герман. Пиджак этот был очень велик и широк Мандельштаму, из длинных рукавов торчали только кончики пальцев. Поначалу Мандельштам был молчалив и угрюм, да и все молчали. Стенич сделал попытку почитать стихи из только что тогда вышедшей «Второй книги стихов» Заболоцкого; он читал, восхищаясь, но Ахматова слушала сдержанно, а Мандельштам, со свойственной ему прямотой, сказал, что ему не нравятся ни прежние стихи Заболоцкого, ни новые. Он стал просить Анну Андреевну почитать что-нибудь. Она неохотно и без подъема прочла «Мне от бабушки-татарки были редкостью подарки» — стихотворение, которое мы все хорошо знали. Хозяева повели нас в соседнюю комнату к столу. Стол был не роскошен, но на нем стояло несколько бутылок красного вина.

Выпив вина, Мандельштам оживился. Мы попросили его читать стихи, и он читал много, увлеченно, всю долгую угрюмую ленинградскую ночь напролет, все больше и больше одушевляясь. Он почти пел их, наслаждаясь каждым звуком, и мохнатые рукава его, как мягкие ласты, плыли в воздухе над столом.

На другой день он уехал. Через неделю Стенич был арестован. Потом был арестован и Мандельштам. Оба они погибли.

А я навсегда запомнил одно из его стихотворений, которое он читал нам в ту ночь у Стенича:

Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант,
Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант,

И всласть с утра до вечера,
Заученную вхруст,
Одну сонату вечную
Играл он наизусть.

Что, Александр Герцович,
На улице темно?
Брось, Александр Сердцевич,
Чего там! Все равно.

Пускай там итальяночка,
Покуда снег хрустит,
На узеньких на саночках
За Шубертом летит.

Нам с музыкой, голубою,
Не страшно умереть.
А там вороньей шубою
На вешалке висеть.

Все, Александр Герцович,
Заверчено давно,
Брось, Александр Скерцович,
Чего там... Все равно.

БОГОБОРЕЦ

Никогда за всю историю нашей страны не было в ней столько чудаков, как в первые годы революции.

В эту эпоху великого перелома для множества людей рухнули привычные, издавна установленные нормы морали, мышления, быта, все прежние верования превратились в суеверия. А новое складывалось медленно, и для слишком многих смысл его был еще неясен и чужд. Так после взрыва долго еще стоит в воздухе пыль, медленно оседая, и отдельные пылинки, никак между собою не связанные и ни к чему не прикрепленные, выделывают самые причудливые пируэты. Не знаю, правильно ли мое объяснение, но как бы то ни было отрочество мое и юность прошли в окружении множества всяческих чудаков.

К разного рода чудачеству относились тогда вполне благосклонно. Терпели даже злых чудаков,— которых, впрочем, было гораздо меньше, чем добрых. Художественная интеллигенция тех времен склонна была рассматривать чудачество как особо ценную эстетическую категорию. Чудачеством в той или иной степени отмечены работы многих деятелей искусств того времени. Разве не сплошным чудачеством было, например, все, что делал и писал Велимир Хлебников, Председатель Земного Шара? Разве весь русский футуризм, возникший перед первой мировой войной и доживший до середины двадцатых годов, не воспринимался прежде всего как чудачество? Разве мало чудачества было в постановках Мейерхольда? А имажинисты, ничевоки? А художники тех лет — чудачество на чудачестве! Виктор Шкловский в 1920 году провозгласил теорию «остранения», суть которой заключалась в том, что всякое произведение искусства, для того чтобы оно воспринималось художественно, должно быть странным. Все не странное казалось банальным, мещанским, обывательским. Только чудаческое, эксцентрическое признавалось новым и

революционным. Советское киноискусство, едва родившись, тоже начало с того, что провозгласило эксцентризм основным своим принципом. Двое юных талантливейших кинорежиссеров, Козинцев и Трауберг, столько сделавших впоследствии для развития советского кино, основали группу ФЭКС — «Фабрику эксцентризма» — и выпускали фильмы, полные самых причудливых нелепостей.

Все эти воззрения были чужды народным массам, делавшим революцию и создававшим советский общественный строй. Но значительная часть интеллигенции была охвачена ими, причем в большей мере именно та часть которая сочувствовала Октябрьской революции и стремилась служить ей. Сейчас это уже давно умерло, и у новых поколений не вызывает ничего, кроме удивления. Сейчас все это кажется нагромождением бессмыслиц, а между тем в этих бессмыслицах был смысл. В чудачествах, странностях, нелепостях выражалась потребность интеллигенции рассчитаться со своим прошлым — эстетским или либерально-буржуазным. Это был метод расчистки для постройки нового, метод наивный и неправильный логически, но органичный и для многих необходимый. К 1930 году все стало на место, пыль, поднятая взрывом, улеглась, и волна чудачества схлынула. В русской поэзии последним всплеском этой волны была первая книжка стихов Заболоцкого «Столбцы», вышедшая в 1929 году.

Но, когда я вспоминаю чудаков тех времен, мне прежде всего приходят в голову вовсе не деятели искусства. Явление это было куда шире. Мне прежде всего вспоминается Моисей Карцов, он же дядя Миша, он же Милицейский Глаз, неистовый безбожник, редактор-издатель газеты «Вавилонская башня».

На публичных диспутах о существовании бога между Луначарским и протоиереем Александром Введенским самым пламенным оратором на стороне атеистов неизменно выступал дядя Миша, небольшого роста человек, средних лет, с испитым подвижным лицом, убого одетый. Говорил он на превосходном народном русском языке, и только по торопливости и неудержимой страстности речи можно было догадаться, что он еврей. Он поражал слушателей силой своей ненависти к религиям, попам и раввинам. Аргументация у него была самодельная, с антирелигиозной литературой он был мало знаком, и научные доводы, приводимые Луначарским, почти его не занимали, так как в школьном смысле он был человеком глубоко невежественным. Доводы

у него были другие — морального и бытового свойства. Он обличал попов и монахов, как обличали их в эпоху Возрождения,— за чревоугодие, сребролюбие и любострастие. Лицемерие деятелей церкви — вот что разоблачал он непрестанно с пылкостью лично оскорбленного человека. Он поражал церковников замечательным знанием церковного ритуала, священного писания и монастырских нравов. Он знал наизусть и талмуд, и евангелие. Для него атеизм, который он исповедовал, был прежде всего религией, и он не говорил, а проповедовал, как библейский пророк. Речи его особенно доходили как раз до тех слушателей, на которых научная аргументация Луначарского воздействовала слабо. У Карцова было много приверженцев, которых он гордо именовал: «мои поклонники». Когда Луначарский перестал участвовать в подобных диспутах, Карцов стал организовывать их сам. Протоиерей Введенский, стремившийся к популярности будущий основатель Живой церкви, тоже, по-видимому, был в них заинтересован, и по Петрограду расклеивались афиши, в которых сообщалось, что «дядя Миша» будет спорить с отцом Александром о том, есть ли Бог. Каждый приходил с толпой своих сторонников, и начиналась неистовая словесная битва, потрясавшая сердца.

Моисей Карцов родился в Житомире, учился в хедере и до военной службы почти не знал русского языка. Детство его прошло при синагоге, во мраке угрюмого средневекового юдаизма. Попав в солдаты, он впервые столкнулся с русскими людьми. Служил он в самом начале века, еще до русско-японской войны. Там, в казарме, он не только научился русскому языку, русской грамоте, но и по собственному побуждению принял православие. Это был глубочайший духовный переворот, охвативший его с такой силой, что, отслужив положенное число лет и выйдя в запас, он тотчас же постригся в монахи. Лет десять, монахом, жил он по разным монастырям и лаврам, веря, что отыскал истину. Потом его начали мучить сомнения. Перед революцией он окончательно пришел к убеждению, что церковь существует для обмана и грабежа и что Бога — нет. Революцию — и февральскую, и Октябрьскую — он встретил восторженно и весь отдался антирелигиозной пропаганде.

Служил он писарем в Управлении петроградской милиции. Он не имел ни малейшего служебного честолюбия и к потребностям плоти своей в одежде и пище относился

с суровым монашеским пренебрежением. Управление петроградской милиции в годы гражданской войны издавало удивительный ведомственный журнальчик, который я теперь очень хотел бы посмотреть. Журнальчик этот назывался «Горохр», что значит Городская охрана, и сотрудничали в нем Блок, мой отец, Алексей Ремизов, Анна Ахматова. Гонорар выплачивался милицейским хлебным пайком. Карцов был рабкором этого журнала. Рабкорствовал он и в «Красной газете», подписывая свои заметки псевдонимом Милицейский глаз. Заметки эти, полные торжественного библейского негодования, посвящены были все тому же: жульничествам попов и проделкам кладбищенских сторожей. Через редакцию журнала «Горохр» он познакомился с некоторыми литераторами и стал изредка посещать Дом искусств, Студию. Там, разумеется, все было для него чуждо, и он остался для всех чужд и неинтересен. Там и своих чудаков хватало. Один только я почему-то сошелся с ним, и мы не раз бродили вдвоем по петроградским улицам.

Мы не беседовали, говорил он один,— он был способен только к монологам. Он рассказал мне всю свою жизнь, почти не касаясь ее внешней стороны, а только внутреннюю — историю своих духовных переворотов. Он был когда-то правоверным евреем, потом православным, теперь — революционером и атеистом. Но в революции его интересовало только безбожие, и атеизм его носил, в сущности, религиозный характер. Он считал, что дьявол, искушая Христа, был прав. Об этом он мог говорить часами, и речи его напоминали одновременно и Экклезиаста, и «Братьев Карамазовых», которых он никогда не читал.

Не то в двадцатом, не то в двадцать первом году он начал издавать газету «Вавилонская башня». Это название было полно смысла,— согласно Библии, люди строили Вавилонскую башню для того, чтобы влезть на небо и ниспровергнуть бога. Газета была большая, на четырех полосах, и всю ее от начала до конца Карцов писал один. У него не было никаких сотрудников, никакие общественные или государственные организации ему не помогали. Набирали и печатали его газету — в нескольких сотнях экземпляров — его «поклонники» — наборщики какой-нибудь национализированной типографии, разделявшие взгляды Карцова. Впрочем, побуждения у них были не только идейные — Карцов отдавал им всю выручку от номеров «Вавилонской башни».

Распространял он свою газету тоже сам — без помощи почты, газетчиков, контрагентств печати. Помню, как в ноябрьский денек двадцать первого года стоял он под мокрым снегом на углу Невского и Литейного. На голове у него была большая фуражка, широкий околышек которой был заклеен крупнонабранным газетным заголовком: «Вавилонская башня». У него была кипа «Вавилонских башен» под мышкой, и он предлагал их каждому прохожему.

Газета просуществовала примерно год, и за это время ему удалось выпустить номеров пятнадцать. Номера эти читались охотно, потому что статьи и заметки в них написаны были страстно, одной рукой, били в одну точку и посвящены были темам, волновавшим тогда очень многих: вскрытию мощей, разоблачению чудес, творимых чудотворными иконами, сектантским радениям и поповским плутням. И погибла «Вавилонская башня» благодаря тому, что Карцов вздумал однажды этим темам изменить.

Я уже говорил, что Карцов посещал Дом искусств и встречался там с литераторами. Между ним и тогдашними литераторами-интеллигентами не было ничего общего — вся его проповедь была предназначена не для них, и произведений их он не читал. Но его тянуло к ним, потому что в нем, человеке малокультурном и никогда не знавшем культурной среды, жило уважение к культуре. Но сколько-нибудь близко ему удалось сойтись только с одним литератором — с Акимом Волынским.

Так же как и Карцов, Аким Львович Волынский был родом из Житомира. Этим ограничивалось все, что их объединяло. Между их интересами не было ни малейшего сходства. Волынский писал о Леонардо да Винчи, потом о Толстом и Достоевском. Прославлял художников из группы «Мир искусства». После революции все его внимание было сосредоточено на русском классическом балете. Карцов не имел ни малейшего представления ни о Леонардо да Винчи, ни о Толстом, ни о Достоевском, ни о «Мире искусства», ни о балете. Он проникся к Волынскому горячей симпатией только потому, что тот был его земляк. И эта симпатия погубила его газету.

В годы гражданской войны Волынскому почти не удавалось печататься. А он был весьма плодовит. И ему удалось убедить Карцова заполнить один из номеров «Вавилонской башни» его статьями о балете.

У меня был этот удивительный номер. Волынский

писал витиевато и пышно, и в этом пышнословии, говоря по правде, и заключалась вся суть его статей. Тут были и «дионисизм», и «вакханалии», и «менады», и «эрос», и «лотос», и «флейта Марсия», и «бездна вверху и бездна внизу» — весь тот набор слов, которым пользовались авторы статей в журнале «Золотое руно». Карцов не нашел покупателей для этого номера и не мог расплатиться с типографией. И «Вавилонская башня» перестала выходить.

Разумеется, она очень скоро перестала бы существовать и без статей Волынского. Просто потому, что менялось время. Кончилась гражданская война, начался нэп. Новые формы принимала жизнь, все менялось — постепенно, но довольно быстро. Партизанщина становилась невозможной ни в области антирелигиозной пропаганды, ни в области печати. И Моисей Карцов, наивный самодеятельный мудрец, до всего доходящий своим умом и все делающий по-своему, был уже неприменим в новых условиях, потерялся и исчез.

В последний раз я видел его в самом начале 1922 года. Я уже рассказывал, что в это время я был обуреваем мечтами об издательской деятельности. Я искал связей с типографиями и вспомнил о наборщиках, набиравших «Вавилонскую башню». Познакомить меня с ними мог только Карцов. И я отправился искать Карцова.

Не помню, как я узнал его адрес. Он жил в одном из переулков между Знаменской и Литейным. Я вошел под арку и встретил его во дворе. Угрюмый, постаревший, он нес под мышкой перевязанный бечевкой сверток рогож. Хмуро глядя на меня снизу вверх, он объяснил, что уже не служит в милиции, а торгует рогожами на Мальцевском рынке. По-видимому, мое посещение не доставило ему удовольствия. Однако, узнав, что я пришел по делу, он повел меня к себе.

Жил он с семьей в бывшей дворницкой. Вход в комнатенку был прямо со двора. Нищета, которую я там обнаружил, поражала даже в те годы всеобщей поголовной нищеты. Два сломанных стула, деревянная лавка, стол, ничем не покрытый, и куча тряпья в углу, служившая ложем для всей семьи. Жена Карцова стирала, склонясь над деревянным корытом и плеща мыльную воду по некрашеным разъехавшимся половицам. Это была тощая женщина с изможденным русским крестьянским лицом, по-видимому, еще молодая, но уже пожелтевшая и увядшая. Приход мой не обрадовал ее нисколько,— когда я поздо-

ровался, она на мгновение подняла лицо от корыта и раздраженно взглянула на меня и на мужа.

— Моя поклонница,— представил ее мне Карцов.— В церкви не венчаны.

Возле стола стояли две девочки лет пяти-семи, стриженные под машинку, убого одетые, в дырявых чулках. На столе лежала форма черного хлеба, девочки отрывали от нее куски и торопливо жевали. Их голубенькие глаза смотрели на меня и на отца с испугом.

Я изложил свое дело и сразу понял, что пришел напрасно. Никаких связей с типографиями у Карцова уже не было. Жизнь его была загнана в узенькую колею нищенских забот о пропитании. Торговля рогожами была, видимо, скорее мечтой, чем делом, потому что он объяснил мне, что тот черный хлеб, который лежит на столе, не куплен за деньги, а подарен ему частником-хлебопеком.

— Он мой поклонник,— сказал мне Карцов горделиво.— Каждый день дает мне бесплатно одну буханку.

Я ушел и больше никогда его не видел.

КОНСТАНТИН ВАГИНОВ

Константин Константинович Вагинов был один из самых умных, добрых и благородных людей, которых я встречал в своей жизни. И возможно, один из самых даровитых. То, что он писал, было в свое время известно только очень узкому кругу, а сейчас неизвестно никому. Виною этому был он сам,— он не старался быть понятым. Его не понимали даже в том небольшом петербургском литературном кружке, к которому он принадлежал. Там его считали заумником, чем-то вроде Хлебникова, хотя он в действительности был глубоко чужд всякой зауми и все, что он писал, было полно смысла и разума. Он просто чувствовал себя отъединенным от всего и всех и излагал свои мысли так, что они обычно оставались понятными лишь для него одного. Не только его стихи, но и его романы представляют собой как бы криптограммы, как бы зашифрованные документы, причем ключ от шифра он не дал никому. Все это производит впечатление чудачества, хотя он вовсе не был чудаком, или, вернее, был чудаком поневоле. Ощущение отъединенности, о котором я говорил выше, коренилось в его большом, очень своеобразном уме, во врожденной замкнутости его духовной жизни, в особенностях его образования и, главное, в его судьбе.

А судьба его была сложная хотя бы уже потому, что был он сыном жандармского полковника и крупнейшего домовладельца.

В девяностые годы прошлого века его отец, тогда жандармский ротмистр Вагенгейм, служил в Сибири, в Енисейске, и там начальствовал над ссыльными. Он был лихой танцор, и ему удалось просватать первую невесту Сибири — дочь богатейшего золотопромышленника, городского головы Енисейска. Женившись и получив громадное приданое, Вагенгейм перевелся по службе в Петербург

и купил большой доходный дом позади Мариинского театра. В этом доме, в бельэтаже, в последнем году девятнадцатого столетия родился Константин Вагинов.

Вскоре сибирский дед его умер, и семья Вагенгеймов унаследовала несметные богатства. Жандармский ротмистр стал жандармским полковником и процветал вплоть до семнадцатого года. В четырнадцатом году, когда началась война с немцами, он, подобно многим другим жандармам и чиновникам немецкого происхождения, подал «на высочайшее имя» прошение об изменении фамилии на русскую. Отсюда и родилась эта нелепая фамилия — Вагинов.

В автобиографическом романе «Козлиная песнь» Константин Вагинов так описывает кабинет своего отца: «В шкафах помещались великолепные книги: приложения к «Ниве», страшнейшие романы Крыжановской, возбуждающий бессонницу граф Дракула, бесчисленный Немирович-Данченко[1], иностранная беллетристика на русском языке. Были и научные книги: «Как устранить половое бессилие», «Что нужно знать ребенку», «Трехсотлетие дома Романовых». В девять часов вечера отец облекался в форму, душился и уезжал в клуб. В соседней комнате, в гостиной, мать играла «Молитву девы».

Маленький Костя, мальчик хилый, не умеющий ни бегать, ни играть, жил на попечении денщика, накрашенной горничной Маши и гувернера. Он не бегал, не играл, все происходившее в семье было ему чуждо, и жил он исключительно умственными интересами. С десяти лет пристрастился он к нумизматике — коллекционированию старинных монет. Нумизматика привела его к археологии, к изучению древней и средневековой истории. История привела его к поэзии.

Вот как в той же «Козлиной песне» он описывает свои детские походы за монетами: «После завтрака будущий неизвестный поэт пошел с гувернером в банкирскую контору Копылова. Копылов издавал журнал «Старая монета». У него в конторе стояли небольшие дубовые шкафики с выдвижными полочками, обитыми синим бархатом, на бархате лежали статеры Александра Македонского, тетрадрахмы Птоломеев, золотые, серебряные динарии римских императоров, монеты Босфора Киммерийского, монеты с изображениями: Клеопатры, Зенобии, Иисуса, мифологи-

---

[1] Вас. Ив. Немирович-Данченко (1844—1936) — беллетрист, брат Вл. Ив. Немировича-Данченко.

ческих зверей, героев, храмов, треножников, трирем, пальм; монеты всевозможных оттенков, всевозможных размеров, государств — некогда сиявших, народов — некогда потрясавших мир или завоеваниями, или искусствами, или героическими личностями, или коммерческими талантами, а теперь не существующих. Гувернер сидел на кожаном диване и читал газету, мальчик рассматривал монеты. На улице темнело. Над прилавком горела лампочка под зеленым колпаком. Здесь будущий неизвестный поэт приучался к непостоянству всего существующего, к идее смерти. Вот взнесенная шеей голова Гелиоса с полуоткрытым, как бы поющим ртом. Вот храм Дианы Эфесской и голова Весты, вот несущаяся сиракузская колесница, а вот монеты варваров, жалкие подражания, на которых мифологические фигуры становятся орнаментами, вот и средневековье, прямолинейное, фантастическое, где вдруг, от какой-нибудь детали, пахнёт, сквозь иную жизнь, солнцем».

Гувернер научил маленького Вагинова французскому языку. Но тому для его занятий французского языка было мало. Двенадцати лет он увлекся эпохой Возрождения, и, для того чтобы читать в подлиннике Данте, Петрарку, Ариосто, он изучил итальянский язык.

Для семьи жандармского полковника катастрофой была не только Октябрьская революция, но даже Февральская. Перепуганный отец, ежеминутно ожидая расправы, провел лето семнадцатого года где-то в бегах. Он вернулся домой только перед самым Октябрем. Но если Февраль был для него катастрофой, так сказать, служебной, то Октябрь был для него еще и имущественной катастрофой, то есть предельной, безвыходной. Дом был национализирован, и все наследство, полученное от енисейского золотопромышленника, конфисковано до последней копейки.

Что их спасло — не знаю. Вероятно, прежде всего — случайность. И небывалый испуг.

Это были люди, задавленные страхом. Они даже не помышляли протестовать или сопротивляться. За годы гражданской войны и позже родители Вагинова не сделали ни одной попытки уехать к белым или в эмиграцию. У них было только одно стремление — забиться как можно глубже в щель, чтобы их не заметили. Они избегали не только знакомых, но и всех людей, чтобы их не могли обвинить в каких-нибудь предосудительных сношениях и разговорах. Они не пытались устроиться на работу, боясь, что их

спросят, кто они такие, и потому не получали никаких карточек. В своем бывшем громадном доме, в своей бывшей громадной квартире они занимали маленький дальний угол и почти не покидали его. Иногда мать, взяв какую-нибудь уцелевшую вещь, бежала глухими переулками на рынок — продавать. Тогда она приносила домой немного хлеба. Если на улице валялась дохлая лошадь — что случалось тогда нередко,— она, вооружившись большим ножом, подкрадывалась к ней ночью и вырезала кусок мяса. Голод терзал их, но еще больше терзал их никогда не прекращавшийся страх.

Между ними и их сыном не было ничего общего. Он жил с ними, он разделял с ними все их невзгоды, разделял даже их страх, но к тому, что происходило вокруг,— к Революции — он относился совсем иначе, чем они.

Революцию он воспринимал как исполинскую катастрофу, трагическую и прекрасную в своей величавости. Как катастрофу, подобную гибели язычества и античной философии в первые века христианства. Как катастрофу, подобную гибели загнивающей Римской империи под натиском юных варварских племен, наивных, невежественных, но несущих в одряхлевший мир свою животворную кровь. Как катастрофу, несущую освобождение. И не только народу, который он представлял скопищем полудиких людей, никогда не читавших Данте и не умевших отличить рококо от барокко, но и ему самому. Разве революция не освободила его от гувернера, от гимназии, от «Молитвы девы», от ханжеской морали, от всей тупости и пошлости чиновничье-полицейской среды?

Он сразу воспользовался своим освобождением. Целые дни и целые ночи проводил он на улицах. В угрюмый угол к своим запуганным и одичавшим старикам он возвращался только когда доходил до полного изнеможения. Он бродил один по улицам пустеющего голодного города, влюбляясь в его небывалую архитектуру. Когда город пустеет, архитектура его выступает особенно отчетливо. Архитектура Петербурга своею грандиозностью и цельностью несравнима с архитектурой никакого другого города в мире. Она подчиняет своим величавым законам не только здания, но и все небо над ними, и всю воду меж ними — все, видимое взору. Великолепнейшая трагическая сцена для великолепнейшей грозной трагедии, которая развивалась у Вагинова на глазах. Как гонимый вихрем, кружил он опять и опять по проспектам и площадям, и скопища домов каза-

лись ему флотом, качаемым бурной волною. Он был свободен, но не только свободен. Он был глубочайше одинок. С побежденными он порвал все связи, победители были ему неизвестны и чужды. Во время своих ночных блужданий он познакомился с девушкой Лидой, блуждавшей по городу подобно ему, и они стали блуждать вместе. Лида была профессиональной проституткой семнадцати лет. В ней было что-то странное, какая-то неестественная возбужденность, удивлявшая и поражавшая его. Мало-помалу он узнал, что она кокаинистка.

Это взволновало его, потому что он читал книгу Де-Квинси о курильщике опиума, который своими видениями украшал и преображал мир. Она угостила его белым порошком, и он стал нюхать, потому что любил ее и ему казалось, что это сближает его с нею. Но белого порошка постоянно не хватало, его нужно было каждый день доставать. В то время на Невском, между Лиговкой и Николаевской, в подвале, была большая общественная уборная. В этой уборной по ночам собирались продавцы марафета. Каждую ночь приходил туда Вагинов с Лидой и покупал новую порцию белого порошка. За порошок нужно было платить, и он расплачивался золотыми монетами из своей нумизматической коллекции — стратерами Александра Македонского и тетрадрахмами Птоломеев. Он стал кокаинистом, не мог уже без кокаина обходиться и оправдывал свое падение теорией, что опьянение не наслаждение, а метод познания. Вот как он описывает в «Козлиной песне» одну свою ночную встречу с Лидой на Невском:

«Шел дождь, мелкий, косой. На ступеньках подъезда, разложив атласные карты, сидела Лида, прислонившись к дверям. Она дремала, полураскрыв рот. Неизвестный поэт сел рядом, посмотрел на ее девичье лицо, на тающий снег вокруг, на часы над головой, достал белое искрящееся из кармана, отвернулся к стене, особое звучание, похожее на протяжное «о», переходящее в «а», казалось ему, понеслось по улицам. Он видел — дома сузились и огромными тенями пронзили облака. Он опустил глаза — огромные красные цифры фонаря мигают на панели. Два — как змея, семь — как пальма.

Разложенные карты притягивают его глаза. Фигуры оживают и вступают с ним в неуловимое соотношение. Он быстро будит Лиду и начинает играть с ней в дурачка; пятерки карт дрожат в их руках, пока в глазах не темнеет.

Ветер мешает, они отворачиваются к стене; дождь переходит в порхающий мягкий тающий снег.

Карты ему кажутся ужасом и пустотой. Скоро начнет просыпаться город.

— В чайную, в чайную скорей! — говорит Лида.— Я совсем застыла за эту проклятую ночь! Неужели ты не мог прийти раньше и увести меня в гостиницу! Я бы проспала, как убитая! Я ведь третью ночь на улице! Нет ли у тебя денег, может быть, мы найдем пустую комнату.

— Что ты, Лида!' В пять часов все гостиницы переполнены, нас никуда не впустят!

— Тогда идем скорей, скорей в чайную! Меня мучит тоска. Боже мой, скорей, скорей идем в чайную!

Он посмотрел на ее совершенно белое лицо, на расширенные зрачки; сколько лет сидит он здесь, что означает фонарь, что знаменует собой снег?

Цветы любви, цветы дурмана...—

неожиданно запела Лида, отступив от подъезда. Проходил какой-то забулдыга; он посмотрел на них иронически. Неизвестный поэт и Лида, сквозь завесу колючего снега, пошли. Карты лежали забытые на подъезде.

Ночная чайная гремела. Проститутки в платках, в ситцевых платьях смотрели нагло и вызывающе. На бледных лицах непойманных воров мигали глаза и бегали по углам, на круглых столах стоял чай невыносимого, как заря, цвета».

В ту зиму, зиму 191. /18 года, в Петрограде еще были чайные. К весне они закрылись.

Вагинов погиб бы от кокаина, но его спасла мобилизация в Красную Армию. Красноармейцем он сражался против белополяков, потом в Сибири с Колчаком. Далеко за Уральским хребтом он заболел сыпным тифом и попал в госпиталь. После госпиталя его демобилизовали, и он вернулся к родителям в Петроград — в самую голодную пору.

Все это он описал в стихотворении «Юноша»:

Помню последнюю ночь в доме покойного детства:
Книги разбросаны, лампа лежит на полу.
В улицы я убежал, и медного солнца ресницы
Гулко упали в колкие плечи мои.
Нары. Снега. Я в толпе сермяжного войска.
В Польшу налет — и перелет на Восток.
О, как сияет китайское мертвое солнце!

Помню, о нем я мечтал в тихие ночи тоски.
Снова на родине я. Ем чечевичную кашу.
Моря Балтийского шум. Тихая поступь ветров.
Но не откроет мне дверь насурмленная Маша.
Стаи белых людей лошадь грызут при луне.

Я увидел его впервые осенью 1920 года в Студии Дома искусств на семинаре Гумилева. Небольшого роста, худой, сутулый, одет он был в красноармейскую шинель. На ногах — обмотки. Черные до блеска волосы расчесаны на косой пробор. Умное, узкое, костистое лицо с крупным носом. Несмотря на молодость (ему тогда было двадцать лет), у него не хватало многих зубов, и это очень безобразило его рот. На подбородке глубокая ямка, расположенная асимметрично и кривившая все его лицо. Гумилев и все мы, старые участники семинара, сидели, а он стоял и глуховатым твердым голосом читал свои стихи. Из-за отсутствия зубов он слегка шепелявил.

Помню, стихи мне понравились, хотя я не понял тогда в них ни слова. Они мне понравились своим звуком, в них было то, что Мандельштам называл «стихов виноградное мясо». Гумилев слушал внимательно, серьезно и, выслушав, многозначительно похвалил; однако я не сомневаюсь, что и он не понял ни слова. Остальные тоже не поняли и тоже одобрили. Была в этих стихах какая-то торжественная и трагическая нота, которая заставляла относиться к ним с уважением при всей их непонятности.

С этого дня Костя Вагинов стал посещать Студию, семинар Гумилева и сделался нашим всеобщим приятелем. Его все полюбили, да и нельзя было его не полюбить: такой он был мягкий, деликатный, вежливый, скромный и внимательный к каждому человеку. Со всей литературной молодежью он перешел на «ты». К творчеству товарищей относился он дружелюбно и доброжелательно; он всегда беспокоился, что кто-нибудь обижен, и старался поддержать и обласкать обиженного. «Количка», «Фридочка», «Алечка» называл он своих приятелей и приятельниц, и в этом не было ни малейшей фальши. Я был близок с ним четырнадцать лет, до его смерти, и знаю, что он нежно любил своих друзей. При этом он был человек насмешливый, хорошо видевший слабости и недостатки ближних; впрочем, это его свойство проявилось позднее.

К нему тоже все относились прекрасно, и в Доме искусств он скоро стал заметным явлением. Гумилев принял его в «Цех поэтов». Приняли его и в Союз поэтов. Ког-

да из семинара Гумилева организовалась «Звучащая раковина», он стал членом и «Звучащей раковины». Осенью 1921 года Сергей Колбасьев, привезенный Гумилевым из Севастополя, организовал вместе с Николаем Тихоновым группу «Островитяне». Третьим членом группы был Вагинов. Они втроем выпустили сборничек стихов «Островитяне». Я в своих «Ушкуйниках» тоже напечатал Вагинова. Печатался он и в сборниках «Цеха поэтов», и в изданиях «Звучащей раковины». Вообще он давал стихи всем, кто желал их печатать, читал их с любой эстрады и в любом доме, куда его звали. Со всеми он был ровно мягок, удивительно вежлив, уважителен, доброжелателен, но не сливался ни с кем. Всюду он стоял особняком. Он никогда не защищал никаких групповых взглядов, никому не подражал, ни под чьим влиянием не находился и писал стихи так, как будто рядом с ним не было ни Гумилева, ни Блока, ни Ахматовой, ни Маяковского, ни Мандельштама, ни Хлебникова, ни Ходасевича, ни Кузмина, ни Тихонова. Его стихов не понимали, но это нисколько его не беспокоило,— он просто не удостаивал делать их понятными.

Гумилев, любивший во всем регламентацию и относивший любого, даже самого ничтожного и безличного стихотворца к какой-нибудь школе, объявил Вагинова символистом. И Вагинов с этим соглашался, хотя с русским или, скажем, французским символизмом стихи его не имели ничего общего. Он был символистом оттого, что стихи его с помощью условных символов опирались на грандиозный всемирно-исторический миф, им самим созданный. Он писал стихи, как бы исходя из предположения, что миф этот известен всем. А между тем он никому не был известен, и мне лишь со временем не без труда удалось его разгадать.

Вагинов считал, что победа революции над старым миром подобна победе христианства над язычеством, варваров над Римской империей. Победу эту он считал благодетельной и справедливой, но, вместе с тем, и глубоко трагичной. Трагедию он видел в том, что вместе с рабовладельческим строем Римской империи погибла и античная культура.

Впрочем, в целом его миф был оптимистическим. Он полагал, что культура подобна мифологической птице Феникс, которая много раз сгорает на огне и потом возрождается из пепла, и, следовательно, бессмертна. Пример этого — возрождение культуры в конце средних веков,

в эпоху Ренессанса. Поэтому существует задача: тайно донести подлинную культуру до нового возрождения Феникса. Люди, на долю которых пало выполнение этой задачи, обречены на полное непонимание, на оторванность от всего окружающего и живут почти призрачной жизнью. Он писал:

Мы, эллинисты, здесь толпой
В листве шумящей, вдоль реки,
Порхаем, словно мотыльки.
На тонких ножках голова,
На тонких щечках синева,
Блестящ и звонок дам наряд,
Фонтаны бьют, огни горят,
За парой парою скользим,
И впереди наш танцевод
Танцует задом наперед.

Птица Феникс влекла его неудержимо. Он постоянно слышал ее зов:

От берегов на берег
Меня зовет она,
Как будто ветер блещет,
Как будто бьет волна.
И с птичьими ногами
И с голосом благим,
Одета синим светом,
Садится предо мной.

Тем местом, где культура должна была возродиться, по его убеждению, был Петербург. Он говорил:

В стране гипербореев
Есть остров Петербург,
Где музы бьют ногами,
Хотя давно мертвы.

Он утверждал, что при смене религий боги прежней религии становятся чертями новой. Так как революцию миф его рассматривал как смену религий, то он полагал, что все деятели и защитники старой культуры будут теперь в глазах новых людей чертями. «Ты в черных нас не обращай!» — молил он в одном стихотворении.

Кроме Феникса был в его мифологии еще и Филострат. Это был весьма неясный образ прекрасного античного юноши с миндалевидными глазами, кочевавший из стихотворения в стихотворение, а из стихотворений попавший и в первый роман Вагинова. В вагиновском мифе Фило-

страт — любовник Психеи, т. е. души. Это особенно отчетливо выражено в стихотворении, которое так и называется — «Психея»:

Спит брачный пир в просторном мертвом граде,
И узкое лицо целует Филострат.
За ней весна свои цветы колышет,
За ним заря, растущая заря.
И снится им обоим, что приплыли,
Хоть на плотах сквозь бурю и войну,
На ложе брачное под сению густою
В спокойный дом на берегах Невы.

Конечно, Психея — душа самого Вагинова, и поэтому иногда кажется, что образ Филострата сливается с образом автора. Тем более что Филострат был, разумеется, символом того самого подвижника-гуманиста, которому суждено втайне пронести культуру сквозь сумрак нового средневековья до счастливого мига возрождения птицы Феникс. Однако слияние это только кажущееся. Образ автора живет в произведениях Вагинова совершенно независимо от образа Филострата. Вагинов изображает себя самого в виде жалкого уродца с перепонками между пальцами шестипалых рук. В действительности он вовсе не был уродом и руки имел самые обыкновенные, но таким он входил в свой собственный миф. Изображая себя уродом, он старался выразить болезненное ощущение своего разлада с окружающим его миром, мучительного разлада, которым он тяготился чем дальше, тем больше.

Миф, созданный им в годы гражданской войны, оставался почти неизменным, но отношение его к собственному мифу резко и очень любопытно менялось. Первое изменение произошло в начале нэпа, к которому Вагинов отнесся с резкой враждебностью.

Вокруг введения нэпа — в стране, а также и в партии — шла ожесточенная борьба. Ленинское понимание нэпа как меры, необходимой для поднятия народного хозяйства и укрепления союза рабочих с крестьянами, как меры, дающей возможность перестроить ряды и вести революцию дальше, разделялось не всеми. Очень многие поняли нэп как отступление и даже как поражение социализма. Все мещанство возликовало по этому поводу и преисполнилось надежд. Оно приветствовало нэп буйно, захлебываясь от восторга. Среди людей, любивших революцию и веривших в нее, тоже было немало таких, которые приняли нэп за поражение. Эти люди страдали, негодовали, мрачно от-

носились к ближайшему будущему, тосковали по годам военного коммунизма.

Любопытно, что к числу этих людей, критиковавших нэп, так сказать, «слева», относился и Вагинов. Именно в годы нэпа проявлялась его ненависть к тупому реакционному мещанству, среди которого прошло его детство. Нищие годы гражданской войны были для него годами полнейшей духовной свободы, неприкрепленности ни к какому быту, несвязанности никакими узами. Этот мир, свободный для людей мечты, казавшийся ему грандиозным, фантастическим и прекрасным, безбытным, вдруг опять наполнился бытом, стал узеньким, маленьким. И он оплакивал происшедшую перемену:

Не лазоревый дождь,
И не буря во время ночное,
И не бездна вверху,
И не бездна внизу,
И не кажутся флотом,
Качаемым бурной волною,
Эти толпы домов
С перепуганным отблеском лиц.
Лишь у стекол герань
Заменила прежние пальмы,
И висят занавески
Вместо тяжелых портьер,
Да еще поднялись
И засели за книгу,
Чтобы стала поменьше,
Поуютнее жизнь.

Вот тут и начали появляться в его мифе первые изменения. Прежде всего в мифе — наряду с Филостратом, птицей Феникс, Психеей — возник новый персонаж — Тептелкин. Этот загадочный Тептелкин начал в вагиновских стихах вести беседы о грядущем воскресении птицы Феникс. Впрочем, Тептелкин был не вполне загадочен: в кружке друзей Вагинова скоро догадались, что это наш общий знакомый Лев Васильевич Пумпянский, литературовед, историк и философ, знаток новых и древних европейских языков, человек поразительной эрудиции.

Льва Васильевича Пумпянского я тоже знал хорошо. В течение нескольких месяцев он преподавал у нас в Тенишевском историю русской литературы, и преподавал превосходно. Потом я неоднократно слышал его доклады и выступления на разных собраниях. Это был тощий, длинный, сутуловатый человек лет около тридцати, мягкий,

кроткий, очень вежливый. Говоря, он пришепетывал и присвистывал,— впрочем, весьма приятно. Однако мягкость и кротость не мешали ему — вплоть до 1925 года — относиться к революции резко враждебно. Чтобы не произносить слово «товарищи», он все свои публичные выступления начинал словами: «Уважаемое собрание!» Через год-два после окончания школы я стал брать у него уроки французского языка. Я приходил к нему три раза в неделю, и мы читали с ним вместе «Fleurs du mal» Бодлера. Но занятия шли довольно плохо, потому что большую часть отведенного на урок времени он занимал меня разговорами о «метапсихике». «Метапсихикой» он называл особое мистическое учение — нечто среднее между теософией и спиритизмом. Он убежденно рассказывал мне, что по ночам души людей, превращаясь в «астралы», перелезают из тела в тело. Рассказывал он мне также, как с помощью метапсихической интуиции было раскрыто нашумевшее тогда уголовное дело — убийство богатой нэпманши мадам Шаскольской, владелицы магазина готового платья на Невском. Он в тот год свято верил во всю эту чепуху, хотя по-своему был человек тонкий и умный.

Пумпянский был пылким поклонником стихов Вагинова. В ненапечатанной вагиновской поэме «1925 год» Тептелкин разговаривает с Филостратом, и разговор этот безусловно передает подлинные разговоры между Пумпянским и Вагиновым. Вот что, между прочим, там говорит Тептелкин:

«Поете вы,
Как должно петь — темно и непонятно,
Игрою слов пусть назовут глупцы
Ваш стих. Вы притворяетесь
Искусно. Не правда ли,
Безумие, как средство, изобрел
Наш старый идол Гамлет».

Таков был Пумпянский до осени 1925 года. Осенью, в течение одного месяца, с ним произошел крутой поворот — он стал марксистом. Произошло это не без некоторого шума: целому ряду своих старых друзей написал он письма, в которых рассказывал о случившейся с ним перемене и просил с ним больше не знаться, потому что они идеалисты, фидеисты и мракобесы. Написаны письма эти были тоном раздраженным, в выражениях оскорбительных. Нужно сказать, что этот кроткий учтивейший человек порой и прежде писал резкие оскорбительные письма

людям, которых по своей болезненной мнительности считал своими обидчиками, хотя те и не помышляли его обижать. Но тогда поводом для писем были причины личные, а не идейные. Теперь же он проделал то же самое по идейным причинам. С непостижимой быстротой прочел он всю марксистскую литературу, и не только прочел, но и запомнил, потому что память у него была удивительная. Все дальнейшие его доклады и выступления — после идейного переворота — были переполнены цитатами из классиков марксизма. Он как-то мгновенно, без всяких переходов, превратился в готового ортодокса, в типичнейшего начетчика и цитатчика.

В вагиновский миф вошел Тептелкин, и сразу же отношение Вагинова к мифу изменилось. Прежде всего вдруг получилось так, что миф этот вовсе не вагиновский, а тептелкинский. Это Тептелкин стал проповедником идеи, что революция — новое средневековье и что заступники культуры должны укрыться в башне или в пещере, чтобы дожидаться там возрождения птицы Феникс из пепла. Это Тептелкин, а не Вагинов мечтает о том, что румынский премьер Авереску едет в Рим к Муссолини, и там эти два вождя латинских народов строят планы, как восстановить древнюю Римскую империю в ее прошлых границах. Вагинов изображает Тептелкина обывателем, мещанином и простофилей, и таким образом весь миф о противопоставлении культуры и революции вдруг стал обывательским и дурацким. На стороне Вагинова из всего мифа остался один Филострат, возлюбленный Психеи, относившийся к Тептелкину с глубоким презрением.

Битва Вагинова с Тептелкиным отражена не столько в его стихах, сколько в его прозе — в романе «Козлиная песнь». Роман этот был издан в 1928 году ленинградским издательством «Прибой» в количестве 3000 экземпляров и больше не переиздавался. Но нам, друзьям Вагинова, он был по частям известен и раньше, с 1924 года, когда Вагинов только начал работать над ним. Написав очередную главу, Вагинов шел читать ее по знакомым ленинградским квартирам. Главу за главой в течение трех лет читал он у Коли Тихонова, у Наппельбаумов, у меня, у Кузмина, у Бенедикта Лившица, у Федина, у Шкапской и, несомненно, у многих других. Некоторые главы я слышал в его чтении по нескольку раз, так как слушатели переходили вместе с ним из квартиры в квартиру. Слушали его с волнением, с жадным любопытством, потому что то, о чем он

писал, живо касалось всей той среды, в которой мы жили.

Конечно, интерес отчасти был и просто сплетнический, так как в романе изображались хорошо знакомые нам лица, хотя и зашифрованные намеренными искажениями, но для нас легко узнаваемые. Например, действие романа происходит вскоре после смерти известного поэта-путешественника Александра Петровича Заевфратского, в котором нетрудно было отгадать Николая Степановича Гумилева. Выведен в романе и страстный почитатель творчества покойного Заевфратского — некий поэт Миша Котиков, несколько странным способом собиравший факты из биографии своего любимого мэтра, и в Мише Котикове мы узнавали Павла Лукницкого. Разумеется, мы все знали, что поэт Троицын, похитивший для своей коллекции «поэтических предметов» галстук у покончившего с собой Есенина,— наш общий приятель поэт Всеволод Рождественский. И уж конечно нам всем было ясно, что главный герой романа Тептелкин не кто иной, как Лев Васильевич Пумпянский; позже всех об этом догадался сам Лев Васильевич.

Но не это сплетническое любопытство было главным, что привлекало нас к вагиновскому роману. Нас влекло острое, верное, новое изображение тех внутренних идейно-психологических процессов, которые происходили в среде рафинированной, но по существу мещанской художественной интеллигенции во второе пятилетие существования Советской власти. «Козлиная песнь» — один из первых романов в нашей литературе о так называемой «перестройке интеллигенции». Книг на эту волнующую для интеллигенции тему немало появилось в конце двадцатых и в начале тридцатых годов; но среди этих книг «Козлиная песнь» стоит особняком, потому что написана она изнутри, а не извне, потому что все, о чем в ней рассказывается, происходило с самим автором, и не прежде, а как раз тогда, когда он писал свою книгу. Автор отказывался в ней от самых драгоценных своих заблуждений; недаром назвал он свой роман «Козлиной песнью», что является переводом на русский язык слова «трагедия».

Я перечитал эту книгу в 1959 году, через тридцать один год после ее появления в свет. Я принялся читать с боязнью и, в сущности, без особой надежды,— слишком много книг, волновавших когда-то, при перечитывании через десятилетия поражали своей бледностью, скудостью. Но я читал, и прежнее волнение,— правда, не столь уже сильное, но зато окрашенное какой-то новой мягкой грустью,— охва-

тило меня. Конечно, я заметил и нестройность, и ненужную претенциозность стиля, портящую столь многие книги того времени, и все же книга эта показалась мне значительной, умной, не потерявшей свою остроту, совершенно живой и сейчас. Читая ее, я подумал, как богата советская литература, насколько она богаче, чем принято думать, сколько в ней произведений, забытых незаслуженно, по причинам, в сущности, случайным. Вагинов написал жестокий, беспощадный памфлет о мещанстве, причем о мещанстве наиболее стойком и трудно уязвимом, потому что оно рядится в одежды защитников высших культурных ценностей человечества. Кружок, в котором царствует Тептелкин со своими мечтами о возрождении Феникса и восстановлении древней Римской империи, казалось бы, насквозь духовен и имеет полное право с надменным презрением взирать на все, что совершается вокруг. Но величие этих людей мнимо, как мнима их причастность к подлинной культуре. Читаешь главу за главой и все отчетливее видишь, что этот возвышенный кружок — сборище жалких и злых обывателей. Это книга против мещанства, и мещанство остается в ней непобежденным, потому что Тептелкин не перестает быть мещанином и тогда, когда, переменив свои идеалы, поступает на советскую службу и начинает ходить по вечерам в гости к советским работникам. Мещанство осталось в книге непобежденным, потому что оно не было еще побеждено тогда и в жизни. Да ведь не побеждено оно в мире еще и сейчас, через тридцать с лишним лет. Все предрассудки, которые Вагинов прежде всего победил в себе самом, предрассудки, противопоставляющие революцию культуре и культуру социализму, живы еще в разных концах нашей планеты, и не только дальних, но и ближних, и «Козлиная песнь» — трагедия — могла бы служить против них тем более сильным оружием, что она написана с муками и сомнениями.

Конечно, Лев Васильевич Пумпянский в конце концов узнал себя в Тептелкине и ужасно рассердился. Он перестал раскланиваться с Вагиновым и написал ему яростное письмо, полное гнева и брани. Он утверждал, что Вагинов оклеветал его, что он не Тептелкин, и, пожалуй, по человечеству, он был прав. Вагинов, стремясь к художественной определенности и четкости образа, многое изменил и придумал. Тептелкин значительнее, чем был Пумпянский, и в то же время Пумпянский, человек очень искренний, трудолюбивый, подлинно образованный, вовсе не был так

законченно пошл, как Тептелкин. В тридцатые годы, избавившись от своего школярского начетничества, Пумпянский написал несколько действительно интересных литературоведческих работ, а его предисловие к собранию сочинений Тургенева можно назвать даже выдающейся работой. Он был прав, что он не Тептелкин, но он, на свою беду, послужил материалом для создания Тептелкина, и я, встречаясь с ним потом еще в течение почти целого десятилетия, не мог не видеть в нем Тептелкина.

А Вагинов, написав свою злую и смелую книгу, остался тем, кем был раньше,— робким, скромным, застенчивым добряком-чудачиной. Он женился, но по-прежнему жил в поразительной бедности, настолько для него правильной и естественной, что, кажется, он ничуть ею не тяготился. Из года в год ходил он в одном и том же заношенном бобриковом пальтишке, в детской шапке-ушанке, набитой ватой и завязывавшейся под подбородком. Как многие люди той эпохи, он был безразличен ко всякому, даже элементарному, комфорту. Если у него появлялись хоть небольшие деньги, он тратил их на книги. Любимейшее его занятие было — выйти утром из дому и до вечера обойти все букинистические лавки, ларьки и развалы города. В каждой лавке оставался он подолгу, перелистывал множество книг — прочтет десять страниц по-итальянски, потом пятнадцать по-французски. Букинистов называл он по имени-отчеству, и они тоже звали его Константином Константиновичем и приглашали в комнату за лавкой попить чаю. Покупал он книги только редчайшие — томики итальянских или латинских поэтов, изданные в шестнадцатом веке,— или диковинные: старинные сонники, руководства по поварскому искусству. Вообще он был тончайший любитель и знаток старинных вещей и старинного обихода. Он, например, прелестно танцевал менуэт. Где-нибудь на вечеринке, немного выпив, он вдруг отходил от стола и, счастливый, начинал выделывать изящнейшие па восемнадцатого века,— танцевать ему приходилось одному, потому что в нашем кругу не было дам, умевших танцевать менуэт. Из любви к старинному обиходу он долго жил без электричества и освещал свою комнату только свечами. Это кончилось тем, что его сосед, электромонтер по профессии, думая, что Вагинов не проводит у себя электричества из бедности, сам достал провод, соорудил у него все, что надо, ввинтил лампочки, а Вагинов из деликатности не посмел отказаться.

Вообще он был человек на редкость деликатный и милый, и я любил с ним встречаться на наших скромных пиршествах, устраиваемых время от времени то в одной, то в другой литераторской квартире. Пил он умеренно, выпив, становился еще милее, но имел одну странность, известную всем его друзьям: любил прятать недопитые бутылки с вином за шторы или под стол. У него всегда был страх, что вина не хватит до конца пиршества. В одном его стихотворении так и сказано:

И стало страшно, что не хватит
Вина средь ночи.

В конце двадцатых годов и в начале тридцатых мы с ним каждый месяц встречались в бухгалтерии «Издательства писателей в Ленинграде» и долгие часы просиживали вместе, ожидая, когда кассир привезет из банка деньги. Директор издательства Самуил Миронович Алянский, прекрасный человек, создавший некогда издательство «Алконост», друг Блока, Федина и многих других писателей, установил такой порядок: деньги, причитающиеся литератору по договору, выплачивались не в сроки, предусмотренные договором, а небольшими суммами помесячно. Это было выгодно издательству, но мы мирились с этим, потому что это давало нам возможность рассчитывать бюджет на несколько месяцев вперед. Вагинов получал 100 рублей в месяц, и это было все, на что он жил с женой.

В эти годы он больше сил отдавал прозе, чем стихам, но продолжал писать и стихи. Его стихи становились все понятнее и проще. Вот как изображал он в стихах свою тогдашнюю жизнь:

Два пестрых одеяла,
Две стареньких подушки,
Стоят кровати рядом,
А на окне цветочки —
Лавр вышиной с мизинец
И серый кустик мирта.
На узких полках книги,
На одеялах люди —
Мужчина бледносиний
И девочка жена.
В окошко лезут крыши,
Заглядывают кошки
С истрепанною шеей
От слишком сильных ласк,

И дом насквозь проплеван,
Насквозь туберкулезен,
И масляная краска
Разбитого фасада
Как кожа шелушится.
Напротив из развалин,
Как кукиш, между бревен
Глядит бордовый клевер
И головой кивает
И кажет свой трилистник,
И ходят пионеры,
Наигрывая марш.
Мужчина бледносиний
И девочка жена
Внезапно пробудились
И встали у окна.
И, вновь благоухая
В державной пустоте,
Над ними ветви вьются
И листьями шуршат.
И вновь она Психеей
Склоняется над ним...

Он действительно был в те годы «бледносиним», потому что болел туберкулезом. Чахотка промучила его лет семь и в конце концов свела в могилу.

Вот другое его стихотворение о себе самом:

Он с каждым годом уменьшался
И высыхал,
И горестно следил, как образ
За словом оживал.

С пером сидел он на постели
Под полкою сырой.
Петрарка. Фауст, иммортели
И мемуаров рой.

Там нимфы нежно ворковали
И шел городовой,
Возлюбленные голодали
И хор спускался с гор.

Орфея погребали,
И раздавался плач.
В цилиндре и перчатках
Серьезный шел палач.

Они ходили в гости
Сквозь переплеты книг,
Устраивали вместе
На острове пикник.

Он медленно умирал. Наступила самая трагическая часть его жизни,— куда более трагическая, чем прощание с мифом, владевшим всею его молодостью. Именно тогда, когда он разделался с туманными аллегориями, достиг зрелости и почувствовал влечение к изображению живой жизни, болезнь отняла у него силы и повела к смерти. В начале тридцатых годов, в жадных поисках нового материала, он, преодолевая слабость, принялся изучать тот Ленинград, с которым всегда жил рядом и который совсем не знал — ленинградские заводы.

Помню, много раз ездили мы с ним вместе на завод электроламп «Светлану». Мохнатая изморозь покрывала стекла трамвая, ползущего на Выборгскую сторону, а посреди вагона стоял Вагинов — все в той же шапке-ушанке, завязанной тесемочками под подбородком, все в том же бобриковом пальто,— держался за ремень и, глядя в книгу, читал Ариосто по-итальянски. «Светлана» был завод женский — в просторных чистых цехах за длинными столами сидели работницы в белых халатах и складывали мельчайшие детали из стекла и металла. Все заводские организации — партком, завком — были в руках у женщин, и дух мягкой женственности, девичества, царивший на заводе, чрезвычайно нравился Вагинову. Он тоже там всем полюбился — добротой, скромностью и столь необычной старинной учтивостью.

— Славно,— сказал он мне как-то, когда мы возвращались с ним со «Светланы».— Совсем как бывало в Смольном институте.

Потом мы с ним встретились на другой совместной работе: мы оба приняли участие в составлении книги «Четыре поколения» — о рабочих Нарвской заставы. Книгу эту делали четыре ленинградских литератора: Сергей Спасский, Антон Ульянский, Вагинов и я, и то была интереснейшая, поучительнейшая работа. Мое участие в этой работе было весьма скромным, и это дает мне право сказать, что книга получилась замечательная — одна из лучших документальных книг о жизни петербургского рабочего класса с восьмидесятых годов до середины первой пятилетки. Душой этого дела был даровитый писатель Антон Ульянский, бывший типографский рабочий, автор нескольких очень хороших повестей и рассказов, ныне несправедливо забытый. В течение нескольких месяцев все дни проводили мы на заводах, разговаривали с рабочими и записывали их рассказы. Борьба рабочего класса и вели-

кая русская революция, преобразившая мир, была для этих жителей Нарвской заставы делом своим, домашним, удивительно конкретным,— каждую забастовку за последние пятьдесят лет помнили они во всех подробностях, продолжали ожесточенно упрекать друг друга за то, что поверили Гапону, увлеченно рассказывали о подвигах красногвардейцев в семнадцатом году и большевиков, партию, называли просто: мы. Вагинову, с его острейшим чувством истории, с его пронзительной любовью к родному городу, все это было глубоко интересно. Как ни странно, перед ним открывался новый мир. К работе он отнесся влюбленно и, с постоянно повышенной температурой, упорно ездил на заводы, пересиливая себя. Но силы его быстро убывали.

Поздней осенью Литфонд отправил его на зиму в Крым, в туберкулезный санаторий. До тех пор он никогда не бывал на юге, да и вообще никогда не расставался с родным своим городом, если не считать восемнадцатого — девятнадцатого года, когда он служил в Красной Армии. И вот он ехал в Крым. Все знали, что он обречен. Знал это и он сам.

Вот стихотворение, написанное им, умирающим, в зимнем Крыму, о том, как он в санатории слушал «Кармен»:

Вступил в Крыму в зеркальную прохладу.
Под градом желудей оркестр любовь играл,
И, точно призраки, со всех концов Союза
Стояли зрители и слушали Кармен.

Как хороша любовь в минуты умиранья!
Невыносим знакомый голос твой.
Ты вечная, как изваянье,
А слушатель томительно другой.

Он, как слепой, обходит сад зеленый
И трогает ужасно лепестки,
И в соловьиный мир, поющий и влюбленный,
Хотел бы он, как блудный сын, войти.

Вернулся он в феврале и был уже так слаб, что не мог сам подняться к себе на третий этаж. Помню, как он вылез из извозчичьей пролетки, и мы долго стояли с ним вдвоем перед дверью его дома на засыпанной снегом солнечной улице в ожидании людей, которые внесут его наверх, и как он ласково и кротко озирался, счастливый тем, что снова в Ленинграде. Через несколько дней он написал стихотворение «Ленинград»:

Промозглый Питер легким и простым
Ему в ту пору показался.
Под солнцем сладостным, под небом голубым
Он весь в прозрачности купался.

И липкость воздуха, и черные утра,
И фонари, стоящие, как слезы,
И липкотелые ветра
Ему казались лепестками розы.

И он стоял, и в северный цветок,
Как соловей, все более влюблялся,
И воздух за глотком глоток
Он пил и улыбался.

И думал: молодость пройдет,
Душа предстанет безобразной
И почернеет, как цветок,
Мир обведет погасшим глазом.

Холодный и язвительный стакан,
Быть может, выпить нам придется,
Но все же роза с стебелька
Нет-нет и улыбнется.

Увы, никак не истребить
Виденья юности беспечной,
И продолжает он любить
Цветок прекрасный бесконечно.

Вообще он очень много писал в последние дни своей жизни. За месяц до смерти он пришел ко мне и, лежа у меня на диване, рассказывал мне о романе, который пишет. Роман назывался «Собиратель снов», и главным его героем должен был быть человек, который коллекционирует сновиденья.

Нужно сказать, что Вагинов сам всю свою жизнь был коллекционером, и в этом заключалась одна из характернейших его черт. В отрочестве он коллекционировал старинные монеты. Потом стал собирать спичечные коробки, когда их не собирал еще никто. Одно время он коллекционировал ресторанные меню и всевозможные рецепты приготовления разных диковинных блюд. Всю свою жизнь собирал он старинные, странные и редкие книги. В «Козлиной песни» есть персонаж — Костя Ротиков,— который коллекционирует безвкусицы; и хотя персонаж этот изображен резко отрицательно, все же чувствуется, что коллекция безвкусиц, собранная Костей Ротиковым, весьма интересна самому автору.

В коллекционерстве Вагинова никогда не было ничего спортивного, ни малейшего стремления превзойти кого-либо, похвастаться обладанием тем, чего у других нет. Собираемые предметы интересовали его, потому что отражали жизнь, историю, общественные вкусы и взгляды. Старая флорентийская монета рассказывала ему об итальянском Возрождении больше, чем он мог прочитать в любом исследовании. По картинкам на спичечных коробках он умел прочитать и быт, и людские мечты. Но ведь коллекция человеческих снов может рассказать о людях еще больше, чем коллекция монет или ресторанных меню! И герой его будущего романа, для того чтобы собрать коллекцию снов, должен был знакомиться с множеством самых разных людей — с влюбленными, с попами, с портными, со старыми няньками, с бывшими царскими сановниками, с подлецами, с ханжами, с мечтателями, со школьницами, с ворами, с бухгалтерами, с профсоюзными работниками, с продавцами, с проститутками, и так далее, и так далее,— и поиски этих знакомств должны были ставить его в самые странные положения, вовлекать его в самые удивительные приключения. А так как сон, по утверждению Вагинова, нельзя изобрести, ибо подлинный сон внелогичен, а все, что изобретается нами, невольно подчинено логике, Вагинов сам занялся собиранием снов для коллекции своего героя. Он рассказал мне, как он выспрашивал сны у больных в туберкулезном санатории, где лечились люди самых разных профессий.

Помню, я начал с ним спорить. Не то чтобы я совсем не почувствовал прелести его своеобразного замысла,— напротив, я вполне оценил его,— но меня самого, как литератора, тянуло в другую сторону. Я стал доказывать, что действительность удивительнее любых самых удивительных снов. Он слушал меня, как всегда, кротко и терпимо, а я горячился все больше, так как догадывался, что мысль моя, нисколько не странная и лишенная всякого чудачества, именно потому и кажется ему плоской и антипоэтической. В пылу спора я торопливо глотал все, приготовленное моею женой, чтобы накормить гостя,— и забывал его потчевать. И деликатнейшему Вагинову не досталось почти ничего, за что я потом получил нагоняй от жены, вполне мною заслуженный. Незавершенный роман свой о сновидениях Вагинов за несколько дней перед смертью передал Николаю Семеновичу Тихонову; не знаю, сохранилась ли у Тихонова эта рукопись.

Умер Вагинов в конце апреля 1934 года. Многие пошли провожать его на Смоленское кладбище,— помню плачущего Сережу Колбасьева, помню Тихоновых, Федина, Всеволода Рождественского, Михаила Фромана и жену его Иду Наппельбаум. Тут я впервые увидел отца Вагинова: маленький лысенький старичок, удрученный и тихий, он теперь служил кассиром в какой-то артели, и во внешности его не было ничего ни полковничьего, ни жандармского, ни миллионерского.

День был удивительный, весенний, теплый, влажный, солнце сияло в чистейшем небе, но город тонул в туманной дымке, и перед похоронной процессией неожиданно выплывали его колонны, фронтоны и шпили. Вагинов медленно ехал в гробу через Неву по мосту лейтенанта Шмидта, и Филострат, незримый, шел рядом, и роза со стебелька улыбалась ему в последний раз.

ПОЭТ С ОСТРОВА ЯМАЙКА

В двадцатые годы посетил Россию негр-поэт Клод Мак-Кей, делегат от американской компартии на IV конгрессе Коминтерна.

Конгресс этот состоялся в Москве в декабре 1922 года, но по окончании его Клод Мак-Кей почему-то не вернулся на родину, а на много месяцев застрял в России. По причинам, для меня неясным, он поселился в Ленинграде, и комнату ему дали в том самом Доме ученых, где одно время жил Мандельштам. Не помню каким образом, но вышло так, что я поступил к нему на службу переводчиком.

Я был совершенно неподготовлен к подобной должности. Мое знание английского языка было только книжным,— я умел прочесть все и не умел сказать ничего. Это свойство осталось у меня на всю жизнь,— я перевел с английского десятки книг, многие из которых были чрезвычайно сложны стилистически, но и посейчас крайне беспомощен, когда мне приходится вести по-английски самый элементарный разговор. Мне легче писать по-английски, чем говорить. Я привык объяснять это отсутствием практики, но знаю, что это неправда,— у меня вовсе не так уж мало было практики за мою жизнь. Другой на моем месте, поработав переводчиком при Мак-Кее, уже на пятый день свободно болтал бы по-английски. А я в конце моей работы у него говорил так же плохо, как в самом начале. Тут, по-видимому, какая-то особенная, свойственная мне неспособность.

Несмотря на мою ужасную речь, Мак-Кей почему-то дорожил мною и не сделал ни одной попытки заменить меня другим переводчиком. За свою жизнь я немало видел негров, но это был самый черный негр из всех. Ночью на плохо освещенной улице казалось, будто у него нет лица,—

лицо его сливалось с темнотой. Я обязан был приходить к нему в двенадцать часов дня. Он просыпался очень поздно, и я всякий раз заставал его в постели. Встретив меня радостным восклицанием, он высовывал из-под одеяла черную голую руку и шарил ею под кроватью. Там у него всегда стояла бутылка с коньяком; он выпивал стаканчик и, несмотря на все мое сопротивление, заставлял выпить и меня. С этого начинался наш трудовой день.

Для меня это было трагично,— из моей непривычной мальчишеской головы коньяк разом вышибал три четверти известных мне английских слов. Ему же, тридцатилетнему здоровяку, коньяк был, разумеется, нипочем.

Выпив, он, голый, выскакивал из постели и принимался за умывание. Он раскладывал посреди комнаты резиновый таз, становился в него и обливал себя из кувшина теплой водой. Потом выдавливал на себя из тюбика какое-то американское мыло, растирал его резиновой губкой, покрывался пеной и весь от макушки до пят превращался в снежно-белый столб. Затем брал другой кувшин и помаленьку плескал на себя водой; и я, глядя на промоины в мыльной пене, заново удивлялся черноте его тела.

Бритье в его утренний туалет не входило,— у него совсем не росла борода, как у девушки. Он одевался, и мы шли с ним куда-нибудь — в город.

Он любил мне рассказывать свою жизнь. Родился он в Вест-Индии, на острове Ямайке. Я как-то спросил его, откуда у него шотландская фамилия. Он объяснил мне, что его предок был рабом какого-то шотландского выходца Мак-Кея, а все негры-рабы носили фамилии своих хозяев. Рабы на Ямайке были освобождены тогда, когда свекловичный сахар одержал на европейских рынках окончательную победу над сахаром из сахарного тростника. Ямайские плантаторы вернулись в Англию, бросив на произвол судьбы и свои обесцененные плантации, и своих рабов. В деревне, где рос Мак-Кей, белые люди появлялись так редко, что мальчишкой он способен был часами разглядывать белого человека как чудо. В их деревенской церкви даже Богородица на картине была черная. Работу на Ямайке достать было невозможно, и, когда Мак-Кею исполнилось восемнадцать лет, он перебрался в Соединенные Штаты. Ему посчастливилось найти место официанта в вагоне-ресторане поезда, который курсировал между Вашингтоном и Нью-Йорком. Работая в вагоне-ресторане, он увлекся английской поэзией. Он читал все стихи, ко-

торые ему удавалось достать, и сам начал писать стихи. В том же вагоне-ресторане он встретился с одним нью-йоркским поэтом и, прислуживая ему, поразил его тем, что стал ему читать его стихи наизусть. Поэт был сноб, писал стихи для избраннейшего интеллектуального общества, печатал свои книги ничтожными тиражами и был ошеломлен, встретив негра-официанта, рассуждавшего с ним о его стихах не хуже изысканнейших знатоков поэзии. Но когда негр стал читать ему свои собственные стихи, поэт был ошеломлен еще больше. Он познакомил Мак-Кея со многими нью-йоркскими литераторами, нашел для него издателей, и Мак-Кей, выпустив несколько сборников стихотворений, стал известным поэтом.

Он рассказывал мне, как его приглашали читать стихи в зажиточные культурные дома белых американцев. В гостиной собиралось общество, он читал, его хвалили. Потом белых гостей вели ужинать в столовую, а его, как негра, кормили отдельно — на кухне.

Я, как все русские, много читал об унижении негров в Амерке, и то, что мне рассказывал Мак-Кей, было для меня, в сущности, не ново, но в его рассказах был такой заряд ненависти и боли, что они потрясли меня. Его возмущало главным образом даже не то, что белые постоянно унижают черных, а то, что черные привыкли к этому унижению и относятся к нему как к чему-то само собой разумеющемуся. Он говорил, что в южных штатах, где есть отдельные церкви для белых и негров, в церквах, предназначенных для негров, негры сажают мулатов на лучшие скамьи, этим признавая, что люди, кожа которых хотя бы немного светлее, тем самым стоят выше вполне черных. Он с негодованием рассказывал, что единственный в Америке негр-миллионер нажил свое состояние тем, что продавал снадобье, которое способно превращать курчавые волосы в прямые; дело в том, что все негритянки курчавы, и это мешает им носить такие прически, какие носят белые женщины, и вот все они накинулись на эту шарлатанскую мазь, чтобы хотя бы прическами походить на белых. Он говорил об этом с чувством оскорбленной гордости, которое глубоко трогало меня.

Он был очень эмоционален, и его отношение к угнетению негров носило характер тяжелой душевной травмы. Помню, мы как-то отправились с ним в Русский музей; он был оживлен, говорлив и весел, как всегда после выпитого утром коньяка. Мы шли с ним по пустынным залам от

картины к картине, и он внимательно слушал мои объяснения. Русских художников он совсем не знал, и в картинах его интересовал только сюжет, но так как он был очень впечатлителен и сами сюжеты были для него новы, то рассказывать ему было интересно. Я объяснял ему картину Васнецова «Богатыри», когда он вдруг схватил меня за руку и заставил замолчать. Не выпуская моей руки, он увлек меня в угол и усадил рядом с собой на обитую бархатом скамейку. Тут только я увидел, что в зал вошли двое — господин и дама. Движения их были неторопливы, они подолгу стояли перед каждой картиной, не обратив на нас никакого внимания. По одежде их я видел — иностранцы. Белые американцы! Мак-Кей глядел на них молча, не двигаясь, и только все крепче сжимал мою руку. Он словно застыл от ненависти. Он не шевельнулся, пока они, осмотрев все картины, не вышли из зала.

Он, конечно, вступил в Коммунистическую партию Америки только оттого, что одна лишь эта партия действительно последовательно боролась за равноправие негров. Никаких других причин у него не было. Не думаю, что американские коммунисты поступили правильно, послав его делегатом на конгресс Коминтерна. О конгрессе этом он ничего не умел мне связно рассказать и очень мало им интересовался. Однако для того, чтобы прибыть на конгресс в Москву, он потратил огромные усилия и преодолел множество препятствий. В Нью-Йорке он нанялся кочегаром на пароход, идущий в Европу, и пять недель проработал у жарких топок, пока пароход, переходя из порта в порт, не добрался наконец до Гамбурга. Гамбургские рабочие-коммунисты переправили Мак-Кея в Советскую Россию.

Мне никогда еще не приходилось встречаться с членами конгрессов Коминтерна, и, естественно, я, видя отличное отношение Мак-Кея ко мне (а он со мной был исключительно дружелюбен и добр), стал задавать ему вопросы и о минувшем конгрессе, и о деятельности американской компартии, и о международном положении. Представьте, как я был удивлен, обнаружив, что обо всем этом он знал гораздо меньше, чем я. Он не имел ни малейшего представления о марксизме. Пораженный, я стал толковать ему о классовом устройстве общества, о международной рабочей солидарности, об интернационализме. Но он слушал меня невнимательно и без всякого интереса. Для марксизма он казался совершенно непромокаем. Его симпатии к

нашей стране строились на двух обстоятельствах: во-первых, здесь хорошо относились к неграм и, во-вторых, в жилах нашего национального поэта Пушкина текла негритянская кровь. Он покупал портреты Пушкина, внимательно разглядывал их и утверждал, что по пушкинскому облику он может безошибочно определить, какой процент негритянской крови тек в пушкинских жилах. Из западноевропейских писателей он больше всего ценил Александра Дюма, мать которого была мулаткой.

Стихи его были разнообразны, и многие из них мне очень нравились. Помню, например, его стихотворение «Рассвет входит в Нью-Йорк», в котором кроме очень точного, очень зримого описания предутреннего Нью-Йорка было что-то музыкально-магическое, верленовское. Но взгляды его гораздо лучше выражало другое стихотворение — «Проклятие порабощенного». Вот оно — в тяжеловесном переводе Валерия Брюсова:

Помыслю лишь о расе черной, той,
В чреде веков презренной, угнетенной,
Линчеванной не раз, угла лишенной
На христианском Западе, в родной
Своей стране обкраденной, наследство
Утратившей там, где встречало детство,—
Вдруг станет сердце тяжелей свинца,
И из глубин души кричу я жадно,
Чтоб Ангелы Отмщенья беспощадно
Мир белый истребили до конца:
Пусть рухнет он в разверзнутые бездны,
Всклубится дымом жертвы в купол звездный,
Клеймо стирая с черного лица!

Он ненавидел белых, и мне никак не удавалось объяснить ему, что ненавидеть белых так же глупо, как ненавидеть черных. Его симпатии к русским, или, скажем, в частности, ко мне, его пылкая любовь к английской поэзии нисколько не меняли дела,— он ненавидел белых и громко провозглашал это. Я, выросший в чистой атмосфере первых лет революции, в обществе, где интернационализм был главной заповедью, впервые встретился с национализмом. Правда, это был самый справедливый вид национализма — национализм угнетенного народа с трагической судьбой. Впоследствии в жизни я, как и все, встречался с несравненно более гнусными формами национализма; воспитанный в мечтах о мировой пролетарской революции и только в ней одной видевший путь к разрешению всех национальных

вопросов, я, вероятно, слишком нетерпимо отнесся к тому, что во взглядах Мак-Кея казалось мне узостью и ограниченностью. Много раз вступал я с ним в споры, пытаясь доказать, что ненавидеть надо не белых, а капитализм. Собственно, я говорил ему то самое, что должен был бы говорить мне он, член конгресса Коминтерна. Ему, однако, подобные взгляды были совершенно чужды, и он даже не возражал против них, а просто от них отмахивался.

Обо всем, происходившем в нашей стране, о нашей революции понятия у него были самые смутные, несмотря на то что он прожил уже в России несколько месяцев и довольно много ездил и видел. Его часто возили выступать на заводы и даже в Кронштадт на корабли. На этих выступлениях я не бывал, так как там сопровождали его другие переводчики, официальные, но знаю, что рабочим и военморам он читал по-английски свои стихи и рассказывал о страданиях негров. Принимали его необыкновенно жарко, на одном корабле его так качали на руках и подбрасывали вверх, что ушибли о потолок кают-компании. Ему хлопали и за то, что он негр, и за то, что он американский коммунист, и за то, что он деятель международного рабочего движения, в этих горячих приветствиях выражалось сочувствие ко всем угнетенным, выражалась надежда на помощь рабочих других стран и радость, что мы не одиноки в своей борьбе. Однако Мак-Кей, очень довольный этими встречами, весьма неясно представлял себе чувства встречавших его людей и не понимал своей собственной роли. Один я подозревал, что в основе этого лежит недоразумение, и дивился.

Жизнерадостный, очень здоровый, веселый, добрый и легкомысленный Мак-Кей беспечно жил в суровой, только что вышедшей из гражданской войны стране, наслаждаясь вниманием женщин и дружелюбием мужчин, ни во что не вникая и не собираясь вникать. Имея самые смутные представления о том, что происходит вокруг, он подвергался столь же смутным опасениям и страхам. Внезапно ему начинало казаться, что за ним кто-то тайно следит, лицо его из черного становилось серым, и, озираясь, он шептал: шпионы.

Однажды, когда мы шли с ним по набережной Васильевского острова мимо Университета, к нам подошел советский морячок торгового флота, небольшой, в тужурке с медными пуговицами, в фуражке, добродушный и простецкий на вид. Он бывал в заграничных плаваньях, знал

несколько английских фраз и, увидев негра, захотел применить их на практике. Он подошел к нам, поздоровался и начал задавать Мак-Кею простейшие и естественнейшие вопросы: кто он такой и откуда прибыл. Мак-Кей стал серым от страха и, к моему удивлению, отвечал глухо, невнятно. Он все заслонялся от морячка мною и старался как можно скорее окончить разговор. Потом вдруг схватил меня за рукав и, таща за собою, побежал к Республиканскому мосту. На мосту он все озирался. Только убедясь, что морячок нас не преследует, он перестал бежать и сказал мне шепотом:

— Шпион!

Я очень гордился своим негром и хвастал им среди приятелей. Многие просили меня познакомить их с Мак-Кеем, но я делал это скупо, с разбором. Однако когда меня попросил об этом Николай Семенович Тихонов, бог молодых ленинградских поэтов того времени, я, разумеется, не мог ему отказать.

Я знал, что в ближайшее воскресенье мы с Мак-Кеем будем в Эрмитаже. И я назначил Тихонову свидание — воскресенье, два часа дня, в Эрмитаже, у «Данаи» Рембрандта.

В то воскресное утро Мак-Кей хлебнул коньяка больше обычного. Это бы еще ничего, но он настойчиво заставлял пить и меня, я тоже выпил больше обычного и изрядно захмелел. Опьянение мое выразилось в том, что я стал говорить очень громким голосом. И, придя с Мак-Кеем в Эрмитаж, мы своим появлением вызвали там сенсацию.

По случаю воскресного дня залы Эрмитажа были переполнены. Особенно много было учащейся молодежи, никогда до тех пор не видавшей живого негра. Мы брели из залы в залу, и вслед за нами валила толпа, с трудом протискиваясь в дверях. Мак-Кей, изрядно захмелевший, был чрезвычайно весел, размашист и мало приспособлен к восприятию искусства. Обнаженные женщины — вот что сейчас привлекало его на картинах, и он шел от одной обнаженной женщины к другой, смеясь во все свои белые зубы и комментируя вслух. Я чувствовал некоторую скандальность его поведения и старался привлечь его внимание к более скромным сюжетам. Но и меня разглядывали со всех сторон не без удивления благодаря моему слишком громкому голосу и чудовищному английскому языку.

Однако я еще не потерял способности следить за часами и ровно в два подвел Мак-Кея к рембрандтовой «Данае».

Тихонов уже ждал нас там. Пришел он не один, а с очень милой и немного мне знакомой молодой женщиной Агутей Миклашевской. Толпа расступилась, образовав перед «Данаей» внимательный полукруг, и я, смущенный множеством устремленных на нас взоров, представил Мак-Кея Тихонову и Агуте. Я объяснил Мак-Кею, что перед ним — известный поэт, и Мак-Кей стал просить Тихонова почитать стихи.

Насупив густые брови, Тихонов глухим, суровым голосом прочитал свою знаменитую «Балладу о гвоздях». Все собравшиеся в зале слушали его затаив дыхание, боясь проронить слово. Баллада эта, как известно, кончается такими двумя строчками:

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче не было б в мире гвоздей.

Эти строки всегда приводили меня в недоумение. Я не мог понять, как можно сказать людям в похвалу, что из них вышли бы хорошие гвозди. Но всю свою жизнь я со своим недоумением оставался почти в одиночестве, и тогда, в Эрмитаже, «Баллада о гвоздях» имела у слушателей необычайный успех. Тихонова выслушали с восторженным вниманием, и это произвело на Мак-Кея большое впечатление. Он попросил меня перевести ему прочитанное стихотворение.

Я принялся переводить. Тихонов медленно произносил строку, и я повторял ее по-английски. Так я довольно лихо одолевал строку за строкой, пока не дошел до роковых гвоздей.

Я забыл, как «гвоздь» по-английски. Разумеется, я с детства знал, что «гвоздь» по-английски — «nail», но в эту минуту — забыл. Бывает же такое! Безусловно, тут сработал выпитый утром коньяк; впрочем, мне и без коньяка случалось забывать хорошо известное нужное слово именно потому, что оно — нужное. Если бы не сотни глаз, следившие за мной, я, может быть, подумал бы и вспомнил. Но тут, дойдя до строчки «Гвозди б делать из этих людей» и чувствуя, что все смотрят на меня и ждут, я запнулся, обливаясь потом. Что делать из людей? Мак-Кей начал уже подсказывать мне свои догадки — совершенно невероятные. Да и как он мог догадаться, что из людей следует делать гвозди? Я нервно оглядывал стены, надеясь, что где-нибудь торчит гвоздь и я покажу его Мак-Кею. Но в стенах

эрмитажных зал гвозди не торчат. И вдруг мне пришло в голову — ведь картины висят на гвоздях. Там, позади «Данаи», из стены, вероятно, торчит гвоздь, на котором она закреплена. И я постарался объяснить это Мак-Кею, тыча в «Данаю» указательным пальцем.

Я тыкал в сторону картины пальцем и все попадал в разные места нагой Данаи, и, в зависимости от моих попаданий, Мак-Кей строил вслух все новые и новые предположения о том, что именно надлежит «делать из этих людей»...

Вскоре Мак-Кей уехал в Москву и в Ленинград уже не вернулся. Он навсегда покинул Советскую Россию, и я его больше не видел. По пути в Америку он посетил Лондон, где тогда проходил Всемирный негритянский конгресс, и он выступил на этом конгрессе. Из наших газет я узнал, что конгресс этот был буржуазный, глубоко лояльный, что ему покровительствовало британское правительство и что созван он был для того, чтобы помешать распространению среди негров коммунистических идей. И выступление Мак-Кея, вероятно, попало там в общий тон, потому что из Лондона прислал он мне письмо, в котором восхищался этим конгрессом.

Письмо его начиналось словами «Dear Colar» — так, по его мнению, следовало писать мое имя «Коля» по-английски. Это было ласковое, приветливое письмецо — в каждой фразе чувствовалось, что пишет человек добрый и веселый. Потом, несколько месяцев спустя, прислал он мне из Америки журнал, который начал там редактировать. Журнал назывался «Крайзис» и был похож на все прочие американские еженедельники — с голой девушкой на обложке, с советами, как следует вести себя в светском обществе. С объявлениями зубных врачей. Только девушка на обложке была черная, и на иллюстрациях к светским советам черные кавалеры ухаживали за черными дамами и черные зубные врачи рвали зубы у черных пациентов. А в передовой статье доказывалось, что Александр Пушкин был великий негритянский поэт, а Александр Дюма — великий негритянский романист...

МИЛЫЙ ДЕМОН МОЕЙ ЮНОСТИ

Есть у Блока статья — «Русские дэнди»,— написанная 2 мая 1918 года. В этой статье рассказывалось, как первой революционной зимой он принял участие в каком-то благотворительном вечере и как в артистической встретился с каким-то молодым человеком. Он пишет:

«Барышня попросила молодого человека прочесть стихи в этой интимной обстановке.

Молодой человек, совершенно не жеманясь, стал читать что-то под названием «Танго». Слов там не было, не было и звуков: если бы я не видел лица молодого человека, я не стал бы слушать его стихов, представляющих популярную смесь футуристических восклицаний с символическими шепотами. Но по простому и серьезному лицу читавшего я видел, что ему не надо никакой популярности и что есть, очевидно, десять — двадцать человек, которые ценят и знают его стихи. В нем не было ничего поддельного и кривляющегося, несмотря на то, что все слова стихов, которые он произносил, были поддельные и кривляющиеся».

Через страницу Блок продолжает:

«Нам с молодым человеком было не по пути, но он пошел провожать меня с тем, чтобы рассказать мне таким же простым и спокойным тоном следующее:— Все мы — дрянь, кость от кости, плоть от плоти буржуазии.

Во мне дрогнул ответ, но я промолчал.

Он продолжал равнодушно:

— Я слишком образован, чтобы не понимать, что так дальше продолжаться не может и что буржуазия будет уничтожена. Но, если осуществится социализм, нам останется только умереть; мы совершенно не приспособлены к тому, чтобы добывать что-нибудь трудом. Все мы — наркоманы, опиисты; женщины наши — нимфоманки.

Нас — меньшинство, но мы пока распоряжаемся среди молодежи: мы высмеиваем тех, кто интересуется социализмом, работой, революцией. Мы живем только стихами; в последние пять лет я не пропустил ни одного сборника. Мы знаем всех наизусть — Сологуба, Бальмонта, Игоря Северянина, Маяковского, но все это уже пресно; все это кончено; теперь, кажется, будет мода на Эренбурга.

Молодой человек стал читать наизусть десятки стихов современных поэтов. Дул сильный ветер, был мороз, не было ни одного фонаря. Мне было холодно, я ускорил шаги, он также ускорил; на быстром шагу против ветра он все так же ровно читал стихи, ничем друг с другом не связанные, кроме той страшной, опустошающей душу эпохи, в которую они были созданы.

— Неужели вас не интересует ничего, кроме стихов? — почти непроизвольно спросил, наконец, я.

Молодой человек откликнулся, как эхо:

— Нас ничего не интересует, кроме стихов. Ведь мы — пустые, совершенно пустые.

Я мог бы ответить ему, что если все они пусты, то не все стихи пусты; но я не мог так ответить, потому что за его словами была несомненная искренность и какая-то своя правда...»

В конце этого разговора молодой человек сказал Блоку:

«— Вы же ведь и виноваты в том, что мы — такие.

— Кто — мы?

— Вы, современные поэты. Вы отравляли нас. Мы просили хлеба, а вы нам давали камень.

Я не сумел защититься; и не хотел; и... не мог. Мы простились — чужие, как встретились...»

Я хорошо знал этого молодого человека, о котором Блок рассказывает в своей статье. В течение многих лет он был моим ближайшим другом. Звали его — Валентин Иосифович Стенич.

Впрочем, подружился я с ним лет через семь после его встречи с Блоком. Но, зная его, я хорошо представляю себе, каким он был тогда, в начале 1918 года, двадцатилетним юнцом. И он сам неоднократно рассказывал мне об этой встрече.

Он благоговел перед Блоком, знал все им написанное наизусть — все три тома стихотворений, и поэмы, и пьесы. Для него Блок был гений, и притом из всех гениев человечества — наиболее близкий ему душевно; когда он читал кому-нибудь стихи Блока, он поминутно снимал

очки, чтобы вытереть слезы. Встреча с Блоком была для него грандиозным событием. Тем, что Блок написал об этой встрече целую статью, он гордился до последнего своего дня.

— Все-таки мне удалось его обмануть!— восклицал он восторженно.

Конечно, вначале он надеялся не обмануть Блока, а восхитить. И начал он с того, что стал читать Блоку свои стихи. Но сразу почувствовал, что совершил ложный шаг — стихи Блоку не понравились. Тут сказалось, что Стеничу было всего двадцать лет,— будь он постарше, он не сделал бы подобной ошибки. Но в двадцать лет считать свои стихи хорошими простительно даже очень умному человеку. Почувствовав, что восхитить Блока он не в состоянии, он решил его хотя бы поразить. И это ему удалось,— но с помощью обмана.

Обман заключался в том, что он представил Блоку вместо себя вымышленный образ, не имевший почти ничего общего с реально существовавшим Стеничем. Он сказал: «Если осуществится социализм, нам остается только умереть». А между тем он был яростным сторонником социализма и через месяц после разговора с Блоком вступил в большевистскую партию и уехал на фронт на Украину. Он сказал: «Все мы наркоманы, опиисты». А между тем он никогда в жизни не употреблял никаких наркотиков и даже к спиртным напиткам прибегал редко. Он страстно любил стихи, но вовсе не стихи Бальмонта или Эренбурга. И неправда, что он любил только стихи,— он жадно и деятельно интересовался всем, что происходило вокруг него, и любил лишь такие стихи, в которых отражалась жизнь. Из старых поэтов он любил Пушкина,— он мог прочесть наизусть всего «Евгения Онегина», ни разу не сбившись, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Полонского — т. е. тех самых, которых любил Блок. Из поэтов начала XX века он выше всего ставил Блока и любил — впрочем, значительно меньше — Сологуба, Ахматову, Маяковского, Мандельштама. Впоследствии он влюблялся в стихи Александра Прокофьева, Бориса Корнилова, Павла Васильева, Заболоцкого, раннего Твардовского, и когда он сказал Блоку, что мы «совершенно пустые, и это вы, современные поэты, сделали нас такими»,— это был обман, чистейший вымысел.

Обман этот полностью удался. Он удался потому, что предложенный Блоку вымышленный образ чрезвычайно

Блока взволновал и растревожил. Он до того его взволновал, что Блок о своей мимолетной встрече с двадцатилетним мальчишкой три месяца спустя написал целую статью, и не просто статью, а статью, полную мучительной полемики по самым болезненным для Блока вопросам. Блок, только что написавший «Двенадцать», ненавидевший буржуазию и проклинаемый всеми своими былыми друзьями как отступник, терзался сомнениями и в том, правилен ли был весь его прежний путь, и в том, не кончится ли вместе с буржуазией культура. Февраль 1918 года был самый трудный момент в его жизни. И Валя Стенич, мгновенно отгадав, что творится у него в душе, предстал пред ним как демон-искуситель. Он ворвался в эту замкнутую, предельно сложную, для всех других неясную душу и рассчитанно, без промаха говорил именно то, что могло причинить этой душе боль. Блок победил искушение. Но Стенича запомнил крепко.

Для такого обмана нужен был большой ум. И дар понимания чужой души, даже самой сложной. Этим даром Стенич обладал в высшей степени. И человек был редкостно умный.

О его детстве и ранней молодости я знаю довольно мало и только по его рассказам. А он, великолепный рассказчик, редко рассказывал о себе. Родился он в 1897 году. В Петербурге окончил немецкую Реформатскую школу — одну из лучших школ Петербурга.

Настоящая фамилия Стенича была Сметанич. Стенич — псевдоним, изобретенный им в самом начале литературной деятельности. Он не любил его и большинство своих переводов подписывал своей настоящей фамилией. Но прозвище «Стенич» прилипло к нему как кличка, он не мог от него избавиться и до конца дней своих был для всех Стеничем. Маяковский называл его Неврастеничем.

Из Реформатской школы его выгоняли каждый год за какую-нибудь новую проделку. И всякий раз принимали обратно — потому что учился он отлично. Ученье, повидимому, давалось ему без всякого труда, так как способности у него были удивительные. Он с детства знал в совершенстве три иностранных языка — немецкий, французский и английский,— говорил, читал и писал на них, как по-русски.

Школьные проделки его всегда имели одну цель —

поразить окружающих. Поразить все равно чем, но лишь бы поразить. Ведь Блока он прежде всего стремился поразить — и поразил. Это стремление поражать не оставляло его лет до тридцати, и этим объясняется то, что судьба его была полна таким множеством превратностей.

Я плохо знаю его похождения на Украине во время гражданской войны. В 1920 году его перевели в Москву и назначили комиссаром школы военной маскировки. Военная школа эта была расположена за городом, в дачном поселке, в соблазнительной близости от Москвы. И двадцатитрехлетний комиссар уезжал из нее в Москву каждую ночь. Ночи он проводил, разумеется, в знаменитом кафе поэтов «Стойло Пегаса». Отсюда пошло его личное знакомство с многими московскими литераторами — Маяковским, Брюсовым, Есениным, Шершеневичем, Мариенгофом, Львом Никулиным. Я никогда не был в «Стойле Пегаса», но по рассказам у меня создалось впечатление, что там все стремились друг друга поразить — и не столько даже стихами, сколько поведением. Конечно, Стенич не мог выдержать, чтобы кто-нибудь поражал окружающих больше, чем он сам. Стихи его не имели там никакого успеха,— да к этому времени он и сам уже не верил в свои стихи и писал их все реже и реже. Он мог бы поразить умом,— как он поразил Блока,— но умом ведь можно поражать только умных людей, а там умные были, повидимому, в меньшинстве. Он стал поражать завсегдатаев кафе удивительным соединением военной формы, комиссарской звезды на рукаве, рассказов о только что миновавших боях со знанием наизусть чуть ли не всей русской поэзии. Вероятно, впрочем, такое соединение не казалось в том обществе достаточно пряным, и его приходилось густо сдабривать тем нигилистическим дэндизмом, которым он поразил Блока.

Разумеется, это все только мои предположения, догадки, а твердо я знаю лишь то, что в начале 21-го года его арестовали. Его обвинили в предумышленном развале школы военной маскировки и в сношениях с врагами революции. И приговорили к расстрелу.

Он рассказывал мне, что для него самым страшным был момент, когда с его рукава спарывали красную комиссарскую звезду. Восемь — десять дней ждал он расстрела. Потом расстрел заменили многолетним тюремным заключением. Но просидел он всего месяцев восемь. Кончилось

тем, что дело пересмотрели. Его оправдали и выпустили, не восстановив в партии.

О его жизни в течение последующих пяти лет я не знаю почти ничего. Освобожденный из Бутырок, он покинул Москву и, меняя профессии, слонялся по разным городам. Месяцы ли, годы ли, но какое-то время прожил он в Баку. Потом вернулся в Ленинград.

В 1925 году Стенич уже жил в Ленинграде и работал редактором в «Кооперативном издательстве Мысль». Это было лжекооперативное издательство. В эпоху нэпа всяких лжекооперативов было множество. С откровенностью, кажущейся теперь невероятной, кооперативной вывеской прикрывалось процветающее частное предприятие Льва Владимировича Вольфсона. Помещалось оно на Ковенском переулке, на четвертом этаже, и занимало просторную квартиру. В конце этой квартиры находилось святое святых — кабинет Вольфсона, хозяина, где в одиночестве за громадным столом в громадном кожаном кресле восседал «сам» — огромный слоноподобный мужчина, грозно хохотливый, грубый, властный, басистый и необычайно жизнедеятельный. Перед кабинетом была обширная комната в три окна, уставленная столами,— бухгалтерия, касса и производственный отдел. Все работники, сидевшие за этими столами, были родственники Вольфсона — кузены, кузины, племянники, племянницы. У всех было родственное сходство с хозяином — толстые шеи, широкие затылки, хохочущие рты. Кассирша — племянница — сидела за отдельным столом перед железным несгораемым шкафом. Она была совершеннейший Вольфсон в юбке — огромная, здоровенная, с массивными плечами, с голыми руками, толстыми, как окорока. Главными в этой комнате были два кузена в серых костюмах — Йоня и Моня — тоже вылитые Вольфсоны, только помельче, в уменьшенном, так сказать, масштабе. Время от времени из кабинета раздавался громовой голос:

— Йоня!

— Моня!

И Йоня или Моня, перед этим жевавший бутерброд и рассказывавший анекдоты, вскакивал с испуганно-подобострастным лицом, вытирал губы и вбегал в кабинет к своему могучему родичу, осторожно прикрыв за собой дверь.

Эти две комнаты, полностью занятые родом Вольфсонов, от остальных редакционных комнат были отделены коридором. По другую сторону коридора были расположены корректорская и редакторская. Это была плебейская часть издательства, его низок. В корректорской распоряжался дедушка Флейтман — длинный тощий старик с наивными детскими глазами. Он начальствовал над тремя корректоршами — худосочными выцветшими девами из слоя, как тогда говорили, «бывших», то есть из петербургских чиновничьих семей, разоренных революцией и теперь продававших Вольфсону свою гимназическую грамотность, сидевшими по шестнадцать часов за корректурами, заглушая папиросным дымом голод. Рядом с корректорской была редакторская. Редакторов было только двое — старая переводчица Алла Митрофановна Карнаухова и Валя Стенич. Вольфсон держал их за «интеллигентность». Из работников издательства только они двое знали иностранные языки, а «Мысль» издавала почти исключительно переводную литературу, и поэтому они были необходимы. Но Ленинград двадцатых годов был полон безработной интеллигенции, и заменить их Вольфсон мог в любую минуту. К тому же они не были его родственниками. И в иерархии издательства они занимали самую нижнюю полку — ниже даже несчастных корректорш.

Квартира Вольфсона находилась в том же Ковенском переулке, в доме напротив. Каждый день в двенадцать часов мадам Вольфсон готовила у себя на кухне гигантскую яичницу из двадцати пяти яиц. Домработница несла гигантскую сковороду с шипящей яичницей через переулок в издательство. Она сворачивала из коридора в комнату Йони и Мони, проходила сквозь нее, вносила яичницу в кабинет хозяина и ставила сковороду перед ним на письменный стол. Вольфсон съедал семь-восемь яиц. Насытившись, он отправлял сковороду в соседнюю комнату. Там ее окружали Йоня, Моня и кассирша. Они доставали из столов свои ложки и ели, непринужденно веселясь. Потом Моня спохватывался:

— Надо же оставить старику Флейтману.

И сковорода с последними яйцами переправлялась в корректорскую. Дедушка Флейтман склонял над ней свою седую бороденку. Корректорши жеманились, но тоже получали по яичку,— конечно, если оставалось. И наконец, когда на сковороде не было уже ничего, кроме растоп-

ленного масла и жижи пролитого яичного желтка, ее передавали в редакторскую. Там Стенич и старуха Карнаухова тщательно вытирали ее дно принесенным из дома хлебом.

С издательством «Мысль» жизнь столкнула меня в 1925 году.

К этому времени я был уже женат, и летом, в июле, жена моя родила дочку. Мы жили рядом с «Мыслью», в том же Ковенском переулке, снимали комнату у хозяйки и предельно нуждались. Я уже кое-что перевел с английского, кое-что из моих переводов было напечатано, и все мои финансовые планы строились только на переводах. Не помню, как мне удалось получить перевод в издательстве «Мысль». Мне поручили перевести роман английского писателя Стивена Грэхэма «Underlondon» — очень хороший роман. Это была большая удача для начинающего литератора. Со мной заключили договор, и я с увлечением принялся за работу. Правда, с самого начала меня ждала неприятность — в романе было восемнадцать листов, а мне предложили сделать так, чтобы в русском переводе получилось двенадцать. Все переводные романы, выпускаемые «Мыслью», имели одинаковый размер — двенадцать печатных листов — ни на букву больше, ни на букву меньше. Этого требовали какие-то коммерческие расчеты Вольфсона. А роман Грэхэма, как всякий хороший роман, туго поддавался сокращениям и явно проигрывал от них. Да и мой заработок уменьшался на целую треть. Но работу получить было трудно, и я беспрекословно согласился на все.

Настоящая беда пришла, когда я кончил работу. Я ужасно спешил, так как, согласно договору, деньги мне полагались по сдаче и приему рукописи, и нужда подгоняла меня. Три месяца я просидел за столом и довел роман до конца. Прием рукописи прошел без сучка без задоринки,— ее никто даже не прочитал, а просто подсчитали листы и, убедясь, что их ровно двенадцать, отправили в набор. Теперь, по договору, мне должны были заплатить деньги. По десять рублей за печатный лист — 120 рублей! И я отправился к кассирше. Кассирша — в лиловом платье, покрывавшем такие груди, что ими можно было бы выкормить слона, с голыми жирными руками, с могучей вольфсоновской шеей,— потешаясь над моей наивностью, объяснила мне, что они платят только по субботам. Я пришел в субботу. Но в субботу случайно в кассе не

оказалось денег. Я пришел в следующую субботу, потом в следующую. Результат был все тот же. Мне становилось все труднее возвращаться домой, к жене, кормившей младенца, и объяснять ей, что я пришел с пустыми руками. Положение у меня было безвыходное, я сердился, возмущался, но ничего не мог поделать. Я понимал, что мне нужно поговорить с Вольфсоном, но к нему меня не пускали. «Сейчас он занят»,— отвечали мне, и выше Йони и Мони я проникнуть не мог.

Шли уже корректуры переведенного мною романа, а денег я еще не получил ни копейки. И вот как-то раз я натолкнулся на самого Вольфсона в комнате у Йони и Мони. Он шел в свой кабинет, но я остановил его.

Он был выше меня на полторы головы. Не толст, но дороден, плечист и удивительно здоров. Ему, вероятно, было года тридцать два, и только по своей крайней молодости я считал его человеком солидного возраста. Он был разительным воплощением той новой буржуазии, которая на короткий срок возникла в России после гражданской войны,— наглой, жадной, отважной, бесцеремонной, циничной, не сомневающейся в своей конечной победе. Я спросил его, когда он мне заплатит.

— Приходите в следующую субботу,— сказал он и двинулся к двери своего кабинета.

Я сказал, что приходил уже много суббот.

— Мы всем так платим, кроме тех, кто нам очень нужен,— ответил он.

Это меня взорвало. И я решил пустить в ход свой главный козырь. Я к тому времени был уже членом профсоюза и сказал:

— Я буду жаловаться на вас в профсоюз.

Он несколько мгновений молча смотрел на меня, потом захохотал. Хохот у него был громовой, его всего колыхало от смеха. Захохотал Йоня, захохотал Моня, взвизгнула и захохотала кассирша. У них у всех были золотые зубы, и открытые рты их сверкали, как четыре солнца. Их трясло от хохота. Дедушка Флейтман громко смеялся, стоя в дверях.

Униженный, я вышел в коридор. Я сам понимал, что обращаться в профсоюз — бесцельно. Во всяком случае, это будет очень долгая канитель. В отчаянье я решил посоветоваться со Стеничем.

Я был с ним едва знаком.

Взволнованный, вошел я в редакторскую. Несмотря на

жаркую погоду, Стенич был, как всегда, элегантен — пиджак в талию, белейшая рубашка, запонки на манжетах, яркий, но почтенный галстук. Он слушал меня внимательно и серьезно, блестя очками, Анна Митрофановна вздыхала. Тут же был и дедушка Флейтман.

— Есть один способ получить с него деньги,— сказал Стенич, выслушав мою негодующую речь.— Единственный, но зато верный...

— Какой?

— Возьмите лист бумаги и напишите заявление.

Я схватил лист и ручку:

— Кому писать?

— Вольфсону, конечно. Возьмите заявление в зубы, ложитесь на брюхо и ползите к нему в кабинет. Тогда он вам сразу заплатит.

И, глядя в мое растерянное лицо, прибавил:

— Другого способа нет.

Я почувствовал себя оскорбленным. Потом посмотрел в его красивые глаза, увеличенные стеклами очков, и рассмеялся. Рассмеялся с благодарностью, потому что он дал мне урок: не унижаться.

Мы вышли из издательства вместе. Еще на лестнице он стал читать наизусть Блока. Мы наперебой читали друг другу стихи, восхищаясь, чувствуя, что понимаем их одинаково и что наш общий мучитель Вольфсон не имеет над нашими душами власти.

И внезапно увидели мою двадцатилетнюю жену, возившую в колясочке полуторамесячную дочку.

Я представил Стенича. Он с восхищением разглядывал нашу дочку,— оказалось, ему никогда не случалось видеть таких маленьких детей.

— О, эти девственные пяточки, которые еще никогда не ступали по земле!— воскликнул он.

С этих пор мы подружились, безудержно, как дружат только в ранней молодости, и стали встречаться каждый день.

В течение тринадцати лет я встречался с Валей Стеничем почти ежедневно, почти каждый день послеобеденные часы он пролеживал у меня в кабинете на диване, он был человек с открытой душой и делился со мной почти каждым своим помыслом, и все же я чувствую, что бессилен его описать. Он был ярок, как павлиний

хвост, и так многоцветен, что у меня не хватает красок. Первоначально мы сошлись с ним на любви к стихам. Мы без конца читали друг другу стихи и удивлялись совпадению наших вкусов. Так же как и я, из поэтов двадцатого века он превыше всего ставил Блока. Он знал Блока всего наизусть и, когда читал мне его стихи, поминутно снимал очки, чтобы вытереть слезы. Очень любил некоторые стихи Маяковского. Подобно мне, любил Мандельштама и Ходасевича. Из старых поэтов он, как и я, любил Некрасова, Фета, Полонского, которых в те годы в среде интеллигентной молодежи не любили, не знали и, не зная, презирали.

Как я уже говорил, в эпоху нашей дружбы он больше не писал стихов и не считал себя поэтом. Он слишком любил и понимал поэзию, чтобы не видеть, как слабы были его собственные попытки. Он даже скрывал, что прежде писал стихи, и никогда не читал мне тех своих стихов, которые когда-то читал Блоку.

В нашей дружбе не было равенства. Он был старше меня на семь лет, и это чувствовалось всегда, а особенно вначале. Нередко он обращался со мной насмешливо, но я не обижался, так как любил его и твердо знал, что он меня любит. Чаще всего издевался он над моей неряшливостью. Говорил, например, про мой галстук, что чуть я его снимаю, он сам ползет в помойное ведро. Мои брюки, утверждал он, до того просалились, что стали тверды, как жестяные трубы, и я, раздеваясь по вечерам, ставлю их возле кровати стоймя, а утром впрыгиваю в них сверху.

Я хохотал вместе с ним, чувствуя, что под насмешкой скрывается ласка.

Он был блистательно и тонко остроумен, но передать его остроумие невозможно, потому что заключалось оно не столько в слове, сколько в жесте, в интонации и всегда было приурочено к мгновению, к неповторимому сплетению характеров и обстоятельств. Некоторые его остроты разрастались до размера целых новелл или мифов — с вымышленными персонажами, которые действовали в течение многих месяцев и всякий раз — к случаю. Был им изобретен, например, такой персонаж — Дурак с Байдарскими воротами. В жизни этого Дурака было одно-единственное яркое событие — он как-то побывал в Крыму и повидал Байдарские ворота. Они произвели на него неизгладимое впечатление и чрезвы-

чайно повысили уважение к себе. И когда кто-нибудь в его присутствии говорил о политике, о музыке, о литературе, то есть о чем-нибудь для него непонятном, он, чтобы доказать, что и он не лыком шит, хлопал говорившего по колену и начинал:

— Позвольте, я вас перебью. Когда прошлым летом я был на Байдарских воротах...

И когда Стенича кто-нибудь перебивал, он говорил:

— Вы как Дурак с Байдарскими воротами.

Дурак с Байдарскими воротами имел свои суждения обо всем на свете, и, если что-нибудь случалось, Стенич сообщал, что думает об этом его Дурак. Особенностью этого Дурака было безмерное преклонение перед логикой. Когда он мыслил, из его головы вылетали искры и раздавался сухой электрический треск.

Вообще Стенич удивительно чутко чувствовал дураков и сразу распознавал их, под какой бы маской они ни скрывались. Про одного нашего знакомого он говорил:

— Это такой дурак, что за ним уже начинаются вещи: самый умный шкаф, самый умный стол.

Кроме Байдарского Дурака, одно время был у него другой мифический персонаж, который говорил про себя, картавя:

— Я не граф, я не князь, я Овчина-Телепень-Серебряно́й-Погорельский.

Все рассказы о похождениях Овчины-Телепня были приурочены к 1916 году — последнему году перед революцией, когда Петроград кишел великим множеством авантюристов. Овчина-Телепень-Серебряно́й-Погорельский выдавал себя за прямого потомка древних московских бояр, носил боярскую бороду, стригся в кружок и ходил в Дворянское собрание в расшитом кафтане и русских сапогах. Был у него роскошный выезд — рысак, покрытый черной сеткой с серебряными кистями, и огромный кучер Никита с бородой лопатой, с перьями на шапке, в поддевке с красным кушаком.

— Никита, к Казанскому собору! — говорил ему Телепень.

Рысак мчал его к Казанскому собору. Там, на самом людном месте Невского, Овчина-Телепень выходил, поднимался на паперть, но в собор не входил, а падал на ступени и начинал молиться. Молился он долго, вокруг собиралась огромная толпа, свистели городовые, но он ни

на кого не обращал внимания, крестясь и отбивая поклоны. Потом вдруг вставал, садился в свой экипаж и кричал во весь голос:

— Никита, к Донону.

Донон был самый дорогой ресторан Петрограда.

— Никита, за мной!

Овчина входил в зал, сопровождаемый Никитой, и шел прямо к стойке.

— Рюмку водки!

Рюмка водки даже у Донона стоила всего сорок копеек, ради таких ничтожных трат к Донону ходить не полагалось, и рюмку протягивали Овчине-Серебряно́му с пренебрежением. Тогда он, выдержав паузу, говорил:

— И дюжину шампанского Никите!

Стенич был неистощим в изобретении похождений Серебряно́го-Погорельского, импровизировал все новые сцены с длинными диалогами. Я почти все перезабыл, помню только, что одна из плутней Телепня заключалась в том, что он собирал деньги для никогда не существовавшего кавалергарда Коко Голицына, которому якобы грозит исключение из полка за неплатеж карточных долгов.

— Кто не был молод, графиня!— говорил, грассируя, Овчина-Телепень девяностолетней графине Клейнмихель, фрейлине императорского двора, заехав на своем Никите к ней в Аничков дворец.— Коко кумир полка, его обожают. Отец у него выжил из ума, скуп, не дает ни копейки... Если Коко выгонят, это будет такой удар для его дяди, князя Григория... Помните сетэмабль прэнс[1] Григуар, графиня?.. Вот подписной лист... Граф Адлерберг подписывался на четыреста...

Получив сторублевку, Овчина-Телепень-Серебряно́й-Погорельский отказывался от кофе и удалялся. Из всех его четырех фамилий настоящей была только Погорельский. Отец его держал ларек на Никольском рынке...

Иногда героями стеничевских мифов становились не вымышленные, а живые лица.

Остроумие Стенича бывало нередко язвительным. Некоторые люди какую-нибудь язвительную его насмешку запоминали на всю жизнь и не прощали до конца

[1] Приятнейший князь.— *Сост.*

дней своих. Таких людей, оскорбленно кривящихся при имени Стенича, я встречаю и сейчас, через четверть века после его смерти.

Один член Союза писателей как-то сказал при нем:

— Наш брат писатель...

Стенич мгновенно к нему обернулся и воскликнул:

— Как! У вас есть брат — писатель?

В редакции «Литературного современника» Стенич застал как-то одну поэтессу, сидевшую над корректурой. Заглянув ей через плечо, он увидел, что она правит корректуру своего стихотворения.

— Как! Даже вас печатают в этом журнале!— с ужасом воскликнул он на всю редакцию.

Его многие не любили, но для нас с женой каждый его приход был праздником. Хотя издевался он над нами не меньше, чем над прочими. Однажды он у меня нашел тетрадку моих стихов, которые я писал, когда мне было двенадцать лет — в Куоккале, в 1916 году. Невозможно передать, до какой степени он издевался над этими младенческими стихами. Он их декламировал без конца, он их пел. Наиболее глупые строки он выучил наизусть и читал их вслух в присутствии разных почтенных лиц, заставляя их смеяться надо мной. Но я не испытывал при этом ни обиды, ни малейшей даже досады и от души хохотал громче всех. Я знал, что этот неистовый весельчак, этот пронзительно злой насмешник — на редкость добрый, привязчивый, ласковый, скромный и грустный человек.

Наедине с собой он часто упорно грустил и даже подумывал о самоубийстве. Но шутя не раз меня уверял, что от самоубийства его уберегает привязанность не к жизни, а к житейским мелочам.

— Я бы покончил с собой,— говорил он,— но вот отдал в чистку белые брюки, а они будут готовы только в пятницу.

Этот неистощимый весельчак был очень грустный человек по натуре. Эта грусть вызывалась постоянным недовольством собой,— именно недовольством самим собой, а не внешними формами своей жизни. К внешним формам жизни — к бедности своей, к отсутствию славы — был он, в сущности, почти безразличен. С полным правом он говорил про себя словами Маяковского: «И кроме свежевымытой сорочки, сказать по совести, мне ничего не надо». А сорочки у него всегда были чистейшие. Безо-

шибочно, как никто, умел он выбрать себе галстук, и любой пиджак сидел на нем так, словно сшит у лучшего портного. Он был одним из элегантнейших мужчин своего времени, не затрачивая на то ни особых усилий, ни средств. Он никогда не имел прочной семьи, не увлекался картами, не пьянствовал и удовлетворялся очень малым, не чувствуя себя ущемленным. Главный источник недовольства собой лежал в другом. Он не мог представить для себя никакой деятельности, кроме литературы. А из литературных его попыток очень долго ничего не получалось,— ничего такого, чем бы он мог быть доволен сам.

Писать стихи, как я уже говорил, он бросил бесповоротно. Он решил писать прозу, и я не сомневался, что его ждет успех. У него были все данные, чтобы стать прозаиком,— наблюдательность, меткость, чувство слова, умение построить образ, характер. Правда, все это проявлялось в его устных рассказах, но почему бы тем же свойствам не проявиться и на бумаге? И вот завел он тетрадку в клеенчатой обложке и стал время от времени в ту тетрадку что-то записывать. Я любопытствовал, но он держал в секрете.

— Так... Отдельные наблюдения... Удачные фразы...— объяснил он.— Материал собираю...

Прошло полгода, а то и больше, прежде чем я увидел эту тетрадку во второй раз. С удивлением я заметил, что в ней исписаны только первые три страницы.

— Но ведь это заметочки,— сказал он.— Кирпичики, из которых все будет построено.

Он снял очки, чтобы протереть их, и посмотрел на меня робко и неуверенно. Когда он снимал очки, глаза его всегда оказывались робкими и неуверенными.

Я попросил его почитать, и он прочел — с надеждой и страхом в голосе. Я слушал его внимательно, с напряжением, стараясь разобраться. Но разобраться не мог. Все это были отдельные фразы, никак между собою не связанные, или коротенькие зарисовки — и тоже каждая особняком. Во всем этом нельзя было уловить никакого общего замысла, даже сюжетного или стилистического, это не было объединено никакой целью, никакой мыслью. Не было даже наблюдательности, приметливости. Объединяло эти фразы только стремление к вычурности, только желание сказать так, как никогда не было сказано раньше. Да и вычурность была вымученная, без

блеска, без юмора. Вот какой примерно вид имела одна из заметок:

«В ресторан вошел грузин с лицом величественным, как явление природы — как гроза, как горный хребет, как облако».

Эта заметка привлекла мое внимание, потому что, пожалуй, была лучше других.

— Что вы собираетесь делать с вашим грузином дальше?— спросил я.

— Не знаю,— ответил он печально и захлопнул тетрадь.

— Но ведь у вас есть Серго Куртикидзе! Вот если бы вы о нем написали!..

Серго Куртикидзе был сосед Стенича по коммунальной квартире, и Стенич создал о нем один из своих блистательнейших мифов. Я никогда не видел Серго Куртикидзе, но точно знал, что он скажет и что он сделает при тех или иных обстоятельствах. Стенич вылепил из него образ по-гоголевски отчетливый и яркий. Теперь я, разумеется, все перезабыл и помню только, что Куртикидзе хоронил свою скончавшуюся тещу по православному обряду, и отпевал ее сам архиерей; на поминках тоже присутствовал архиерей, и потом Серго Куртикидзе говорил Стеничу:

— Этот архиерей такой интеллигентный человек: прекрасно ко мне относится.

С тех пор весь круг знакомых Стенича стал употреблять слово «интеллигентный» в том смысле, который ему придал Серго Куртикидзе. Стенич говорил мне:

— Главный бухгалтер Госиздата такой интеллигентный человек — выдал мне сегодня аванс.

— А мне отложил уплату до вторника,— жаловался я.

— Ну, для вас он полуинтеллигентный, а для меня интеллигентный: прекрасно ко мне относится!

И я посоветовал Стеничу вместо всех этих заметок сесть и написать про Серго Куртикидзе.

— Не получится,— ответил он.

— Ну, напишите про Овчину-Телепня-Серебряного-Погорельского.

— Тоже не получится. Это все можно рассказывать, а писать нельзя. Потухнет на бумаге. У меня потухнет...

И Стенич, страдавший слишком ясным пониманием себя и своих возможностей, больше не пытался писать прозу. Писать он не мог. Он был идеальный читатель.

...Он читал и восхищался. Как он умел восхищаться! Он восхищался деятельно, заставляя восхищаться всех кругом. Он ненавидел и презирал тех, кто не восхищался с ним вместе. Мало сказать, что он восхищался,— он влюблялся. У него были постоянные неизменные любви — Толстой, Достоевский, Пушкин, Блок,— и внезапные влюбленности, пламенные и сокрушительные. Влюблялся он в современных поэтов и писателей, влюблялся разом — и в книгу, и в автора. Он был великий пропагандист складывавшейся в те годы советской литературы. Мы, ленинградские литераторы, именно от Стенича узнали о «Разгроме» Фадеева, о Василии Гроссмане, о Валентине Катаеве, об Ильфе и Петрове, об Юрии Олеше. Разумеется, мы узнали бы о них и без Стенича, но именно Стенич первый растолковал нам их, заставил нас ими восхищаться, понять каждого как неповторимое явление искусства. Ему всегда мало было восхищаться книгой и заставлять всех кругом восхищаться ею; ему нужно было знать любимого автора лично, дружить с ним, обольщать его, спорить с ним, дразнить его, чтобы размотать его, как клубок ниток, до самого конца, до деревянной катушки. Он часто ездил в Москву и проводил там много времени, а потом, вернувшись, часами рассказывал нам о Евгении Петрове, о брате его Валентине Петровиче Катаеве, о Льве Никулине, о Юрии Карловиче Олеше, пересказывал их шутки, блистательно имитируя неповторимую манеру каждого острить, наблюдать, думать. Впоследствии я сам познакомился с ними и мог убедиться, до какой степени Стенич был точен и проницателен. Признаться, при личном знакомстве я испытал даже некоторое разочарование — по рассказам Стенича каждый из них представлялся мне ярче и определеннее.

С Юрием Карловичем Олешей у Стенича был настоящий многолетний роман — иначе не назовешь те отношения, полные восторга, ревности, любовных распрей, тяжелых объяснений и снова восторга, которые их связывали. Конечно, как во всяком романе, один любил, а другой позволял себя любить, и любил, конечно, Стенич, а позволял любить Олеша, но так уж бывало у Стенича во всех его романах с писателями. Он обречен был любить больше, чем любили его самого, и привык к этому, и нисколько этим не тяготился, потому что любовь его была бескорыстна.

Казалось, сама природа создала его для того, чтобы

он был другом писателей. Писателю всегда нужен такой друг, умный, пылкий, проницательный, заинтересованный в его работе почти как он сам. Стенич был чужд лести, он никогда не говорил человеку в лицо того, чего не чувствовал и не думал; напротив, он был насмешлив до жестокости, и проницательных его насмешек не избегал никто — ни враг, ни лучший друг. Едкой кислотой своих насмешек он выжигал все глупое, пошлое, фальшивое, напыщенное, механическое. Для высмеиваемого единственной защитой было — смеяться вместе с ним. И человек, который был строг к себе и требовал от себя многого, смеялся над собой вместе со Стеничем. И дорожил дружбой Стенича, потому что Стенич помогал ему понять самого себя.

Стенич, как мы знаем, спорил с Блоком, но этот спор был сплошной мистификацией, потому что Стенич был не только почитателем, но и единомышленником Блока. Этот спор был подобен спору черта с Иваном Карамазовым,— ведь черт тоже говорил Ивану Карамазову только то, что думал сам Иван Карамазов и что он ненавидел в себе. Стенич спорил с Блоком с позиций эстетизма, с позиций представлений об искусстве как о замкнутой сфере, то есть позиций, которые всегда были искушением для Блока, искушением, которое Блок преодолевал трудно, с гневом и ненавистью. Вот причина, почему спор со Стеничем так задел Блока и так взволновал его. А на самом деле Стенич был единомышленником Блока, любил в искусстве только живое, только страстно заинтересованное в общественной человеческой правде.

Как-то раз в середине тридцатых годов Стенич явился к нам и сказал:

— Я сейчас целых два часа импонировал Тынянову.

Я отлично знал, что на его языке называлось «импонировать». Это значило так поговорить с человеком, чтобы задеть его за живое, взволновать и заставить раскрыться. «Импонировал» Стенич обычно не соглашаясь, а споря. Искусство «импонирования» требовало прежде всего глубокого знания собеседника, отгадки его внутреннего мира; умения невзначай коснуться той его раны, которая наиболее его мучает, и при этом не потерять, а завоевать его доверие и заставить его вывернуть себя наизнанку. Чем умнее собеседник, тем труднее ему «импонировать», а Тынянов был человек умнейший, тончайший,

образованнейший, не менее остроумный и язвительный, чем сам Стенич. Вот почему Стенич был так горд своей удачей. Впрочем, я не вполне уверен, что он остался победителем в споре. Неизвестно, кто кого «переимпонировал». В конце тридцатых годов, когда Стенича уже не было на свете, я часто встречался с Тыняновым, и тот постоянно заговаривал со мной о Стениче, и всегда с уважением и каким-то тревожным интересом.

Стенич, открыватель талантов, один из первых заметил в Ленинграде двух поэтов — Бориса Корнилова и Александра Прокофьева. Оба они состояли в ЛАППе, а ЛАПП был полон поэтов, подражавших Крайскому и Евгению Панфилову, очень слабеньких и почти неотличимых друг от друга. И Стенич первый прокричал на весь город, что Корнилов и Прокофьев не просто несколько даровитее других, а титаны, по-новому изображающие мир. Слушали его с недоверием, но недоверие только подстегивало его энтузиазм. Переходя из дома в дом, из редакции в редакцию, влюбленно читал он «Улицу Красных Зорь» Прокофьева — всю книгу наизусть. Для меня «Улица Красных Зорь» — лучшая, любимейшая книга Прокофьева,— может быть потому, что полюбить ее заставил меня Стенич. Не меньше восхищался он и Корниловым и признавал первенство то одного, то другого. Они оба действительно резко выделялись среди толпы гладеньких эпигонов акмеизма, сладеньких «пролетарцев», набожно воспевавших вагранки взятыми напрокат у Бальмонта ритмами, имажинистов,— всей этой толпы, которая заглушала советскую литературу шумом своих мелких драк. Корнилов и Прокофьев писали о революции, о новой складывавшейся кругом жизни, писали новыми незалитературенными словами, писали смело и прямо, с юмором, с патетикой, с любовью к людям, с пристальным вниманием к действительности. И Стенич в пропаганду их стихов вложил весь свой бешеный темперамент. Разумеется, по своему обыкновению, он постарался подружиться с ними, поимпонировать им.

Сошелся Стенич и еще с одним рапповцем — с Михаилом Чумандриным,— имя которого звучало грозно и страшно для питерских интеллигентов конца двадцатых годов. Это был молодой толстяк в косоворотке, самоуверенный, темпераментный, с самыми крайними левацкими взглядами. Его приверженцы дали ему прозвище «бешеный огурец». Он не признавал русских классиков,

потому что они были дворяне, не признавал переводной литературы, потому что она сплошь буржуазная.

— Лучше своя телега, чем чужой автомобиль,— любил говорить он.

При его нетерпимости в понятие «свой» попадали чрезвычайно немногие. Все те писатели, которые с первых лет революции создавали советскую литературу, оказались для него не «своими», а «чужими»,— просто потому, что были интеллигенты. «Своими» он признавал только некоторых рапповцев. Всех остальных он ненавидел и считал нужным истребить. Алексей Толстой — новобуржуазная литература, Маяковский — мелкобуржуазный поэт, Федин и большинство серапионов — правые попутчики...

Он казался несокрушимым в своей заскорузлой узости. Сверкая маленькими голубенькими глазками на толстом одутловатом лице, держал он свои сокрушительные речи — всегда от имени Советской власти и мирового пролетариата,— и всякого, кто осмеливался ему возражать, немедленно причислял к контрреволюционерам. Он не был ни карьеристом, ни приспособленцем. Это не было средством для проталкивания в печать своих неумелых романов. Это был человек скромный, бескорыстный, даже аскетический. Нетерпимость его была искренняя.

— Он на чистом сливочном масле,— говорил про него Стенич.— Ни капли маргарина.

Тем более сокрушительной казалась его нетерпимость. И было нам чему удивляться, когда вдруг Чумандрин подружился со Стеничем.

Казалось бы, все в Стéниче должно было бы быть ему чужим и противным, начиная с галстука. Чумандрин считал галстук признаком буржуазности, галстуков не носил и всех людей в галстуках брал под подозрение. Исключение из партии, непролетарское происхождение, знание трех языков, обоготворение Льва Толстого и Блока, любовь к стихам Мандельштама и Ахматовой — «этих внутренних эмигрантов», дружба с «правым попутчиком» Олешей — все должно было отвращать Чумандрина от Стенича. И вдруг оказалось, что то тут, то там их видят вместе. Причем Чумандрин хохочет от каждого слова Стенича и поглядывает на него не только ласково, но даже восхищенно. И пожалуй, еще удивительнее было то, что Стенич говорил про Чумандрина:

— Пишет пока плохо. Но дьявольски умен.

И вот на глазах у нас Чумандрин стал изменяться.

Уже одно то, что мы увидели его лицо, прежде всегда насупленное, смеющимся, изменило наше представление о нем. Оказалось, что природа весьма щедро наградила его благодатным чувством юмора. Медленно, но упорно, как весенний лед, таяли его сектантские пролеткультовские представления о литературе. Прежде всего выяснилось, что он просто не читал всего того, что так ненавидел. Стенич прочел ему наизусть «Медного всадника» — и потряс. Чумандрин стал запойно читать Льва Толстого и чем больше читал его, тем лучше относился к современным писателям, жившим тогда в Ленинграде,— к Чапыгину, к Шишкову, к Форш, к Федину, к Слонимскому, к Козакову, к Никитину, к Зощенко. В Зощенко он просто влюбился,— здесь тоже сыграла роль его чувствительность к юмору. На наших писательских собраниях он стал говорить о Зощенко не только уважительно, но даже как-то робко. В «попутчиках», которых он так упорно громил и разоблачал, он вдруг увидел своих товарищей, единомышленников и стал деятельно сотрудничать с ними.

Я вовсе не собираюсь все это приписывать одному только влиянию Стенича. Это был общий процесс, который шел тогда подспудно,— слияние так называемой «пролетарской» литературы с так называемой «попутнической» в единую советскую литературу. И дружба Стенича с Чумандриным была только частным случаем, в котором проявился этот процесс. Чумандрин был умный, сложный, искренний человек, созданный революцией и воинственно преданный ей. Это резко отличало его от той толпы невежественных, завистливых и нечистоплотных карьеристов, которыми был переполнен РАПП.

Стенич дружил с ним до конца своих дней, постоянно с ним спорил, но в основном, самом главном, всегда оказывался с ним согласен. Это главное заключалось в их общей ненависти к мещанству, в общей любви к нашей революции и в вере в ее правоту.

У Стенича было много друзей, даже, может быть, слишком много, он не всегда был разборчив, сам понимал это и говорил, цитируя Стиву Облонского:

— Это мои постыдные «ты».

Но никого на свете не любил он так сильно, преданно и благоговейно, как Михаила Михайловича Зощенко. Он упивался каждой его строчкой. Вбежит в квартиру и, снимая пальто, скажет:

— Он мне сейчас читал предисловие к своей книге. Там есть такая фраза: «Эта книга написана простым суконным языком, доступным самому тупому читателю...»

И, протирая платком очки, качаясь от смеха, бормочет:

— Гениально... Гениально...

Для него Зощенко был не легким юмористом, высмеивающим обывателя, каким он казался всем, а писателем глубочайше трагическим. Для него это был титан, поднявший на своих плечах всю безысходную боль маленького человека. Он любил не столько рассказы Зощенко, сколько его повести — «Аполлон и Тамара», «Сирень цветет», «Записки Синягина». Конечно, любил и рассказы и видел в них то же, что в повестях,— не только смех, но и боль. Он любил Зощенко за его великий демократизм, за народность. Он видел в Зощенко одного из тех наиболее им чтимых писателей, которые, являясь искушеннейшими мастерами, свободно входят в сердце любого простодушного и неискушенного человека.

— Я хотел бы печататься на папиросных коробках и конфетных бумажках,— говорил Зощенко, и эти слова приводили Стенича в восторг, вызывали у него слезы умиления.

Они были связаны тесной дружбой, и Зощенко не только позволял Стеничу любить себя, но и сам любил его.

— Валя, он же нежный, как женщина!..— сказал мне как-то Зощенко.

Я помню их вместе на улице — красивых, элегантных, с тростями в руках. Стенич высокий, а Зощенко маленький, оливково-смуглый, с офицерской выправкой, с высоко поднятой головой, с удивительно изящными маленькими руками и ногами. Они вместе фланировали по улицам, вместе сидели в кафе, вместе дружили с актрисами из Театра сатиры и понимали друг друга с полуслова. Называли они друг друга Теодор и Амадеус. Не помню, кто из них был Теодор, а кто Амадеус. Оба эти имени были взяты из повести Зощенко «Записки Синягина». Стенич острил шумно, броско, звонко, с восклицаниями, стараясь быть замеченным всеми, поразить всех и в то же время «работая» только для одного — для Зощенко. Пусть остальные думают о нем что угодно, принимают его за шута, за скандалиста, за проходимца, лишь бы Зощенко оценил, задумался, рассмеялся. Смеялся

Зощенко еле слышно, голос у него был негромкий, ровный, и шутил он всегда с неподвижным лицом, так что не сразу поймешь — шутит он или говорит серьезно. Он в те времена был еще весь светлый, добрый, мягкий, еще не одолевали его припадки мрачности, как впоследствии...

Стеничу не удалось стать ни поэтом, ни прозаиком. Переводчиком он стал случайно, против желания. И был переводчиком поразительным — по тонкости, по чувству стиля. Из него выработался великолепный мастер. Совсем к тому не стремясь, он оказался одним из основателей того, что мы сейчас называем «советской школой художественного перевода».

Начал он переводить, не помышляя ни о чем ином, кроме заработка,— да и о чем еще можно было помышлять, работая для издательства «Мысль». Так же, как и я, он сокращал роман любого размера до двенадцати печатных листов и стремился только к тому, чтобы сдать работу возможно быстрее, потому что Вольфсон не терпел задержек. Но его прирожденный талант переводчика сказался с самого начала. Он не был ни поэтом, ни прозаиком, но обладал удивительной способностью заражаться чужим, а именно эта способность, по-видимому, как раз важнее всего для переводчика. Он влюблялся в писателя, которого переводил, сам превращался в него, чувствовал каждую особенность его стиля и передавал по-русски точно, находчиво и, главное, ярко, поражая гибкостью и богатством своего воображения. Когда он вырвался наконец из «Мысли» и стал работать для не столь диких издательств, он быстро оказался в ряду самых заслуженных и почтенных переводчиков.

Переводил он с немецкого и английского. Из немецких его переводов самая значительная его работа — «Опера нищих» Бертольта Брехта. С английского перевел он много, но больше всего души и труда отдал он переводу романов Дос Пассоса, и именно на их долю выпал наибольший успех.

Романы Дос Пассоса двадцатых годов, замечательные своей подлинной демократичностью, то трагические, то грустно-лирические, были эклектичны по стилю. Одни страницы были написаны в духе Синклера Льюиса, другие — в духе Томаса Харди, третьи — в духе Пруста, четвертые — в духе Джойса. Это ставило перед переводчиком особо сложные задачи, которые Стенич, с его изощрен-

ным чутьем к чужому стилю, разрешал блестяще. Он был влюблен в Дос Пассоса, эта любовь помогала ему перевоплощаться, он сам как бы становился Дос Пассосом, пишущим по-русски, он стремился всех заразить своей любовью к Дос Пассосу, и ему удалось заразить многих, в том числе и меня. Я читал Дос Пассоса с увлечением, много думал о нем, но никак не предполагал, что мне предстоит с ним встретиться[1].

Летом 1928 года мои родители снимали дачу на станции Сиверской, в сотне километров к югу от Ленинграда. Во второй половине лета к ним приехали и мы с женой и трехлетней дочкой. Лето было ужасное — дождь шел третий месяц не переставая. Сиверская в конце двадцатых годов было место нестерпимо унылое. Длинные прямые просеки, поросшие мокрой травой и огороженные гнилыми заборами, назывались проспектами — проспект Ленина, проспект Карла Маркса, проспект Октябрьской Революции. По этим проспектам ходить можно было только босиком; на них паслись тощие мокрые козы, привязанные к вбитым в землю колышкам. Беспрерывный дождь заставлял нас безвыходно сидеть в даче, тесной и неудобной, и мы хандрили. В то утро, о котором пойдет речь, отец мой был особенно не в духе. Он, как часто с ним случалось на протяжении всей его жизни, плохо спал несколько ночей подряд и потому чувствовал себя больным и несчастным. Вскоре после завтрака его потянуло прилечь, но постель, в которой он промаялся без сна всю ночь, казалась ему отвратительной. И он разлегся на столе на застекленной терраске — длинный, костлявый, небритый, босой, прикрытый рыжим демисезонным пальто. Он надеялся задремать под шум дождя, но надежде этой не суждено было сбыться, так как калитка вдруг отворилась и в сад вошел Стенич с каким-то незнакомцем.

Стенич был в полном параде — крахмальный ворот-

---

[1] В архиве Н. Чуковского сохранилось два варианта очерка о Стениче. Публикуется отредактированный и сокращенный автором текст, названный им «Милый демон моей юности» и, по-видимому, предназначенный для печати.

Публикуемый ниже отрывок о Дос Пассосе взят из первоначального варианта.— *Сост.*

ничок, великолепный галстук, отутюженный коричневый костюм (как любил он говорить, костюм «цвета наваринского дыма с пламенем»), коричневая шляпа; в те годы Стенич был чуть ли не единственный человек в стране, носивший шляпу, а не кепку. Пришедший вместе с ним незнакомец был одет гораздо хуже. Это был высокий тощий человек лет тридцати с небольшим, но уже совсем лысый. Маленькая его голова, ничем не прикрытая, была несколько закинута назад, словно он старался рассмотреть верхушки берез, и дождь свободно сек его по лицу и по лысине. На нем была какая-то куртка, надетая поверх фуфайки, и рядом с ним Стенич казался изысканным иностранцем. Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что этот незнакомец — иностранец, американец, и зовут его Джон Дос Пассос.

Дос Пассос, только вчера приехавший в Ленинград и явившийся к своему переводчику, выразил желание побывать за городом, и Стенич решил отвезти его к нам на Сиверскую, потому что в нашей семье говорили по-английски и мой отец, переводчик Уолта Уитмена и О. Генри, считался лучшим знатоком американской литературы. Все это было правильно задумано, но неудачно осуществилось. Во-первых, дождь,— нет ничего унылее и безотраднее ленинградских окрестностей в дождливую погоду. Во-вторых, мой отец: он отлично знал американскую литературу девятнадцатого века, но о более поздних писателях имел тогда, в конце двадцатых годов, самое смутное представление и о Дос Пассосе ничего не слышал. Кроме того, он не выспался, был раздражен, и приезд незнакомого гостя помешал ему и спать, и работать. Мама моя тоже была раздосадована, потому что гостя нужно кормить, а в доме не было ничего, кроме грибов и вареной картошки. К тому же тут же выяснилось, что Стеничу нужно немедленно бежать на станцию и возвращаться в город, а американец останется у нас на весь день.

Стенич ушел, а мы все уселись на террасе вокруг стола, уставившись на нашего гостя. Он нисколько не казался смущенным, охотно ел картошку с грибами и, щуря близорукие глаза, вглядывался в наши лица. Он начал расспрашивать нас о наших родственных отношениях между собой и о том, как каждый из нас приходится бэби — то есть моей трехлетней дочке. Оказалось трудным ответить на этот вопрос,— мы не знали, как

по-английски называются родственные отношения, кроме простейших. Тогда он стал спрашивать, как называются они по-русски, вынул записную книжку и стал записывать в нее: «plemyannitza», «nevestka». Тем временем мы хорошо его разглядели и как бы привыкли к нему. Привыкнуть к нему нам было легко, потому что, несмотря на то что он говорил по-английски, перед нами сидел типичнейший русский интеллигент, знакомый и понятный нам и по усмешке, и по мягкому взгляду близоруких умных глаз, и по неуверенным рассеянным движениям крупных рук, и по дырке на спущенном носке.

Отец мой оживился, разговорился, развеселился, но я чувствовал, что он хочет спать и гость ему в тягость. Дождь не то что прошел, а стал потише, и я, переглянувшись с женой, предложил Дос Пассосу покататься на лодке. Никакое другое развлечение в Сиверской придумать было невозможно. Он с готовностью согласился, сказав, что любит дождливую погоду и что нарочно ходит под дождем с непокрытой головой, чтобы волосы лучше росли. Мы катались втроем — Дос Пассос, жена моя и я. Речка Оредеж, узкая и глубокая, казалась темной под сенью ветвей, почти сплетавшихся над нею. Крупные капли падали с листьев в воду. Я греб, а Дос Пассос внимательно вглядывался в берега. Он сказал, что все это очень похоже на штат Мэн, граничащий с Канадой. Он был очень любезен с моей женой; выходя из лодки, он сорвал в мокрой траве желтенький цветочек и подал ей.

В город мы с ним отправились вместе. Помню, как мы вдвоем шагали через еловый лесок к станции. Только тут он наконец разговорился по-настоящему. Он сказал мне, что в нем течет одна шестнадцатая индейской крови, потому что бабушка его была на одну четверть индеанка. Он объяснил мне, что человек считается белым, а не цветным, если у него индейской крови не больше одной шестнадцатой. Если у человека одна шестнадцатая негритянской крови — он все равно цветной. Я сказал что-то об унизительном положении негров в Америке. Он сказал, что все время слышит разговоры об этом в Европе, но в Америке ничего подобного не наблюдал. Он знает многих негров, и все их любят и относятся к ним самым добродушным образом.

Я заговорил о его романе «Манхэттен», и он объяснил мне, что Манхэттен — его родина, где он с детства знает каждый уголок. И каждому жителю Манхэттена известна

вывеска «Дос Пассос» над подвалом на углу Бродвея и такой-то улицы. В этом подвале помещалась сапожная мастерская его деда, от которого он унаследовал свою португальскую фамилию.

Дед его приехал в Нью-Йорк из Лиссабона восемнадцатилетним парнем, не зная ни одного слова по-английский. Так он и не научился говорить по-английски, хотя дожил в Нью-Йорке до девяноста лет. Он женился на той бабушке Джона Дос Пассоса, в которой была одна четверть индейской крови; бабушка эта не знала ни слова по-португальски и прожила с мужем до глубокой старости в полном безмолвии; однако это не мешало ей настолько хорошо понимать мужа, что она родила ему тринадцать человек детей. Отец Дос Пассоса, сын этой четы, был по профессии адвокат.

Шлепая по грязи, добрались мы до станции, и тут выяснилось, что поезд в Ленинград только что ушел. До следующего поезда оставалось больше двух часов. И, как на зло, снова полил дождь. Что было делать? Я предложил Дос Пассосу зайти в угрюмую избу рядом со станцией, на которой была вывеска «Буфет».

В буфете торговали только пивом. За столиками сидели сиверские выпивохи в разной степени опьянения. Мы заняли столик возле окна. На подоконнике лежал оставленный кем-то парусиновый портфель.

Я попросил пива, моченого гороха, черного хлеба, соли. Дос Пассос пил пиво с явным удовольствием. Он стал рассказывать про сухой закон в Америке и как его обходят. К сухому закону он был настроен крайне враждебно. Ему явно нравился и буфет, в котором мы сидели, и окружавшие нас люди. Он рассказал мне, как в Ленинграде он увидел пьяного, спящего на мостовой под дождем, и как он понял, что, несмотря на социализм, мы такие же люди, как все. Потом вынул из кармана книжечку, положил ее на стол передо мной и спросил, читал ли я ее.

Это был «Герой нашего времени» в английском переводе.

— Я только что прочел,— сказал он.— Великая книга. Вы ее знаете?

— Всем известно, что это великая книга,— сказал я.

— Мне это было неизвестно,— ответил он.— Я никогда прежде даже не слыхал о ней.

Он не знал даже, что Лермонтов писал стихи. Он

никогда не читал Пушкина, хотя слышал его имя. Из Гоголя он прочел только «Тараса Бульбу», и «Тарас Бульба» ему не понравился. Все это меня удивило. В те времена я еще мало встречался с иностранцами и не знал, до какой степени даже образованнейшие из них невинны по части русской культуры.

За одним из соседних столиков пил пиво милиционер — молодой белокурый парень в форменной фуражке, с наганом на боку. Он оживленно разговаривал со своими собеседниками и время от времени поглядывал на нас с Дос Пассосом. И я заметил, что эти взгляды беспокоят Дос Пассоса. Он нервно взглядывал то на милиционера, то на меня. Я, занятый тяжелым трудом — составлением в уме английских фраз,— долго не обращал на его тревогу никакого внимания.

И вдруг милиционер встал из-за своего столика и двинулся к нам. Дос Пассос, гремя стулом, мгновенно вскочил. Лицо его побелело.

— Извиняюсь,— сказал мне милиционер, стараясь быть как можно вежливее.— Мой портфель на подоконнике...

Он обошел наш столик и взял портфель. Дос Пассос, все еще не понимая, стоял на своих длинных ногах, готовый ко всему.

— Извиняюсь... Извиняюсь...— повторял милиционер, прикладывая руку к фуражке.

И только когда он, зажав брезентовый портфель под мышкой, вышел, Дос Пассос наконец все понял, порозовел и опустился на стул. И тут только мне стало ясным, до какой степени страшной кажется ему наша страна и каким одиноким и беззащитным чувствует он себя в ней.

Говорили мы с ним об американской литературе. То есть говорил, разумеется, главным образом, он, и так увлекся, что проговорили мы с ним до прихода нашего поезда, а потом часа полтора в темном вагоне, который с каждой станцией все больше наполнялся вымокшими под дождем дачниками и крестьянами. Помню, почему-то заговорили мы с ним о Джеке Лондоне и О. Генри. К обоим он относился с полным презрением. Это не литература, говорил он, а развлекательное чтиво. Также презирал он и Брет Гарта. По его словам, в восьмидесятых и девяностых годах прошлого века в Америке вообще не было литературы, а существовало только развле-

кательное журнальное чтиво. Первым писателем, возродившим американскую литературу после перерыва в четверть столетия, он считал Теодора Драйзера.

Теодора Драйзера он ставил чрезвычайно высоко. Драйзер, по его словам, учился у Золя и Льва Толстого и перенес в Америку великие традиции европейских литератур. Все современные американские писатели — ученики Теодора Драйзера. И первый из них — Синклер Льюис. Мне нравилось, с каким воодушевлением говорил Дос Пассос о Синклере Льюисе, о его «Мистере Бэббите», которого я сам очень любил. Затем он назвал книги Бена Хэкта из Чикаго и Шервуда Андерсона. Я знал обоих. Я спросил его:

— А кто сейчас лучший писатель в Америке?

Он ответил:

— Хемингуэй.

Так я впервые в жизни услышал это имя.

Конечно, сейчас, через столько лет, я не помню в подробностях, как протекал наш разговор. Но смысл его я запомнил твердо и точно. Разумеется, мы с ним говорили не только об американской литературе. Как для всякого американца, английская литература была для него тоже родной. С большим уважением говорил он о Томасе Харди и Сомерсете Моэме. Но пламеннее всего восхищался он, конечно, Джойсом. Он считал его величайшим писателем современности. И совсем со мной не согласился, когда я сказал, что «Дублинцы» ставлю выше «Улисса». Он тоже высоко ставил «Дублинцев», но «Улисс» — великое открытие. Я отлично понимал, что открытием Джойса в «Улиссе» он считает изображение «потока сознания». В романах Дос Пассоса тоже были целые страницы, написанные отрывочными фразами, без знаков препинания, и я знал, что это прямое подражание Джойсу. Мне это нравилось, но не очень. Этот путь мне казался подозрительно легким, и я догадывался, что он уже превратился просто в моду, которая, как всякая мода, отомрет в свой час.

Но по-настоящему мы с ним поспорили из-за Честертона. И Стенич, и я, мы оба в то время переживали увлечение Честертоном и оба переводили его. Стенич перевел роман Честертона «Живчеловек» («Manalive»), я — роман «Перелетный кабак» («Elyind Inn»). Когда я рассказал об этом Дос Пассосу, он возмутился. Честертон, сказал он, это гнусный фельетонист, печатающий-

ся в самой реакционной прессе. И книги его — сборники фельетонов, не имеющих к литературе никакого отношения. И эксцентричность их — фельетонная. Это — типичный английский консерватор. Слова «реакционер», «консерватор» Дос Пассос произносил с отвращением, как решающий аргумент, в котором заключено полное и окончательное осуждение.

В те годы, когда я встретился с ним, Дос Пассос был радикал, пацифист, гуманист, писавший романы только о «маленьких людях» и только с точки зрения «маленьких людей». Боль «маленького человека» была его болью. Он был первый американский радикальный интеллигент, с которым мне пришлось встречаться. Потом, на протяжении жизни, я встречал их не раз, этих прелестных, порядочных, милых людей, всегда растерянных и неуклюжих, пылких и в то же время во всем сомневающихся, горячих сторонников всего хорошего и непримиримых врагов всего дурного и при этом не имеющих ни одной идеи, как сделать так, чтобы хорошее восторжествовало над дурным.

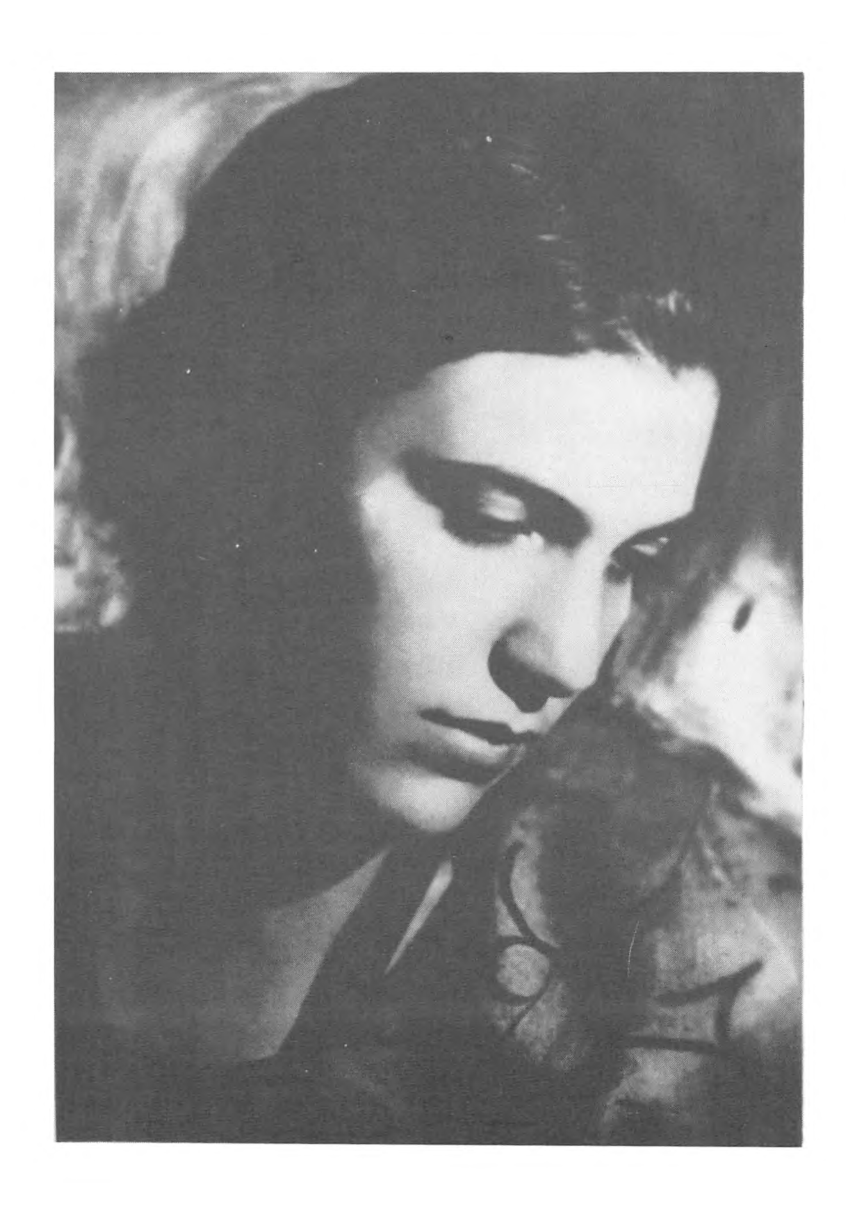
Как это ни кажется странным, но, проговорив с ним столько часов, мы не говорили с ним ни о нашей революции, ни о социализме. То есть я несколько раз заговаривал, но он тотчас замолкал, а потом переводил разговор на литературные темы. Он вообще не задал мне ни одного вопроса о нашей жизни, а между тем он, несомненно, приехал в так мало посещаемую тогда нашу страну, чтобы собственными глазами повидать революцию и социализм. Не знаю точно, почему не хотел он меня расспрашивать,— вероятно, из-за каких-нибудь опасений. Едучи к нам, он, по-видимому, наслушался разных ужасов и теперь все время чего-то боялся. Я видел это, и мне было немножко смешно и немножко жаль его, однако я не мог не радоваться, что он уклоняется от этих тем. Мне не хотелось бесплодных споров о вещах, которые были мною выстраданы и в которых я был убежден, так как я знал, что не мог убедить его. Советский человек шестидесятых годов нашего века не может представить себе, как трудно было подыскивать аргументы в подобных спорах советскому человеку двадцатых годов. Теперь, в шестидесятые годы, у советского человека есть множество аргументов вещных, конкретных, осязаемых, всем известных и притом грандиозных — и спутники, и Сталинградская битва, и автоматика, и энер-



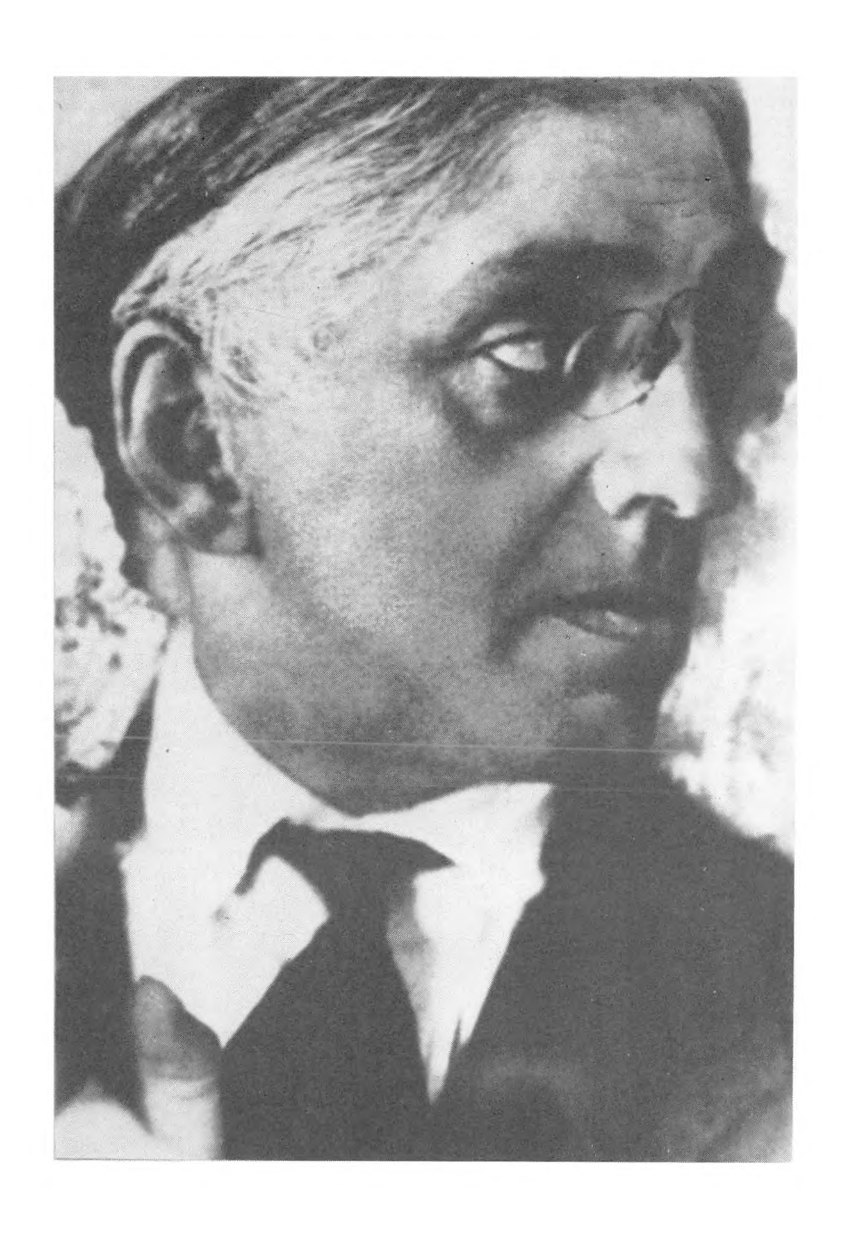
Борис Пастернак. Фото М. Наппельбаума.



Ида Наппельбаум. Фото М. Наппельбаума.



Фредерика Наппельбаум. Фото М. Наппельбаума.



Михаил Кузмин. Фото М. Наппельбаума.



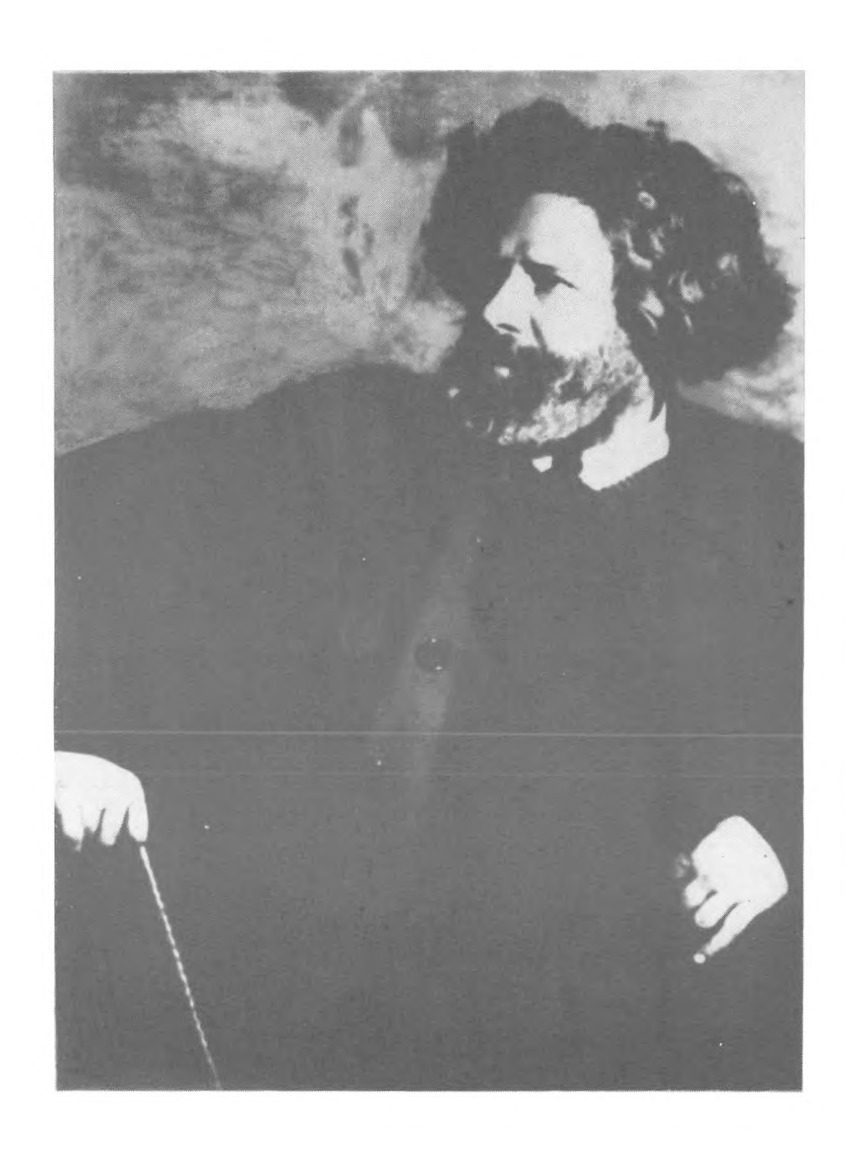
Нина Берберова.

Фото М. Наппельбаума.



Владислав Ходасевич.

Рисунок Ю. Анненкова.



Максимилиан Волошин. Фото М. Наппельбаума.



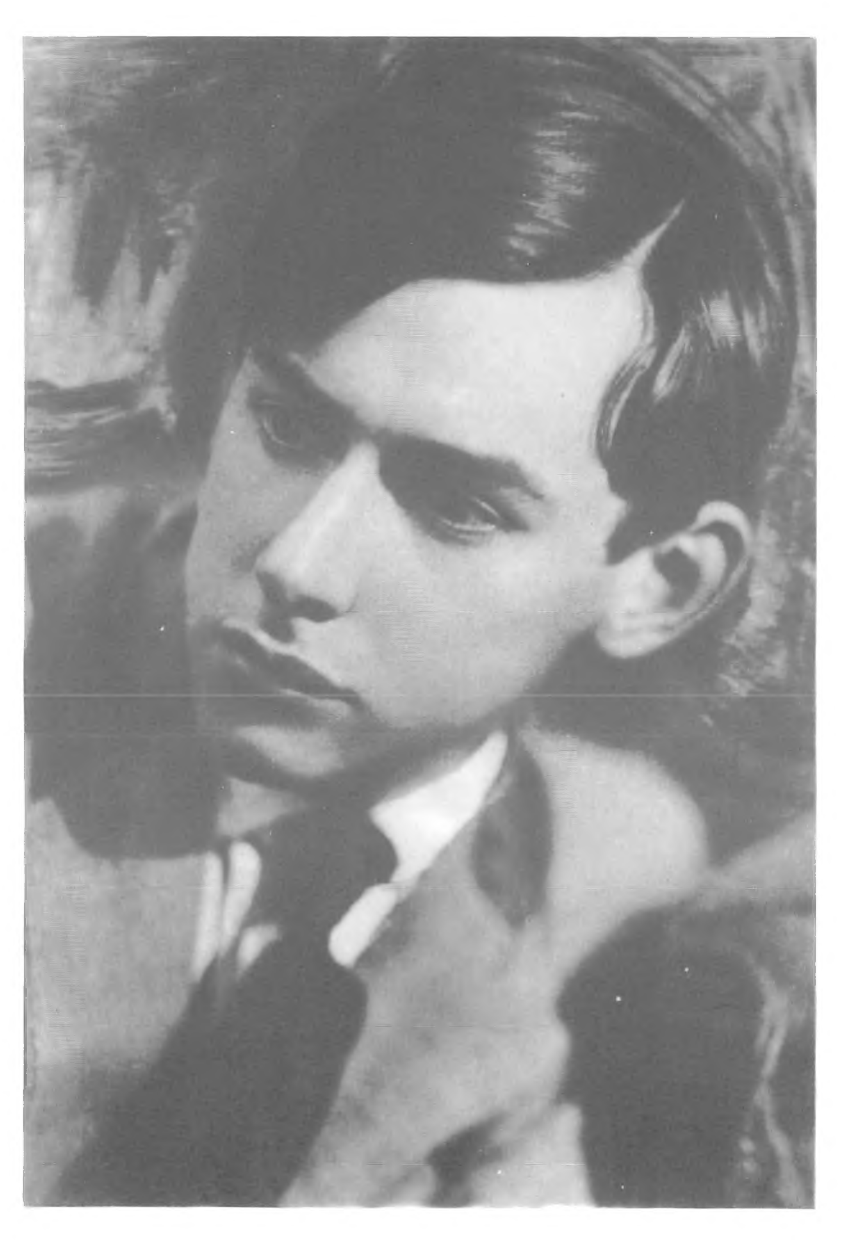
Андрей Белый. Фото М. Наппельбаума.



Александр Габричевский.



Осип Мандельштам. Фото М. Наппельбаума.



Константин Вагинов. Фото М. Наппельбаума.



Николай Чуковский. Фото М. Наппельбаума.



Валентин Стенич.



Бенедикт Лившиц. Фото М. Наппельбаума.



Евгений Шварц.
Фото М. Наппельбаума.



Николай Заболоцкий.



Юрий Тынянов. Фото М. Наппельбаума.



Корней Иванович, Лидия Корнеевна и Николай Корнеевич Чуковские.

гетика, и высшее образование, и целина, и всеобщая грамотность, и народное богатство, и социалистический лагерь, охвативший треть мира. У советского человека двадцатых годов ни одного из этих аргументов не было. Что видел приехавший к нам Дос Пассос кроме толп нищенски одетых, полуголодных людей? Разве мог я ему рассказать про нашу боль, про нашу мечту, про нашу живую ненависть и такую же живую любовь? Разве мог я ему рассказать про красноармейцев девятнадцатого года, которые босые шли по снегу и побеждали солдат в английских сапогах? Разве мог я ему рассказать, что мы видим и знаем будущее? Я мог бы это рассказать Джону Риду, но не Джону Дос Пассосу — при всем его уме, радикализме и прекраснодушии.

На Варшавском вокзале мы с ним расстались, и больше никогда я его не видел. Он пробыл в Ленинграде еще несколько дней — преимущественно в обществе Стенича,— потом уехал в Москву и вернулся в Америку...

Итак, Стенич в последнее десятилетие своей жизни оставил все свои былые мечты о стихотворстве и целиком предался переводам. В тридцатые годы он был, безусловно, лучшим переводчиком западной прозы на русский язык. Стенич переводил реалистически, ярко, потому что всегда стремился передать не слова автора, а ту жизнь, которую изображал автор. Вообще его любовь к литературе была прежде всего выражением его любви к жизни, и переводил он поэтому не классиков, а те книги, в которых «отразился век и современный человек». Он получил широкое признание как первоклассный переводчик и, казалось, мог бы быть удовлетворен. Но удовлетворен он не был. Стремление к самостоятельному творчеству не оставляло его.

Он был музыкален от природы, любил и знал музыку. Жене моей, музыкантше, он не раз говорил, что любит музыку даже больше литературы. И получилось совершенно естественно, что он стал писать либретто для музыкального театра.

Мейерхольд решил поставить в Ленинградском Малом оперном театре «Пиковую даму». Было одно затруднение — Мейерхольду не нравилось общеизвестное либретто «Пиковой дамы», написанное Модестом Ильичом Чайковским в конце восьмидесятых годов. Главный недостаток либретто Модеста Чайковского заключается в том, что

события пушкинской «Пиковой дамы», которые, по Пушкину, происходили в девятнадцатом веке, при Николае I, перенесены либреттистом в восемнадцатый век, в екатерининское время. Сделал это Модест Ильич по цензурным условиям — в восьмидесятые годы николаевское время было еще настолько близким, что дирекция императорских театров предпочитала его не касаться. Естественно, что такой перенос действия из эпохи в эпоху привел к появлению ряда анахронизмов, к антиисторичности, столь несвойственной Пушкину, к искажению основных характеров, к профанации пушкинского замысла. Другим недостатком общепризнанного либретто были плохие стихи, отражавшие общий упадок культуры русского стиха в восьмидесятые годы прошлого века. Мейерхольду нужно было новое либретто «Пиковой дамы», и за создание его взялся Стенич.

Он принялся за дело пламенно, вдохновенно и полгода ходил наполненный музыкой Чайковского, как оркестр. В партитуре нельзя было переменить, разумеется, ни одной ноты, но текст создавался новый. Стенич стремился по возможности приблизить свое либретто к пушкинской повести, передать не только ее сюжет, но и ее тон, колорит, ее близость к декабризму, к петербургским повестям Гоголя. Для пения предлагал он не вирши Модеста Чайковского и не стихи восемнадцатого века, а стихи поэтов пушкинской поры и, прежде всего, самого Пушкина.

Мейерхольд поставил «Пиковую даму» блистательно. Я был на просмотре и могу уверенно сказать, что никогда ни до того, ни после не видел такого удивительного оперного спектакля. «Пиковая дама» прозвучала так, как она никогда нигде больше не звучала — трагедийно, могуче. Мейерхольд блеснул в этой постановке таким зрелым, таким умным мастерством, как никогда раньше... Но роковые сроки уже приблизились. Скоро не стало ни Мейерхольда, ни Стенича, ни их «Пиковой дамы».

Я не знаю, сохранилось ли где-нибудь написанное Стеничем либретто. Если оно пропало, это потеря для всей русской культуры.

Стенич очень нравился женщинам и сам был влюбчив. Он принадлежал к тем мужчинам, которые стыдятся сентиментальности и говорят о женщинах, о своих отношениях с ними грубовато, а в действительности бессильны перед женским обаянием, втайне идеализируют своих

любимых, превращая альдонс в дульциней, и поэтому терпят поражения и мучительно страдают, когда Дульцинея ведет себя, как Альдонса. Мне представляется, что таким был и Маяковский. На свою беду влюблялся Стенич в женщин непостоянных, переменчивых, тщеславных, лживых, любящих легкие и быстрые победы; превращая их воображением в дульциней, он предъявлял к ним требования, которые к таким женщинам предъявлять излишне. И жизнь его была нескончаемой цепью разочарований.

Но никакие разочарования не могли изменить его. Он влюблялся опять и опять, украшая воображением хитрых и низменных, поэтизируя расчетливых и прозаических. Помню, как он без конца рассказывал мне и моей жене о женщине, у которой глаза как «лунные камни». Вскоре мы втроем так и стали ее звать — Лунные Камни.

— Сейчас я встретил Лунные Камни на Невском! — говорил он, входя, протирая очки и волнуясь.— Она вошла в магазин, и я полчаса ждал ее у дверей...

В его рассказах о ней было столько милого тумана, она представлялась ему окутанной такой очаровательной таинственностью, что мне, естественно, захотелось ее повидать. Он меня познакомил с нею — не то в кафе, не то в фойе театра. Я увидел тощую мещанку неясного возраста, с желтоватым лицом, с голубенькими гляделками, в которых ничего нельзя было прочитать, кроме хитрости, жадности и неуверенности в себе...

В середине тридцатых годов, подходя к сорокалетнему возрасту, Стенич стал толстеть. Относился он к этому с отвращением.

— У меня на животе — автомобильные шины,— говорил он брезгливо.

Но и толстея, не терял он изящества. Он по-прежнему нравился женщинам и сам влюблялся в них все страстнее, все безоглядней. Такой неистовой, страстной и безоглядной была и его последняя любовь.

Тогда он уже догадывался, что его арестуют. Он ни в чем не был виноват, но одного за другим арестовали его друзей. Борис Корнилов, Бенедикт Лившиц, Николай Заболоцкий, Николай Олейников, Дмитрий Жуков, Елена Тагер, Вольф Эрлих... Он занят был «Пиковой дамой», он переводил, дела его шли отлично, но от ужаса избавиться он не мог. В это время начался у него роман с одной замужней женщиной. Она тоже ждала ареста,—

не потому, что была в чем-нибудь виновата, а потому что арестовали уже всех вокруг нее. Вот это и был самый неистовый, самый бешеный из всех его романов. Ни он, ни она ничего не скрывали.

— Я благодарен ей,— говорил он мне.— Я заслоняюсь ею от страха.

Арестовали их всех троих — Стенича, его возлюбленную и ее мужа. Спустя год она и ее муж были выпущены. А Стенич, милый демон моей молодости, не вернулся. Неукротимый огонь, так бешено бившийся на ветру, был погашен.

ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ

На одном писательском собрании в Ленинграде, в середине тридцатых годов, выступил Евгений Львович Шварц и сказал:

— Говорить про себя: я — писатель так же неловко, как говорить про себя: я — красивый. Конечно, никому не возбраняется втайне, в глубине души надеяться, что он недурен собой и что кто-нибудь, может быть, считает его красивым. Но утверждать публично: я — красивый — непристойно. Так и пишущий может в глубине души надеяться, что он писатель. Но говорить вслух: я — писатель — нельзя. Вслух можно сказать: я — член союза писателей, потому что это есть факт, удостоверяемый членским билетом, подписью и печатью. А писатель — слишком высокое слово...

Он так действительно думал и никогда не называл себя писателем. В советской литературе проработал он лет тридцать пять, но только к концу этого периода стали понимать, как значительно, важно, своеобразно и неповторимо все, что он делает. Сначала это понимали только несколько человек, да и то не в полную меру. Потом это стали понимать довольно многие. Настоящий успех пришел к нему после смерти. Его пьесы «Снежная королева», «Два клена», «Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо», «Голый король» завоевывают все новых читателей и зрителей. И с каждым годом становится все яснее, что он был одним из замечательнейших писателей России.

Мне трудно писать о нем, потому что я знал его слишком близко и слишком долго. Я познакомился и подружился с ним сразу после его приезда в Петроград в 1922 году и был у него в последний раз за месяц до его смерти в 1958 году. Я столько пережил с ним вместе, столько

разговаривал с ним, наши согласия и разногласия носили такой устойчивый, привычный, застарелый характер, что я относился к нему скорее как к брату, чем как к другу. А никому еще не удавалось написать хороших воспоминаний о собственном брате.

Он родился в 1896 году, в Казани, и, следовательно, был старше меня на семь лет. Отец его, крещеный еврей Лев Борисович Шварц, учился в конце прошлого века на медицинском факультете Казанского университета и, будучи студентом, женился на Марии Федоровне Шелковой. Помню, Евгений Львович одно время собирался подписывать свои сочинения фамилией матери — Шелков. Но намерения этого не осуществил,— вероятно, почувствовал в нем некую нечистоту и фальшивость.

Жизни в Казани он не помнил совсем,— двухлетним ребенком родители перевезли его на Северный Кавказ, в город Майкоп. Однажды Евгений Львович рассказал мне, что в течение многих лет его мучил один и тот же сон, постоянно повторявшийся. Ему снилась безграничная песчаная пустыня, накаленная солнцем; в самом конце этой пустыни — дворец с башнями, и ему непременно нужно перейти эту пустыню и дойти до дворца. Он идет, идет, идет, изнемогая от зноя и жажды, и когда, наконец, до дворца остается совсем немного, ему преграждают путь исполинские кони, грызущие желтыми зубами вбитые в землю деревянные столбы. И вид этих коней был так страшен, что он всякий раз просыпался от ужаса. Как-то раз Евгений Львович уже взрослым человеком рассказал этот странно повторявшийся сон своему отцу доктору Льву Борисовичу. Отец рассмеялся и сказал, что сон этот — воспоминание о переезде из Казани в Майкоп. Они ехали в июле, в самую жару, и на одной станции, где была пересадка, им пришлось ждать поезда целые сутки. Станционное здание — это и есть дворец с башнями. Перед станционным зданием была песчаная площадь, которую им приходилось пересекать, возвращаясь из трактира, где они завтракали, обедали и ужинали. А кони — извозчичьи лошади, привязанные к столбам перед станцией.

В Майкопе Женя Шварц прожил и детство, и юность. Но вспоминал об этом городе мало и редко. Я никогда не слышал от него ничего майкопского, кроме разве двух-трех смешных рассказов о майкопской гимназии. Уехав после окончания гимназии из Майкопа, он ни разу в жизни

больше туда не возвращался. Этим он напоминал мне моего отца, который тоже вот так же покинул когда-то Одессу, где провел детство и юность, и никогда не испытывал желания повидать ее вновь. Мне это понятно: оба они были люди, всю юность стремившиеся вырваться из жалкой мещанской среды, из убогого круга провинциальных интересов, и когда это им удалось ценой огромных усилий, их уже не тянуло обратно.

Годы гражданской войны Женя Шварц прожил в Ростове-на-Дону. Он там учился — не знаю, где. Там он начал писать стихи,— по большей части шуточные. Там он служил в продотряде. Там он стал актером. Там он женился.

Первая жена его была актриса, ростовская армянка Гаянэ Халаджиева, по сцене Холодова, в просторечье — Ганя, маленькая черненькая женщина, шумная, экспансивная, очень славная. Она долго противилась ухаживаниям Шварца, долго не соглашалась выйти за него. Однажды, в конце ноября, поздно вечером, шли они в Ростове по берегу Дона, и он уверял ее, что по первому слову выполнит любое ее желание.

— А если я скажу: прыгни в Дон?— спросила она.

Он немедленно перескочил через парапет и прыгнул с набережной в Дон, как был — в пальто, в шапке, в калошах. Она подняла крик, и его вытащили. Этот прыжок убедил ее — она вышла за него замуж.

Они приехали в Петроград в мае 1921 года. Петроград был давнишней мечтой Шварца, он стремился в него много лет. Шварц был воспитан на русской литературе, любил ее до неистовства, и весь его душевный мир был создан ею. Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Лесков и, главное, Чехов были не только учителями его, но ежедневными спутниками, руководителями в каждом поступке. Ими определялись его вкусы, его мнения, его нравственные требования к себе, к окружающим, к своему времени. От них он унаследовал свой юмор — удивительно русский, конкретный, основанный на очень точном знании быта, на беспощадном снижении всего ложно-торжественного, всегда тайно грустный и всегда многозначный, т. е. означающий еще что-то, лежащее за прямым значением слов. Русская литература привела его в Петроград, потому что для него, южанина и провинциала, Петроград был городом русской литературы. Он хорошо знал его по книгам, прежде чем увидел соб-

ственными глазами, и обожал его заочно, и немного боялся,— боялся его мрачности, бессолнечности.

А между тем, когда он приехал, Петроград прежде всего поразил его своей солнечностью. Он мне не раз говорил об этом впоследствии. Петроград в мае, залитый сиянием почти незаходящего солнца, был светел и прекрасен. В начале двадцатых годов он был на редкость пустынен, жителей в нем было вдвое меньше, чем перед революцией. Автобусов и троллейбусов еще не существовало, автомобилей было штук десять на весь город, извозчиков почти не осталось, так как лошадей съели в девятнадцатом году, и только редкие трамваи, дожидаться которых приходилось минут по сорок, гремели на заворотах рельс. Пустынность обнажала несравненную красоту города, превращала его как бы в величавое явление природы, и он, легкий, омываемый зорями, словно плыл куда-то между водой и небом.

Приехал Шварц не один, а вместе со всей труппой маленького ростовского театрика, которая вдруг, неизвестно почему, из смутных тяготений к культуре покинула родной хлебный Ростов и, захватив свои убогие раскрашенные холсты, переехала навсегда в чужой голодный Питер. Я забыл, как этот театрик назывался. Он возник незадолго перед тем из лучших представителей ростовской интеллигентской молодежи. В годы гражданской войны каждый город России превратился в маленькие Афины, где решались коренные философские вопросы, без конца писались и читались стихи, создавались театры — самые передовые и левые, ниспровергавшие все традиции и каноны. Театрик, где актером работал Шварц, до революции назвали бы любительским, а теперь — самодеятельным, но в то время он сходил за настоящий профессиональный театр. Характер он носил почти семейный: ведущее положение в нем занимали два Шварца — Евгений и его двоюродный брат Антон — и их жены — жена Евгения Ганя Холодова и жена Антона Ирина Бунина. Режиссером был Павел Вейсбрем, которого все называли просто Павликом. Остальные актеры были ближайшие друзья-приятели. По правде говоря, в театрике этом был только один человек с крупным актерским дарованием — Костомолодский. Это был прирожденный актер, стихийно талантливый, настоящий комик,— когда он выходил на сцену, зрители задыхались от хохота при каждом его движении, при каждом слове. Он удивительно владел своим небольшим

легким телом, был стремителен, легок, неповторимо отбивал ногами чечетку. Но главная сила его заключалась в мимике,— лицом он способен был выразить все что угодно. Остальные актеры и актрисы пошли в театр только из любви к искусству, не имея никаких актерских дарований. Не имел их и Евгений Шварц.

Переехав в Петроград, труппа захватила пустующее театральное помещение на Владимирском проспекте. У нее в репертуаре были пьесы — «Гондла» Гумилева и «Проделки Скапена» Мольера. Может быть, была и какая-нибудь третья, но я видел только эти две. В гумилев ской пьесе главную роль — роль Гондлы — исполнял Антон Шварц. Женя и Ганя тоже там кого-то играли, но кого именно — я не запомнил. Пьеса Гумилева, написанная хорошими стихами, совершенно не годилась для постановки, потому что это не пьеса, а драматическая поэма, и спектакль свелся к декламации,— декламировал больше всех Антон Шварц, самоуслаждаясь переливами и перекатами своего низкого бархатного голоса. Однако, из-за имени автора, спектакль имел некоторый успех,— в Петрограде помнили и любили Гумилева. Успех «Проделок Скапена» был совсем другого рода,— там от души хохотали над всем, что выделывал комик Костомолодский.

Конечно, театрик этот оказался чрезвычайно неустойчивым и скоро распался. Он выполнил свое предназначение — помочь группе интеллигентной ростовской молодежи переехать в Петроград, и больше существовать ему было незачем. Петроград как бы растворил его в себе. Костомолодского заприметил Мейерхольд и взял в свой театр в Москву. Павлик Вейсбрем стал второстепенным петроградским режиссером и долго кочевал из театра в театр. Ганя Холодова и Ирина Бунина тоже много лет работали в разных театрах на маленьких ролях. Остальные расстались с актерством навсегда. Я не раз потом удивлялся близкому знакомству Жени Шварца с каким-нибудь экономистом, юрисконсультом или завклубом; и он объяснял:

— А, это бывший актер нашего театра.

Юрисконсультом стал и Антон Шварц, юрист по образованию. Но страсть к чтению вслух чужих стихов не оставила его до конца жизни. Несколько лет спустя он занялся этим профессионально, и бросил свое юрисконсульство, и очень прославился как чтец-декламатор.

А Женя Шварц потянулся к литературе. Он как-то сразу, с первых дней, стал своим во всех тех петроградских литературных кружках, где вертелся и я.

Не могу припомнить, кто меня с ним познакомил, где я его увидел в первый раз. Он сразу появился и у серапионов, и у Наппельбаумов, и в клубе Дома искусств. И у серапионов, и в Доме искусств его быстро признали своим, привыкли к нему так, словно были знакомы с ним сто лет.

В то время он был тощ и костляв, носил гимнастерку, обмотки и красноармейские башмаки. Никакой другой одежды у него не было, а эта осталась со времен его службы в продотряде. У него не хватало двух верхних передних зубов, и это тоже была память о службе в продотряде; ночью, в темноте, он споткнулся, и ствол винтовки, которую он нес перед собой в руках, заехал ему в рот.

Шварц стал часто бывать у меня. Жил я тогда еще с родителями, на Кирочной улице.

Родителям моим Женя Шварц понравился, и отец мой взял его к себе в секретари. Не понравиться он не мог,— полный умного грустного юмора, добрый, начитанный, проникнутый подлинным уважением к литературе, очень скромный и деликатный, Женя Шварц уже тогда обладал непобедимым обаянием, привлекавшим к нему всех думающих и истинно даровитых людей. У отца моего с первых лет революции всегда был какой-нибудь секретарь или, как он говорил, помощник. Это была странная должность с трудноопределимым кругом обязанностей. Пожалуй, основная и непременнейшая обязанность секретаря или помощника заключалась в том, чтобы разделять все умственные увлечения моего отца, будь то увлечение детским языком, или текстами Некрасова, или тайнописью Слепцова, или искусством перевода, или Блоком, Ахматовой, Репиным, Маяковским. Секретарь служил для моего отца первой проверкой всего, что он писал: отец читал ему свои наброски и черновики и жадно следил по его лицу, какое это производит впечатление. Таким образом, секретарь прежде всего был собеседник, на котором проверялись мысли. Все остальные обязанности секретаря — ходить с поручениями в издательства, доставать нужные книги в библиотеках, подходить к телефону, надписывать и заклеивать конверты — носили третьестепенный характер. Естественно, что секретарь дол-

жен был быть человеком, мнение которого отец мог уважать. Если секретарь не любил литературу, оказывался невосприимчивым к ней, он долго не удерживался. Зато человеку пытливому, истинно литературному секретарство у моего отца давало образование, которого не мог дать университет. Секретарями моего отца были в свое время такие известные впоследствии литературоведы и критики, как Василий Гиппиус, Симон Дрейден, Максимович, такие писатели, как Михаил Слонимский и Евгений Шварц. С большинством секретарей у отца устанавливались дружеские отношения, которые потом не прерывались уже всю жизнь. Так как секретарь обедал и ужинал в нашей семье, у него устанавливались дружеские отношения со всеми членами семьи. И те несколько месяцев, которые Шварц проработал секретарем у отца, сблизили меня с ним еще больше.

Я нередко бывал и у него. Жил он тогда на Невском, недалеко от Литейного, во дворе доходного дома, в маленькой квартиренке с таким низким потолком, что до него можно было достать рукою. У Жени Шварца была тогда большая и очень трудная семья. Ганя Холодова привезла с собой из Ростова свою мать и своего младшего брата Федю. Теща Шварца, Эскуи Романовна Холоджиева, была красивая, добрая и мудрая старуха, почти неграмотная, хотя происходила из хорошей армянской семьи — ее родной дядя был Налбандян, известный армянский просветитель, друг Герцена. Федя, пламенный юноша с гортанным голосом, скоро женился, и в квартиренке обосновалась еще и его жена Леля — сдобная бело-розовая блондинка. В этом шумном семействе Женя — с тихим голосом, грустным юмором и деликатной уступчивостью — совершенно терялся. У него не было места ни для работы, ни для отдыха. А между тем он был единственным кормильцем всех этих многочисленных Холоджиевых,— он, актер закрывшегося театра и литератор, еще ничего не написавший.

Естественно, что семья крайне бедствовала и Женя жил в постоянных поисках заработка. Однако в те годы, годы молодости, это его нисколько не угнетало. Все кругом тоже были отчаянно бедны, и поэтому бедностью он не выделялся. Бедны были и все серапионы, с которыми, как я уже говорил, он сблизился сразу после переезда в Петроград. Ему разрешалось присутствовать на их еженедельных закрытых собраниях, а это была великая

честь, которой удостаивались очень немногие. Из серапионов он особенно подружился с Зощенко и Слонимским. И вот, в самом начале 1923 года, он, в поисках заработка, затеял с Мишей Слонимским поездку на Донбасс.

На Донбассе, в Юзовке, при газете «Всесоюзная кочегарка», создавался литературный журнал. Кому-то там пришла в голову мысль привлечь для работы в новом журнале петроградских литераторов. Как это все устроилось, не помню, но приглашения получили Миша Слонимский, Женя Шварц и я. Поколебавшись, я отказался, а Миша и Женя уехали.

Они отсутствовали месяцев восемь и деятельно со мной переписывались. По-видимому, организация журнала оказалась делом очень увлекательным. Из их рассказов я помню, что редактором был назначен человек очень добрый, но малограмотный и безвкусный. Он начал с того, что созвал совещание редакционных работников, чтобы изобрести для журнала название. Шварц высказал мнение, что название должно быть не банальным, не затасканным и в то же время близким сердцу шахтера. Редактор совершенно с ним согласился и, пока Шварц говорил, подбадривал его кивками головы. Когда Шварц кончил, он поблагодарил его и сказал, что у него есть прекрасное название для журнала: «Красный Ильич». Переубедить его было невозможно. К счастью, губком это название не разрешил, а утвердил предложенное Шварцем: «Забой».

Донбасский журнал «Забой» выходил много лет и был очень недурным журналом. Шварц и Слонимский, наладив его, осенью вернулись в Петроград. Уехали они из Петрограда вдвоем, а вернулись втроем. Они привезли с собой своего нового друга Николая Макаровича Олейникова.

Коля Олейников был казак, и притом типичнейший — белокурый, румяный, кудрявый, похожий лицом на Кузьму Пруткова, с чубом, созданным богом для того, чтобы торчать из-под фуражки с околышком. Он был сыном богатого казака, державшего в станице кабак, и ненавидел своего отца. Он весь был пропитан ненавистью к казакам и всему казачьему. Он утверждал, что казаки — самые глупые и самые ленивые люди на свете. В казачьих землях, говорил он, умны только женщины и работают только женщины, а мужчины — бездельники

и выдающиеся дураки. Все взгляды, вкусы, пристрастия выросли в нем из ненависти к окружавшему его в детстве казачьему быту. Родня сочувствовала белым, а он стал бешеным большевиком, вступил сначала в комсомол, потом в партию. Одностаничники избили его за это шомполами на площади,— однажды он снял рубаху и показал мне свою крепкую очень белую спину, покрытую жутким переплетением заживших рубцов. Он даже учился и читал книги из ненависти к тупости и невежеству своих казаков. Казаки были антисемиты, и он стал юдофилом,— с детства ближайшие друзья и приятели его были евреи, и он не раз проповедовал мне, что евреи — умнейшие, благороднейшие, лучшие люди на свете.

Первоначальным увлечением его была вовсе не литература, а математика. У него были замечательные математические способности, но занимался он математикой самоучкой, покупая учебники на книжных развалах. Увлечение математикой сохранилось у него до конца жизни. Особенно интересовала его теория вероятности. Он любил прилагать ее даже к социологии, к марксизму, но я, по своей математической безграмотности, рассуждений его не запомнил.

В журнал «Забой» Олейникова прислали из губкома. Это было первое его соприкосновение с редакционной работой, с литературой. В редакции «Забоя» он подружился с Шварцем и Слонимским. Когда Шварц и Слонимский стали собираться в Петроград, он решил поехать с ними.

Он показывал мне официальную справку, с которой приехал в Петроград. Справка эта, выданная его родным сельсоветом, гласила:

«Сим удостоверяется, что гр. Олейников Николай Макарович действительно красивый. Дана для поступления в Академию Художеств».

Печать и подпись. Олейников вытребовал эту справку в сельсовете, уверив председателя, что в Академию Художеств принимают только красивых. Председатель посмотрел на него и выдал справку.

Олейникову в высшей степени свойственна была страсть к мистификации, к затейливой шутке. Самые несуразные и причудливые вещи он говорил с таким серьезным видом, что люди мало проницательные принимали их за чистую монету. Олейникова и Шварца прежде всего сблизил свойственный им обоим юмор,— и очень

разный у каждого, и очень родственный. Они любили смешить и смеяться, они подмечали смешное там, где другим виделось только торжественное и величавое. Юмор у них был то конкретный и бытовой, то пародийный и эксцентрический, вдвоем они поражали неистощимостью своих шуток, с виду очень простых и веселых, но если посмотреть поглубже, то порой захватывало дух от их печальной многозначительности.

Я уже сказал, что первыми произведениями Шварца были шуточные стихотворения, которые он сочинял с легкостью по всякому поводу и без повода. Они далеко не всегда были удачны, да он и не придавал им никакого значения и щедро разбрасывался ими во все стороны. Еще из Ростова привез он целый цикл стихотворений про некоего князя Звенигородского, напыщенного идиота, рассуждавшего самым нелепым и смешным образом обо всем на свете. Одно из стихотворений начиналось так:

Звенигородский был красивый.
Однажды он гулял в саду
И ел невызревшие сливы.
Вдруг слышит: быть тебе в аду!..

Всем этим своим молниеносным шуточным стихам, основным качеством которых была нелепость, Шварц не придавал никакого значения, и в его творчестве они занимают самое скромное место. Но, как это ни странно, они оказались как бы зерном, из которого выросла буйная поросль своеобразнейших стихов, расцветших в ленинградской поэзии конца двадцатых и начала тридцатых годов. Кажущаяся нелепость была основным отличительным признаком всей этой поэзии.

Наиболее непосредственное влияние шуточных стихов Шварца испытал на себе Олейников.

Олейников никогда не считал себя поэтом. До переезда в Ленинград он стихов не писал. Но очень любил стихи и очень ими интересовался. В редакции «Забоя» он ведал начинающими поэтами и наиболее причудливые из их стихотворений переписывал себе в особую тетрадку. У него образовалась замечательная коллекция плохих стихов, доставлявшая его насмешливому уму большое удовольствие.

Помню, что одно стихотворение из этой коллекции начиналось так:

Когда мне было лет семнадцать,
Любил я девочку одну,
Когда мне стало лет под двадцать,
Я прислонил к себе другу.

В Ленинграде Олейников стал писать стихи, как бы подхватив игру, начатую Шварцем. Стихи его были еще причудливее Шварцевых и скоро приобрели особый отпечаток. Расцвету его поэзии чрезвычайно способствовало то, что они оба — и Олейников, и Шварц — стали работать в Детском отделе Госиздата.

Детский отдел Госиздата в Ленинграде в первые годы своего существования был учреждением талантливым, веселым и озорным. Возник он примерно в 1924 году. Создали его по инициативе моего отца, но уже с 1925 года настоящим его руководителем стал Самуил Яковлевич Маршак, вернувшийся с юга в Ленинград. Впрочем, официальным заведующим Детским отделом числился не Маршак, а небольшого роста человечек Соломон Николаевич Гисин, начисто лишенный юмора и литературных дарований, но зато ходивший в косоворотке и в высоких сапогах. Как-то кто-то спросил Маршака, почему тов. Гисин — Соломон Николаевич.

— Соломон — это он сам,— ответил Маршак,— а Николаевич — это его сапоги.

В этом царстве Гисина и Маршака Шварцу и Олейникову на первых порах жилось хорошо и привольно. То была эпоха детства детской литературы, и детство у нее было веселое. Детский отдел помещался на пятом этаже Госиздата, занимавшего дом бывшей компании Зингер, Невский, 28; и весь этот пятый этаж ежедневно в течение всех служебных часов сотрясался от хохота. Некоторые посетители Детского отдела до того ослабевали от смеха, что, кончив свои дела, выходили на лестничную площадку, держась руками за стены, как пьяные. Шутникам нужна подходящая аудитория, а у Шварца и Олейникова аудитория была превосходнейшая. В Детский отдел прислали практикантом молоденького тоненького студентика по имени Ираклий Андроников. Стихов практикант не писал никаких, даже шуточных, но способностью шутить и воспринимать шутки не уступал Шварцу и Олейникову. Ежедневно приходили в Детский отдел поэты — Введенский, Хармс, Заболоцкий — люди молодые, смешливые, мечтавшие о гротескном преображении мира, огорчавшего их своей скучной обыден-

ностью. А шутки Шварца и Олейникова, самые домашние и незатейливые, именно тем и отличались, что обыденность превращали в гротеск. Олейников писал:

Я люблю Генриэтту Давыдовну,
А она меня, кажется, нет.
Ею Шварцу квитанция выдана,
Ну а мне и квитанции нет.

Генриэтта Давыдовна Левитина была прехорошенькая молодая женщина, жена чекиста Домбровского, родного внука того знаменитого Домбровского, который командовал всеми вооруженными силами Парижской коммуны. Она тоже служила в Детском отделе, и чаще ее называли просто Груней. Шварц и Олейников играли, будто оба влюблены в нее, и сочиняли множество стихов, в которых поносили друг друга от ревности и воспевали свои любовные страдания.

При Детском отделе издавались два журнала — «Чиж» и «Еж». «Чиж» — для совсем маленьких, «Еж» — для детей постарше. Конечно, Маршак, руководивший всем Детским отделом, руководил и этими журналами. Однако до журналов у него руки не всегда доходили, и настоящими хозяевами «Чижа» и «Ежа» оказались Шварц и Олейников. Никогда в России, ни до ни после, не было таких искренне веселых, истинно литературных, детски озорных детских журналов. Особенно хорош был «Чиж»,— каждый номер его блистал превосходными картинками, уморительными рассказиками, отточенными, неожиданными, блистательными стихами. В эти годы Шварц пристрастился к раешнику. В каждый номер «Чижа» и «Ежа» давал он новый раешник — веселый, свободный, естественный, без того отпечатка фальшивой простонародности, который обычно лежит на раешниках. Олейников участвовал в этих журналах не как поэт и даже не как прозаик, а скорее как персонаж, как герой. Героя этого звали Макар Свирепый. Художник — если память мне не изменяет, Борис Антоновский — изображал его на множестве маленьких квадратных картинок неотличимо похожим на Олейникова — кудри, чуб, несколько сложно построенный нос, хитрые глаза, казацкая лихость в лице. Подписи под этими картинками писал Олейников; они всегда были блестяще забавны и складывались в маленькие повести, очень популярные среди ленинградских детей того времени.

Из молодых поэтов, печатавшихся в Детском отделе и его журналах, самым даровитым и резко своеобразным был Даниил Хармс. Вообще двадцатые годы были эпохой небывалого художественного расцвета поэзии для детей. Тяготение к эксцентризму как основе стиля и видения мира казалось наиболее оправданным именно в поэзии для детей. В эти годы были созданы лучшие сказки моего отца и Маршака. Сказки эти живут и посейчас и имеют десятки миллионов читателей. Но почему-то забыты другие сказки, созданные почти в то же время и по-своему столь же блистательные,— сказки Хармса, Введенского и Евгения Шварца.

Шварц начал писать стихотворные сказки для маленьких несколько позже других; первой появилась книжка Хармса «Иван Иваныч Самовар». Она поражала своим ритмом. Чуть ли не из одной фразы «Самовар Иван Иваныч», то повторяемой, то изменяемой на множество ладов, Хармс создал удивительное ритмическое кружево, буйное, стройное, стремительно льющееся, полное оптимизма и очищающее кровь. Вообще именно в ритме, напряженно-свободном, найденном человеком с безошибочным ухом, заключалась сила детских стихов Хармса. На всю жизнь запомнил я его стихотворение, прочитанное когда-то в «Чиже»:

Повар и три поваренка,
Повар и три поваренка,
Повар и три поваренка
Выбежали во двор.
Почему?
Свинья и три поросенка,
Свинья и три поросенка,
Свинья и три поросенка
Спрятались под забор.
Почему?
Режет повар свинью,
Поваренок поросенка,
Поваренок поросенка,
Поваренок поросенка.
Почему?
Почему да почему!
Чтобы делать ветчину!

Конечно, стихотворение это несколько кровожадно, и предлагать его детям не вполне педагогично. Тем не менее ритмическая постройка его прелестна. Да и стоит вспомнить, сколько всяческих кровожадностей в знаме-

нитом «Максе и Морице» Вильгельма Буша; однако это не помешало «Максу и Морицу» сделаться любимым чтением детей всего мира.

Есть у Хармса стихотворение, которое мне хочется упомянуть потому, что оно иногда приписывается Маршаку. В пятидесятые годы я даже видел его изданным вместе с нотами и с надписью: «Музыка такого-то, текст С. Маршака». Потом его печатали под двумя фамилиями — Маршака и Хармса. А между тем оно было напечатано в «Чиже» как стихотворение Хармса, и я помню, как Хармс читал его в Ленинградском театре юного зрителя в числе своих стихотворений и не упоминая о Маршаке. Да и стоит вслушаться в ритм этого стихотворения, чтобы сразу понять, что автор его — Хармс и что Маршак тут ни при чем:

Жили в квартире сорок четыре,
Сорок четыре веселых чижа:
Чиж-судомойка, чиж-поломойка,
Чиж-огородник, чиж-водовоз,
Чиж за кухарку, чиж за хозяйку,
Чиж на посылках, чиж-трубочист.

Хармс был чудак. Я люблю чудаков, но к Хармсу, с которым сталкивался много лет, всегда оставался холоден и равнодушен. Мне чудилось в его чудачестве что-то нарочитое, искусственное, придуманное. Это был здоровый рослый плечистый человек — то, что называется «ражий парень»,— с холодными голубыми глазами и угрюмым выражением лица. Я не помню его улыбающимся. Постоянный посетитель Детского отдела, он никогда не смеялся шуткам Шварца и Олейникова и в царившем там веселье не принимал явного участия. От этого деловитого, хмурого человека меньше всего можно было ждать каких-либо чудачеств. А между тем стоило вам с ним о чем-нибудь заговорить, как он ошарашивал вас чем-либо нелепым и неожиданным.

Его звали Даниил Иванович Ювачев. Хармс — его литературный псевдоним. Но он почему-то скрывал от знакомых свою настоящую фамилию, словно стыдился ее. Помню, один раз он уверял меня, что настоящая его фамилия — Кармс; в другой раз он назвал какую-то двойную польскую фамилию, звучавшую очень изысканно, и утверждал, что род его происходит от крестоносцев, завоевавших Иерусалим. На галстуке он носил странного

вида заколку, изображавшую замок с башнями; разумеется, он уверял, что это родовой замок его предков. Возможно, ему так хотелось быть аристократом, потому что он был женат на княжне Голицыной.

Однажды летом, в очень жаркий день, я встретил его в дачной местности Токсово, на берегу озера, на пляже. Я сидел там в одних трусах и жарился на солнце, а он был в пиджаке, в галстуке, в воротничке, в шляпе. Видя, как он обливается потом, я посоветовал ему снять пиджак, но он сказал, что боится простудиться. Немного погодя я предложил ему вместе выкупаться, но он сказал, что боится утонуть. Меня удивило, что здоровенный двадцатипятилетний мужчина, вдвое шире меня в плечах и на полголовы выше, боится утонуть в мелкой луже, даже на середине которой вода не доходила купающимся до пояса. Но он мрачно объяснил мне, что боится утонуть даже в ванне, и потому всегда моется в ванне только стоя.

Позже, уже в тридцатые годы, когда Детский отдел превратился в Детиздат и переехал с Невского в просторное помещение на Михайловской площади, я там, в одном из коридоров, встретил Хармса. Он бросился ко мне и спросил, не иду ли я отсюда домой. Мы жили с ним рядом, на улице Маяковского, я — в доме № 9, он — в доме № 11; но, несмотря на близкое соседство, мы никогда не бывали друг у друга и никогда не возвращались вместе. Несколько удивленный, я ответил, что действительно пойду домой, когда окончу здесь свои дела.

— А много ли они займут времени? — спросил он.

— Минуть десять — пятнадцать.

— Хорошо, я подожду вас,— ответил он и сел на подоконник.

Директором ленинградского отделения Детиздата был в то время Дмитрий Иванович Чевычелов, которого все называли Какбычегоневычелов. Мне нужно было поговорить с ним, а он был занят, и я вынужден был дожидаться. Минут через двадцать я вспомнил, что меня ждет Хармс, и, чувствуя неловкость, выбежал в коридор. Хармс попрежнему сидел на подоконнике. Я сказал ему, что задержусь еще минут на пятнадцать.

— Хорошо, я подожду,— сказал он покорно.

Но через пятнадцать минут мне стало ясно, что из Детиздата я уйду не скоро. Полагая, что Хармс хочет пойти со мной, чтобы сказать мне по дороге что-нибудь

важное, я предложил ему сесть в уголок и поговорить здесь.

— Нет,— ответил он,— мне нечего вам сказать. Просто я пришел сюда в цилиндре, и за мной всю дорогу бежали мальчишки, дразнили меня, толкали. И я боюсь идти назад один.

Я подумал: зачем же он ходит в цилиндре, если цилиндр доставляет ему столько неприятностей? Что за странное стремление к оригинальности, в которой нет ни радости, ни веселья? У Хармса, детского писателя, вообще были постоянные нелады с детьми. На улицах к нему вечно приставали мальчишки, и он сердился, бранился, гонялся за ними, выходил из себя. ⟨...⟩

Разумеется, я понимаю, что, вероятно, мой портрет Хармса не вполне объективен. Я изображаю его таким, каким он остался у меня в памяти. Несомненно, было же в нем и что-то совсем другое, раз он писал такие блестящие живые стихи, с такими безумно веселыми ритмами. Это другое видели в нем два человека — поэты Александр Введенский и Николай Заболоцкий; они дружили с Хармсом, уважали его, находили прелесть в его чудачествах. Заболоцкий и через четверть века говорил мне о Хармсе с нежностью. Но я знаю, что Олейников и Женя Шварц, восхищавшиеся, подобно мне, детскими стихами Хармса, никогда не сближались с ним и относились к нему так же, как я.

Шварц был писатель, очень поздно «себя нашедший». Первые десять лет его жизни в литературе заполнены пробами, попытками, мечтами, домашними стишками, редакционной работой. Это была еще не литературная, а прилитературная жизнь — время поисков себя, поисков своего пути в литературу. О том, что путь этот лежит через театр, он долго не догадывался. Он шел ощупью, он искал, почти не пытаясь печататься. Искал он упорно и нервно, скрывая от всех свои поиски. У него была отличная защита своей внутренней жизни от посторонних взглядов — юмор. От всего, по-настоящему его волнующего, он всегда отшучивался. Он казался бодрым шутником, вполне довольным своей долей. А между тем у него была одна мечта — высказать себя в литературе. Ему хотелось передать людям свою радость, свою боль. Он не представлял себе своей жизни вне литературы. Но он слишком уважал и литературу, и себя, чтобы превратиться в литературную букашку, в поденщика. Он хотел быть писате-

лем — в том смысле, в каком понимают это слово в России,— то есть и художником, и учителем, и пророком.

Тех, кого он считал писателями, он уважал безмерно.

Помню, как летом 1925 года мы шли с ним вдвоем по Невскому, по солнечной стороне, и вдруг увидели, что навстречу нам идет Андрей Белый. Мы заметили его издали, за целый квартал. Белый шел, опираясь на трость, стремительной своей походкой, склонив седую голову набок и никого не замечая вокруг. Он шел сквозь толпу, как нож сквозь масло, на людном Невском он казался совершенно одиноким. Как метеор проплыл он мимо нас, погруженный в себя и не обратив на нас никакого внимания.

Шварц остановился и остановил меня. Мы долго смотрели Белому вслед — пока его не скрыла от нас толпа, далеко, где-то у главного штаба.

— Он думает,— сказал Шварц, почтительно вздохнув.

В то лето у нас родилась дочь Наталья, и моя теща настаивала, чтобы она была крещена. Теща моя была превосходная женщина, окончившая Смольный институт; взгляды ее на протяжении жизни претерпели крутую эволюцию, и к старости она стала безбожницей. Но тогда, в 1925 году, она находилась еще в начале своей эволюции, и ей казалось невозможным, что внучка ее останется некрещеной. Мы с женой уступили ей, потому что не придавали этому обряду никакого значения.

Женя Шварц внезапно предложил нам стать крестным отцом нашей девочки. Он сказал, что никогда еще никого не крестил и что ему это очень любопытно. Мы с женой почувствовали в этом предложении проявление нежности к нашей семье, и были тронуты, и охотно согласились. Я давно уже знал, что Женя Шварц привязчивый и нежный человек, прячущий свою нежность за шуткой, как, впрочем, и все остальные свои чувства. И я, хотя сам смотрел на крестины как на ничего не значащую дань традиции, был взволнован его желанием покумиться со мной. На крестинах, происходивших в квартире моей тещи, был он застенчив, мил, приветлив со всеми и мягко шутил. Вместе с нами он испугался, когда поп, положив огромную ладонь на крошечное личико новорожденной, опустил ее в воду.

Через год или два в семье Шварца случилось трагическое событие — повесился Федя, брат Гани Холодовой. Этот Федя постоянно ревновал свою жену Лелю, и, кажется, без всяких оснований. Леля была беременна, но от этого

он ревновал ее не меньше. Однажды Леле вздумалось пойти на какую-то вечеринку. Федя сказал ей, что если она вернется позже часа, он покончит с собой. Она вернулась в двадцать минут второго. Он уже висел.

Все это несчастье произошло в квартире Шварца и потрясло его. На руках у него остались три тяжко страдавшие женщины — мать повесившегося, вдова повесившегося и сестра повесившегося. Горе их не имело границ, и Женя, разумеется, не мог предложить им никакого утешения.

В связи с этим печальным событием я совершил самый бестактный поступок за всю мою жизнь. Случилось это так. Примерно месяц спустя я встретил Женю и на его вопрос, почему я долго не захожу, ответил, что я не решался зайти, так как полагал, что им всем сейчас не до гостей.

— Ошибаешься,— возразил он мне.— Нужно же попытаться хоть немного вывести их из уныния. Они тебя любят, будут тебе рады, и, может быть, тебе удастся хоть немного развлечь их.

Я обещал прийти и через несколько дней зашел. Шварца я не застал, но все три женщины были в сборе. Они пили чай и посадили меня с собой за стол. Эскуи Романовна, мать, седая и красивая, застыла в безысходной печали. Леля, вдова, опустив растерянное и испуганное лицо к припухшему животу, звякала большими ножницами — она шила распашонки для будущего младенца; несмотря на горе и на беременность, с одного взгляда на нее было понятно, как должен был сходить с ума черный, словно жук, Федя от ее белокурой, бело-розовой прелести. Горе Гани Шварц, сестры, было патетическим и шумным. Она страдала и за себя, и за мать, и за Лелю.

— Ужасно!.. Ужасно!.. Это невозможно пережить!..— говорила она, хватая меня за руки.

Я растерялся. Я пришел, чтобы рассеять их и хоть немного отвлечь от мрачных мыслей, но не знал, как взяться за дело. Однако во время чаепития разговор все же завязался; я рассказывал о своих домашних делах, об общих знакомых. Меня слушали внимательно, с интересом. Я рискнул пошутить. Ганя рассмеялась; смотрю — даже Эскуи Романовна улыбнулась уголками губ. Это придало мне смелости; я разговорился, стараясь выбирать темы повеселее. Теперь улыбались все трое, даже Леля. Ганя подавала мне бойкие реплики и громко смеялась.

Я был очень доволен собой и становился все красноречивее.

Мы с увлечением обсуждали внешность наших знакомых, переходя от одного к другому. Я настаивал, что один наш общий приятель очень красив. По мнению Гани, он был бы недурен, если бы не то, что у него слишком длинный нос. У меня тоже длинный нос; я решил воспользоваться этим, чтобы повернуть шутку на себя, и, приставив палец к своему носу, сказал:

— В доме повешенного не говорят о веревке.

Женя Шварц повторял мне эту мою фразу много-много лет. Он повторял ее, задыхаясь и трясясь от смеха, и никогда меня не упрекал за нее. Но я всегда слышал в его смехе упрек, так как знал, что для него труднее всего простить людям душевную грубость.

Он всегда судил людей, всегда награждал их в глубине своей души за доброе и осуждал за злое. Это был суд нелицеприятный, справедливый, суд, в котором ничего не было похожего на пристрастный суд Серго Куртикидзе, говорившего: «Архиерей такой интеллигентный человек — прекрасно ко мне относится». Суд Шварца был не только суд справедливый, но и добрый, милостивый; судя, Шварц никогда не забывал о той многогрешной старухе из «Братьев Карамазовых», которая один раз нищему луковку подарила и тем искупила все свои грехи. Кроме того, это был суд тайный, о котором никто не догадывался и приговоры которого никто не приводил в исполнение, даже сам Шварц. Свои приговоры Шварц всегда скрывал за шутками, и нужно было быть очень душевно чутким человеком, чтобы догадаться, что эта шутка и есть приговор. Явного суда он не любил и не признавал права судить вслух ни за кем, даже за собой; ему по душе был только один громкий, явный суд — суд искусства.

Во второй половине двадцатых годов вышла в свет его первая сказка: «Степка Растрепка и Погремушка». Эта прелестная сказка в стихах для маленьких детей не переиздавалась уже лет тридцать пять, что свидетельствует только о том, как мы не умеем ценить и беречь наши сокровища; она могла бы расходиться каждый год в миллионах экземпляров и весело учить читателей изяществу мысли, а также телесной и душевной чистоплотности. Конечно, в ней легко заметить зависимость и от «Мойдодыра», и от ранних сказок Маршака, и от хармсовских ритмов:

Я Степка Растрепка — хрю.
Я свиньям похлебку варю,

Нет в мире меня грязней,
Не веришь — спроси у свиней.

Однако в этой сказке есть то, чего не сыщешь ни в одной сказке Хармса,— презрение к злу, к ничтожеству, требование добра, благородства. Взамен блеска и треска хармсовского стиха, взамен холодного нагромождения причудливых эксцентричностей, летящих в стремительном ритме, вдруг возник человеческий голос, мягко, но настойчиво изобличающий грязь, лицемерие, жестокость и говорящий о красоте доброты. Конечно, в «Степке Растрепке» голос этот был еще очень невнятен; прошли годы, прежде чем он окреп и стал голосом «Обыкновенного чуда», «Тени», «Дракона» — голосом, говорящим правду навеки. Шварц как писатель созревал медленно. Как человек он созрел гораздо быстрее, но прошли годы, прежде чем он нашел изобразительные средства, чтобы выразить самого себя.

В середине двадцатых годов в Ленинграде образовалось новое литературное объединение — обериуты. Не помню, как расшифровывалось это составное слово. (О — это, вероятно, общество, ре — это, вероятно, реалистическое, но что означали остальные составляющие — сейчас установить не могу[1].) Обериутами стали Хармс, Александр Введенский (которого отнюдь не следует смешивать с попом Александром Введенским), Олейников, Николай Заболоцкий, Леонид Савельев и некоторые другие совсем позабытые литераторы. Не знаю, вступил ли в обериуты Шварц,— может быть, и не вступил благодаря врожденной уклончивости своего характера, которая заставляла его избегать слишком определенных положений. Насмешливость мешала ему уверовать в какое-нибудь одно литературное знамя. Но, конечно, он был с обериутами очень близок, чему способствовала его старая дружба с Олейниковым и новая очень прочная дружба с Заболоцким — дружба, сохранившаяся до конца жизни.

Олейников по-прежнему писал только домашние шуточные стихи и не делал ни малейших попыток стать профессиональным литератором. Как бы для того чтобы подчеркнуть шуточность и незначительность своих произведений, он их героями делал обычно не людей, а насекомых. В этом он бессознательно следовал древнейшей тра-

---

[1] Обериуты — Объединение реального искусства.

диции мировой сатиры. Была у него, например, поэма «Жук-антисемит»:

Жук летит и жук жужжит:
— Ж-ж-ж-ж-жид!

Этот жук злобно изобличал всех обитателей леса в том, что они евреи:

Воробей — еврей,
Канарейка — еврейка,
Божья коровка — жидовка.
Грач — пархач.

Кончалась поэма тем, что жук, злобствуя, восклицал:

Одни только евреи
На веточках сидят!

Чем ближе подходило дело к тридцатым годам, тем печальнее и трагичнее становился юмор Олейникова. Как раз на переломе двух десятилетий написал он стихотворение «Блоха мадам Петрова».

Эта несчастная блоха влюбилась. Чего только она ни делала, чтобы завоевать любовь своего избранника:

Юбки новые таскала
Из чистейшего пике,
И стихи она писала
На блошином языке.
Но прославленный милашка
Оказался просто хам,
И в душе его кондрашка,
А в головке тарарам.

Разочарованная в своем любимом, блоха мадам Петрова разочаровалась во всей вселенной. Все, что происходит в мире, кажется ей ужасным:

Страшно жить на этом свете —
В нем отсутствует уют.
Тигры воют на рассвете,
Волки зайчика грызут.
Плачет маленький теленок
Под кинжалом мясника,
Рыба бедная спросонок
Лезет в сети рыбака,
Лев рычит во мраке ночи,
Кошка стонет на трубе,

Жук-буржуй и жук-рабочий
Гибнут в классовой борьбе.

И блоха, не перенеся этой жестокости мира, кончает жизнь самоубийством:

С горя прыгает букашка
С трехсаженной высоты,
Расшибает лоб бедняжка.
Расшибешь его и ты.

Ветер трагических тридцатых годов уже врывался в души, леденя их отчаяньем; и чепушистые домашние стишки выражали время лучше, сильнее, чем стихи, написанные всерьез. Самый чепушистый из писателей двадцатых годов, Зощенко, к тридцатым годам стал писать свои повести, полные безысходной тоски,— «Аполлон и Тамара», «Сирень цветет», «Возвращенная молодость», «Записки Синягина» — и кончил весь этот цикл «Голубой книгой», которая прозвучала как мольба о справедливости, милосердии и чести. В преддверии тридцатых годов вышли в свет «Столбцы» Заболоцкого, очень родственные по манере чепушистым стихам Олейникова, Шварца, Хармса и прозвучавшие как удар по морде мещанина, бессмысленной и беспощадной, все более нагло высовывавшейся отовсюду. Это был канун прихода в мир Гитлера и всего, что ему сопутствовало.

Много-много лет спустя, в середине пятидесятых годов, Заболоцкий написал замечательно нежное стихотворение, в котором вспоминает своих былых друзей — поэтов двадцатых годов. Называется оно «Прощание с друзьями»:

В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений,
Давным-давно рассыпались вы в прах,
Как ветки облетевшие сирени.

Вы в той стране, где нет готовых форм,
Где всё разъято, смешано, разбито,
Где вместо неба — лишь могильный холм
И неподвижна лунная орбита.

Там на ином, невнятном языке
Поет синклит беззвучных насекомых,
Там с маленьким фонариком в руке
Жук-человек приветствует знакомых.

Спокойно ль вам, товарищи мои?
Легко ли вам? И всё ли вы забыли?

Теперь вам братья — корни, муравьи,
Травинки, вздохи, столбики из пыли.

Теперь вам сестры — цветики гвоздик,
Соски сирени, щепочки, цыплята...
И уж не в силах вспомнить ваш язык
Там наверху оставленного брата.

Ему еще не место в тех краях,
Где вы исчезли, легкие, как тени,
В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений.

В этом стихотворении длинный пиджак и широкая шляпа — Хармс. А мир насекомых, жуков, травинок — мир Олейникова.

Драматические сказки Шварца тридцатых и сороковых годов, полные жажды добра и справедливости и бесконечной ненависти к жестокости и лицемерию, для меня навсегда останутся неотрывно связанными с тем, что делали Олейников, Зощенко и Заболоцкий. А между тем Шварц в своих сказках вполне своеобразен и стилистически нисколько не близок ни тому, ни другому, ни третьему. Они написаны собственным голосом, но прежде чем найти собственный голос, ему предстояло пережить глубокую личную трагедию, порвать с Детским отделом и вернуться к театру.

О его личной трагедии — о разрыве с Ганей Холодовой и женитьбе на Екатерине Ивановне — я знаю очень мало. Женя Шварц был скрытен, и никакая близость и дружба не могла заставить его разговориться о том, что, по его мнению, касалось его одного. Я узнал обо всем очень поздно, так же поздно, как и Ганя Холодова, в один час с нею.

Весной 1929 года Ганя Холодова должна была родить. Шварцы стали подыскивать дачу, чтобы сразу после Ганиных родов туда переехать. Так как и они, и мы по своим средствам не могли снять целую дачу, нам пришло в голову объединиться и снять одну дачу пополам. Нашли мы дачу в Токсове, к северу от Ленинграда,— она нам понравилась тем, что была совсем новая, только что построенная, чистая. Мы переехали туда сразу, а Шварцы должны были переехать только после Ганиных родов.

Как раз в то токсовское лето и состоялся мой разговор с Хармсом о купании. Хармс, собственно, лишь за тем и приехал тогда в Токсово, чтобы повидать Шварца. Хармсу

понадобился Шварц, и он искал его в Детском отделе и не нашел, искал на квартире и не нашел, тогда он приехал к нему на дачу и, разумеется, тоже не нашел. Шварц в то лето появлялся на даче редко.

Ганя приехала счастливая, довольная, гордая своим младенцем. Я спросил ее, когда приедет Женя, и она мне уверенно ответила: завтра утром. Но он не приехал ни завтра, ни послезавтра, ни на третий день. Ганя, занятая ребенком, забеспокоилась, но очень мало.

Приехав, Шварц заперся с Ганей, и мы только слышали, как она закричала. Он пробыл с ней час, наскоро простился с нами и побежал к поезду. Лицо у него было белое, в крупных каплях пота. Через три дня Ганя с младенцем и матерью переехала в город.

Больше Шварц к ней не вернулся, и до конца жизни их связывала только дочка. Это была трудная, мучительная для обоих, но прочная связь, потому что Шварц очень любил свою дочь. Ему вообще было свойственно очень любить, и он никогда не умел противостоять любви, потому что был слабый человек. Он совершал решительные поступки именно потому, что чувствовал свою слабость. Полюбив Ганю, он прыгнул с набережной в Дон. Полюбив Екатерину Ивановну, он оставил Ганю и новорожденную дочь. В течение долгого времени он знал, что ему предстоит нанести Гане чудовищный удар; неизбежность этого так страшила его, что он все откладывал и откладывал, ничем себя не выдавая; и удар, нанесенный внезапно, ничем не подготовленный, оказался вдвое страшнее. Вначале казалось, что удар он нанес Гане, и только Гане; но потом обнаружилось, что удар этот прежде всего сокрушил его самого.

Он переехал к красавице Екатерине Ивановне, умной, доброй и любящей женщине; все было благополучно, все вышло так, как он хотел. Но с этих пор у него стали дрожать руки.

Почерк его изменился, превратился в каракули, потому что пальцы его, держа перо, ходили ходуном. За веселым ужином жутко было видеть, сколько ему приходилось прилагать усилий, чтобы попасть вилкой в рот. Как трудно было ему не расплескать водку, поднося рюмку к губам. Прошли годы. Ганя давным-давно была уже замужем за другим, дочь его выросла и стала взрослой, он потолстел, полысел, а руки его продолжали дрожать.

В начале тридцатых годов произошло и другое

важное событие в его жизни — ему пришлось расстаться с Детским отделом. Не ему одному. Вместе с ним ушли из Детского отдела и Олейников, и Андроников, и Груня Левитина. Ушли и почти все авторы, которые издавались там с самого начала,— в том числе и я. Ушли, разумеется, не по своей воле, а по воле Маршака.

Для большинства из нас, удаляемых, событие это в то время казалось непонятным, непостижимым. Дело в том, что каждого из нас в отдельности и всех вместе связывала с Маршаком дружба. Так, по крайней мере, нам казалось. Дружба эта основывалась на многолетней совместной работе, на нескончаемых вдохновенных разговорах об искусстве, на испытанном доверии к дарованиям друг друга. Кроме того, каждого из нас привлек к работе он сам — и Шварца, и Олейникова, и Хармса, и меня, и, несколько позднее, Бориса Житкова. Поэтому наше изгнание казалось необъяснимым предательством.

А между тем в нем не было ровно ничего необъяснимого. Просто Маршак, всегда обладавший острейшим чувством времени, тоже ощущал грань, отделявшую двадцатые годы от тридцатых. Он понимал, что пора чудачеств, эксцентриад, дурашливых домашних шуток, неповторимых дарований прошла. В наступающую новую эпоху его могла только компрометировать связь с нестройной бандой шутников и оригиналов, чей едкий ум был не склонен к почтительности и не признавал никакой иерархии. И он, подчиняясь своему безошибочному практическому инстинкту, стал отделываться от прежних приятелей и соратников.

Отделывался он от них не сразу, не рывком, а постепенно, но неукоснительно. Шварца и Олейникова он изгнал из детской литературы раньше, Бориса Житкова — позже. Детский отдел был преображен в Детиздат, во главе которого стоял не Соломон Николаевич Гисин, а Дмитрий Иванович Какбычегоневычелов. Но роль Дмитрия Ивановича была та же, что и Соломона Николаевича,— служить прикрытием Маршаку, который оставался полным хозяином. Несмотря на это, Детиздат оказался противоположностью Детского отдела. В Детиздате все было чинно, как в настоящем учреждении,— ни смеха, ни шуток. В новом его штате не было ни Олейникова, ни Шварца, ни Андроникова. Их место заняли четыре девушки, грамотные, лишенные особых дарований, но набожно влюбленные в Маршака и верившие только в «редактуру». ⟨...⟩

Изгнанники по-разному отнеслись к своему изгнанию.

Коля Олейников заплатил Маршаку открытым презрением и прямолинейной ненавистью. Он повсюду часами поносил Маршака, и делал это едко, с блеском, создав из него гротескный, уморительный и гнусный образ. Такой же, и даже бо́льшей ненавистью заплатил Маршаку Борис Житков,— когда был изгнан в свой черед. Он ненавидел страдальчески, нервно, неистово, в последние два года своей жизни он ни о чем не мог говорить, кроме как о Маршаке. ⟨...⟩

Иначе отнесся к своему изгнанию Шварц. Его мягкости, доброте, уклончивости претила открытая вражда. Когда его попросили уйти, он послушно ушел, ни с кем не объясняясь. С Маршаком он сохранил хорошие отношения,— правда, далеко не такие, какими они были в двадцатые годы. Житков не мог Шварцу этого простить и, беспощадно браня всех, кто продолжал поддерживать отношения с Маршаком, задевал и Шварца. Я помню, что Шварц не без удовольствия слушал злые и издевательские речи Олейникова о Маршаке и охотно смеялся, но никогда не соглашался с ними полностью и делал попытки несколько смягчить их убийственный смысл.

Но как бы то ни было, его изгнали, он остался без работы и должен был искать выход из положения. Такая же задача стояла перед всеми изгнанными Маршаком, и каждый решал ее по-своему. Я сел писать повесть для взрослых, назвал ее «Юность» и отдал в «Издательство писателей в Ленинграде»; она была крайне несовершенна, но тем не менее ее напечатали, и это определило всю мою дальнейшую работу. Лишив меня возможности издаваться в детском издательстве, Маршак, отнюдь к тому не стремясь, принес мне пользу, за что я ему от души благодарен. В сущности, то же случилось и с Житковым,— изгнанный Маршаком, он написал роман для взрослых «Виктор Вавич», несомненно, продолжал бы с успехом писать для взрослого читателя, если бы не умер. Гораздо хуже сложилась судьба Олейникова. Он никогда не был профессиональным писателем, да, по-видимому, и не стремился им стать. Изгнанный из детского издательства, он принужден был жить случайными заработками.

А Шварц, после продолжительных поисков, нашел свое место в театре, а драматургии.

Мне это показалось неожиданным, хотя, разумеется, ничего неожиданного в этом не было. Я в молодости мало интересовался театром и, вероятно, поэтому не обращал

внимания на интерес к театру моих друзей. Женя Шварц начал свой жизненный путь с того, что стал актером, и, хотя как актер он не проявил особых дарований, актером он был не случайно. Служа долгие годы в Детском отделе Госиздата, он был оторван от театра, но только теперь я понимаю, сколько театрального было в этом самом Детском отделе. Там постоянно шел импровизированный спектакль, который ставили и разыгрывали перед случайными посетителями Шварц, Олейников и Андроников. В этот спектакль, вечно новый, бесшабашно веселый, удивительно многозначительный, они вовлекали и хорошенькую Груню Левитину, и Соломона Гисина в косоворотке и русских сапогах, и Хармса с его угрюмыми чудачествами. И даже на всей продукции Детского отдела за те годы — на удивительных похождениях Макара Свирепого, на неистовых по ритмам и образам стихотворных сказках для трехлетних детей, на журналах «Чиж» и «Еж» — лежит отпечаток неосознанной, но кипучей и блестящей театральности.

Свою работу драматурга Шварц начал с пьес для детского театра. Потом он стал писать пьесы для взрослых, но его пьесы для взрослых — тоже сказки. Он выражал условным языком сказки свои далеко не условные мысли о совсем не условной действительности. Однако очень ошибется тот, кто подумает, что целью этого была какая-нибудь тайнопись, эзопов язык. Это — вульгарная мысль, не имеющая ничего общего с творчеством Шварца. Шварц тяготел к сказке потому, что чувствовал сказочность реальности, и чувство это не покидало его на протяжении всей жизни.

Занявшись драматургией, он вовсе не сразу понял, что ему надо писать сказки; он попробовал было писать так называемые «реалистические» пьесы. Но сказка, как бы против его воли, врывалась в них, завладевала ими. В 1934 году он напечатал в журнале «Звезда» пьесу «Приключения Гогенштауфена». Действие пьесы происходило в самом обыкновенном советском учреждении, где служат обыкновенные «реалистические» люди. Например, на должности управделами этого учреждения работала некая тов. Упырева. Странность заключалась только в том, что эта Упырева действительно была упырем, вампиром и сосала кровь из живых людей, а когда крови достать не могла, принимала гематоген.

Подобные его пьесы — например, «Ундервуд» — имели ограниченный успех,— именно из-за своей жанровой не-

определенности. Вся первая половина тридцатых годов ушла у него на поиски жанра, который дал бы ему возможность свободно выражать свои мысли, свое понимание мира. Первой его настоящей сказкой для сцены была «Красная шапочка»[1]. Сделал он ее талантливо, мило, но очень робко. Первой подлинной удачей был «Голый король», написанный в 1934 году. Тут он впервые обратился к сказкам Андерсена, воспользовавшись сразу тремя — «Свинопасом», «Принцессой на горошине» и «Голым королем». Оказалось, что именно сказки Андерсена дают ему возможность говорить в полный голос. И он заговорил в полный голос.

Не помню, был ли «Голый король» Шварца где-нибудь поставлен в тридцатые годы. Если и был поставлен, то прошел незамеченным. Но четверть века спустя, уже после смерти автора, этой пьесе суждено было иметь шумный, даже буйный сценический успех. Запоздалый успех доказал только прочность и жизнеспособность этой пьесы, благородные герои которой, ополчившиеся против бессмертной людской глупости и подлости, поют:

Если мы врага повалим,
Мы себя потом похвалим,
Если враг не по плечу,
Попадем мы к палачу.

Шварц в пору своей художнической зрелости охотно использовал для своих пьес и сценариев общеизвестные сюжеты. «Снежная королева» и «Тень» — инсценировки сказок Андерсена, «Золушка» — экранизация известнейшей народной сказки, «Дон Кихот» — экранизация знаменитого романа. Даже в таких его пьесах с вполне самостоятельными сюжетами, как «Дракон», «Обыкновенное чудо», «Два клена», отдельные сюжетные ходы откровенно заимствованы из широчайше известных сказок. И при этом трудно найти более самостоятельного и неповторимого художника, чем Евгений Шварц. Его инсценировки несравненно самобытнее, чем великое множество так называемых «оригинальных» пьес, в которых, при всей их «оригинальности», нет ничего, кроме банальностей. Шварц брал чужие сюжеты, как их брал Шекспир, он использовал сказки, как Гёте использовал легенду о Фаусте, как Пушкин в «Каменном госте» использовал традиционный образ Дон Жуана. Я слышу голос Шварца, когда в кинокартине

[1] Н. Чуковский ошибся. «Красная шапочка» написана позже, в 1937 г.

«Дон Кихот» студент-медик, леча больного Дон Кихота, говорит: «Подумать только — эти неучи пускали вам кровь по нечетным числам, тогда как современная наука установила, что это следует делать только по четным! Ведь сейчас уже тысяча шестьсот пятый год! Шутка сказать!» Я слышу голос Шварца в каждом кадре, хотя написанный им сценарий — самое верное и самое сильное истолкование великого романа Сервантеса, которое когда-либо существовало.

Пьесы Шварца написаны в тридцатые и в сороковые годы двадцатого века, в эти два страшных десятилетия, когда мировая реакция крепла год от года, то растаптывая достигнутое в предшествующую революционную эпоху, то с циничным лицемерием приспосабливая идеи революции для прикрытия своей мерзости. Сжигались книги, разрастались концентрационные лагеря, разбухали армии, полиция поглощала все остальные функции государства. Ложь, подлость, лесть, низкопоклонство, клевета, наушничество, предательство, шпионство, безмерная, неслыханная жестокость повсеместно становились основными законами жизни. Все это плавало в лицемерии, как в сиропе, умы подлецов изощрялись в изобретении пышных словесных формул, то религиозных, то националистических, то ложно-демократических, чтобы как-нибудь принарядить всю эту кровь и грязь. Всему этому способствовали невежество и глупость. И трусость. И неверие в то, что доброта и правда могут когда-нибудь восторжествовать над жестокостью и неправдой.

И Шварц каждой своей пьесой говорил всему этому: нет. Нет — подлости, нет — трусости, нет — зависти. Нет — лести, низкопоклонству, пресмыкательству перед сильным. Нет — карьеристам, полицейским, палачам. Всей низости людской, на которую всегда опирается реакция, каждой новой пьесой говорил он — нет.

Верил ли он в свою победу, верил ли, что пьесы его помогут искоренению зла? Не знаю. Однажды он сказал мне:

— Если бы Франц Моор попал на представление Шиллеровых «Разбойников», он, как и все зрители, сочувствовал бы Карлу Моору.

Это мудрое замечание поразило меня своим скептицизмом. С одной стороны, сила искусства способна заставить даже закоренелого злодея сочувствовать победе добра. Но, с другой стороны, Франц Моор, посочувствовав во

время спектакля Карлу Моору, уйдет из театра тем же Францем Моором, каким пришел. Он просто не узнает себя в спектакле. Как всякий злодей, он считает себя справедливым и добрым, так как искренне уверен, что он сам и его интересы и являются единственным мерилом добра и справедливости. Баба-яга в пьесе Шварца «Два клена» говорит о себе:

— Я, баба-яга, умница, ласточка, касаточка, старушка-вострушка! Я в себе, голубке, души не чаю. Тем и сильна.

Верил ли Шварц в возможность побеждать зло искусством или не верил, но пьесы его полны такой горячей ненависти к злу, к подлости всякого рода, что они обжигают. Охлаждающего скептицизма в них нет ни крупинки: скептицизм насмешливого, житейски осторожного Шварца сгорел в пламени этой ненависти без остатка. Его пьесы начинаются с блистательной демонстрации зла и глупости во всем их позоре и кончаются торжеством добра, ума и любви. И хотя пьесы его — сказки и действие их происходит в выдуманных королевствах, зло и добро в них не отвлеченные понятия, не абстракции. Напротив, все в них всегда кажется таким реальным, конкретным, сегодняшним и злободневным, словно зритель сидит на собрании у себя в учреждении и следит за скрытой борьбой страстей, накаленных живою болью и живою злобой.

В 1943 году он написал «Дракон» — на мой взгляд, лучшую свою пьесу-сказку.

Вторая мировая война только что перешла через свою кульминацию — гитлеровцы разгромлены под Сталинградом, на Курской дуге и медленно откатываются; на западе американцы, англичане и французы несколько улучшают свои позиции. До конца войны еще почти два года, но победа уже угадывается. И встает вопрос — что будет с миром после разгрома гитлеризма?

Сюжет «Дракона» — традиционнейший сказочный сюжет, по крайней мере в начале. Город уже триста лет находится во власти дракона, который диктует городу законы и каждый год пожирает красивейшую девушку. Даже не пожирает, а просто уводит в свою пещеру, и там она умирает от отвращения. Отважный странствующий рыцарь Ланцелот заходит случайно в город, встречает девушку, предназначенную дракону, и вызывает дракона на поединок. Три драконовы головы, отрубленные его победоносным мечом, одна за другой валятся на сцену.

Так, казалось бы, должно было кончиться последнее,

третье действие. Ничего подобного. Ланцелот убивает дракона в середине пьесы. А что же дальше? В чьи руки попадает власть? В руки Ланцелота? В руки освобожденного народа? Нет, в руки бургомистра, бывшего приспешника дракона.

Не Ланцелот, а бургомистр объявлен победителем дракона. Бургомистр поносит дракона, перед которым прежде пресмыкался, и провозглашает себя «главой самого демократического правительства в мире». Его власть нисколько не уступает власти дракона, и порядки, которые он вводит,— все те же драконовы порядки. Ничего не изменилось. Даже девушку, предназначенную прежде дракону, должны насильно выдать замуж за поганого и подлого сына бургомистра.

Вся эта пророческая история рассказана в пьесе и сказочно, и необычайно конкретно. Потрясающую конкретность и реалистичность пьесе придавали замечательно точно написанные образы персонажей, только благодаря которым и могли существовать обе диктатуры,— трусов, стяжателей, обывателей, подлецов и карьеристов. Разумеется, как все сказки на свете, «Дракон» Шварца кончается победой добра и справедливости. На последних страницах пьесы Ланцелот свергает бургомистра, как прежде сверг дракона, и женится на спасенной девушке. Под занавес он говорит освобожденным горожанам и всем зрителям:

— Я люблю всех вас, друзья мои. Иначе чего бы ради я стал возиться с вами. А если уж люблю, то все будет прелестно. И все мы после долгих забот и мучений будем счастливы, очень счастливы наконец!

Так говорил Шварц, который, держа меч в вечно дрожавших руках, двадцать лет наносил дракону удар за ударом.

А руки его чем дальше, тем дрожали заметнее. В самом конце сороковых годов или в самом начале пятидесятых, в феврале месяце, поехал я в Комарово, в Дом творчества — поработать в уединении. Я жил уже тогда в Москве и выбрал из литфондовских домов творчества именно Комарово потому, что поездка туда давала мне возможность побывать в Ленинграде, где я не был со времен осады, и повидать наш старый куоккальский дом, где прошло мое детство и до которого от Комарова всего восемь километров, и пожить в тесном общении с моими старинными любимыми друзьями Леонидом Рахмановым и Евгением

Шварцем. Я списался с ними заранее и знал, что они оба будут жить в феврале в Комарово — Рахманов в Доме творчества, а Шварц в маленьком домике, который он арендовал у дачного треста, возле самого железнодорожного переезда.

В этом домике стены постоянно дрожали от проходивших мимо поездов — тогда еще паровых, электричку провели там позднее. Каждый вечер после ужина мы с Рахмановым отправлялись по снегу в этот домик, к Шварцам. Засиживались поздно — за разговорами, за картами. Играли всегда в одну и ту же игру, которая называлась «Up and down». Я всю жизнь не любил и избегал карт и знаю, что Шварц не любил их тоже; но Екатерина Ивановна Шварц и Рахманов были картежники и нуждались в партнерах. Они относились к игре серьезно и страстно и часто ссорились за игрой, а потом дулись друг на друга минут тридцать и выясняли отношения. Шварц спокойно и ласково мирил их. Он сидел за столом, склонив, как обычно, свое умное узкое лицо немного набок, и казался уравновешенным, дружелюбным, довольным, и только карты, которые он держал обеими руками, ходили ходуном в его дрожащих пальцах.

Лицом он изменился мало, но очень потолстел. Однако, когда я сказал ему, что он немного пополнел, он стал отрицать это с удивившим меня пылом.

— Пощупай мой живот — никакого жира, одни мышцы!

И я действительно щупал сквозь фуфайку его живот и не вполне искренне соглашался с ним.

Я заметил, что его волнует тема постарения и что он в разговорах часто возвращается к ней. Мы с ним несколько лет не виделись, и, возможно, я казался ему сильно изменившимся. Но говорил он о себе.

— На днях я узнал наконец, кто я такой,— сказал он.— Я стоял на трамвайной площадке, и вдруг позади меня девочка спрашивает: «Дедушка, вы сходите?»

Каждый день перед обедом мы втроем отправлялись на прогулку — Рахманов, Шварц и я. Бродили мы часа два по узким снежным лесным тропинкам и нагибались, пролезая под лапами елок. Шварц шел всегда впереди, шел быстро, уверенно сворачивал на поворотах, и мы с Рахмановым не без труда догоняли его. Говорили о разном, понимая друг друга с полуслова — мы трое были слишком давно и слишком близко знакомы. Много говорили о Льве

Толстом. В сущности, весь разговор сводился к тому, что кто-нибудь из нас вдруг произносил: «А помните, Наташа Ростова...» или: «А помните, Анна...» — и далее следовала цитата, которую, оказывается, помнили все трое и долго вслух наслаждались, смакуя каждое слово. Это была прелестная игра, очень сблизившая нас, потому что мы всякий раз убеждались, что чувствуем одинаково и любим одно и то же.

И только однажды обнаружилось разногласие — между мной и Шварцем. Было это уже в конце прогулки, мы возвращались усталые и замерзшие. Перебирая в памяти сочинения Толстого, я дошел до «Смерти Ивана Ильича» и восхитился какой-то сценой.

— Это плохо,— сказал вдруг Шварц жестко.

Я оторопел от изумления. Гениальность «Смерти Ивана Ильича» казалась мне столь очевидной, что я растерялся.

— Нет, это мне совсем не нравится,— повторил Шварц.

Я возмутился. С пылом я стал объяснять ему, почему «Смерть Ивана Ильича» — одно из величайших созданий человеческого духа. Мое собственное красноречие подстегивало меня все больше. Однако я нуждался в поддержке и все поглядывал на Рахманова, удивляясь, почему он меня не поддерживает. Я не сомневался, что Рахманов восхищается «Смертью Ивана Ильича» не меньше, чем я. Но Рахманов молчал.

Он молчал и страдальчески смотрел на меня, и я почувствовал, что говорю что-то бестактное. И красноречие мое увяло. Потом, оставшись со мной наедине, Рахманов сказал мне:

— При нем нельзя говорить о смерти. Он заставляет себя о ней не думать, и это не легко ему дается.

После нашего свидания в Комарове Шварц прожил еще лет семь или восемь. Время от времени я наезжал в Ленинград — всегда по делам, всегда только на день или на два,— и всякий раз самым приятным в этих моих приездах была возможность провести два-три часа с Женей Шварцем. И дружба и вражда складываются в первую половину человеческой жизни, а во вторую половину только продолжаются, проявляя, однако, удивительную стойкость. Так было и в нашей дружбе с Шварцем,— она уже не менялась. После любой разлуки мы могли начать любой разговор без всякой подготовки и понимали друг друга с четвертьслова. У него вообще было замечательное уме-

ние понимать,— свойство очень умного и сердечного человека.

Главной его работой в эти последние годы жизни был сценарий «Дон Кихот». По этому сценарию был поставлен отличный фильм, снимавшийся в окрестностях Коктебеля и получивший всемирное признание. И все же фильм этот несравненно хуже сценария, несмотря на то что ставил его великолепный режиссер Козинцев, а Дон Кихота играл превосходный актер Черкасов. Шварц был тончайший словесный мастер, и для выражения его дум и страстей ему ничего, кроме слова, не было нужно.

Как-то во время одного из моих приездов он прочел мне свои воспоминания о Борисе Житкове. Он очень волновался, читая, и я видел, как дорого ему его прошлое, как дороги ему те люди, с которыми он когда-то встречался. А так как его прошлое было в большой мере и моим прошлым, я, слушая его, тоже не мог не волноваться. Я порой даже возмущался,— мне все казалось, что он ко многим людям относится слишком мягко и снисходительно. Когда он кончил, я заспорил с ним, доказывая, что такой-то был ханжа и ловчило, а такой-то — просто подлец. Он не возражал мне, а промолчал, увел разговор в сторону — как поступал обычно, когда бывал несогласен. И мне вдруг пришло в голову, что он умнее меня и потому — добрее.

В последние годы он был уже очень болен, но на болезнь его не обращали особого внимания, так как считалось, что Екатерина Ивановна больна гораздо опаснее. Он и сам так считал и очень о ней беспокоился, рассказывал с тревогой, как у нее болит сердце, как она задыхается, как она мало спит.

В Ленинграде, в Доме Маяковского, отпраздновали его шестидесятилетие. Актеры и литераторы говорили ему всякие приятности — как всегда на всех юбилеях. Зощенко, уже седой, сказал примерно так:

— Я стал старше и больше не требую от людей ни доблести, ни чести, ни отваги. Я требую от них только приличия. Позвольте вам сказать, Женя, что вы очень приличный человек.

Шварц был весел, оживлен, подвижен, очень приветлив со всеми, скромен и, кажется, доволен. Но через несколько дней ему стало плохо. И потом становилось все хуже и хуже.

Я навестил его незадолго до смерти. Он лежал; когда я вошел, он присел на постели. Мне пришлось сделать

над собой большое усилие, чтобы не показать ему, как меня поразил его вид. Мой приход, кажется, обрадовал его, оживил, и он много говорил слабым, как бы потухшим голосом. Ему запретили курить, и его это мучило. Всю жизнь он курил дешевые маленькие папиросы, которые во время войны называли «гвоздиками»; он привык к ним в молодости, когда был беден, и остался им верен до конца. Несмотря на горячие протесты Екатерины Ивановны, он все-таки выкурил при мне папироску. Рассказывал он мне о своей новой пьесе, которую писал в постели,— «Повесть о молодых супругах». Глаза его блестели, говорил он о Театре комедии, о Николае Павловиче Акимове, об актерах, но смотрел на меня тем беспомощным, просящим и прощающим взором, которым смотрит умирающий на живого.

Живым я его больше не видел. Чем дальше уходит его смерть в прошлое, тем яснее я вижу, какая мне выпала в жизни удача — близко знать этого человека с высокой и воинственной душой.

НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ

Я познакомился с Заболоцким в конце двадцатых годов, встречался с ним множество лет, не подозревая, что будет время, когда он станет моим близким другом. Мы жили с ним в одном городе, оба занимались литературой, ходили в одни и те же издательства; здоровались, иногда разговаривали, но оставались совсем чужими.

Заболоцкий был румяный блондин среднего роста, склонный к полноте, с круглым лицом, в очках, с мягкими пухлыми губами. Крутой северо-русский говорок — он родился в городе Уржуме Вятской губернии — оставался у него всю жизнь, но особенно заметен был в молодости. Манеры у него смолоду были степенные, даже важные. Впоследствии я даже как-то сказал ему, что у него есть врожденный талант важности — талант, необходимый в жизни и избавляющий человека от многих напрасных унижений. Сам я этого таланта был начисто лишен, всегда завидовал людям, которые им обладали, и, быть может, поэтому так рано подметил его в Заболоцком. Странно было видеть такого степенного человека с важными медлительными интонациями басового голоса в беспардонном кругу обериутов — Хармса, Введенского, Олейникова. Нужно было лучше знать его, чем знал его тогда я, чтобы понять, что важность эта картонная, бутафорская, прикрывающая целый вулкан озорного юмора, почти не отражающегося на его лице и лишь иногда зажигающего стекла очков особым блеском.

И когда вышла его первая книга стихов — «Столбцы»,— меня поразило, что ее написал вот этот степенный молодой человек. Со времен раннего Маяковского не было еще у нас таких нестепенных, озорных книг.

Сидит извозчик, как на троне,
Из ваты сделана броня,

И борода, как на иконе,
Лежит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,
То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкают
В его блестящем животе.

Стихотворение это называлось «Движение». Оно поражало правдивостью своей изобразительности. Передать то, что видят глаза, передать правдиво, непосредственно, без всяких прикрас — вот к чему стремился автор «Столбцов».

В уборе из цветов и крынок,
Открыл ворота старый рынок.

Здесь бабы толсты, словно кадки,
Их шаль невиданной красы,
И огурцы, как великаны,
Прилежно плавают в воде.
Сверкают саблями селедки,
Их глазки маленькие кротки,
Но вот, разрезаны ножом,
Они свиваются ужом.
И мясо, властью топора
Лежит, как красная дыра...

...Калеки выстроились в ряд.
Один играет на гитаре.
Ноги обрубок, брат утрат,
Его кормилец на базаре.
А на обрубке том костыль,
Как деревянная бутыль...

Средствами своей дьявольской изобразительности показывал он мне тот самый мир, который я ежедневно видел вокруг себя,— Ленинград конца двадцатых годов, конца нэпа. Прочитав его стихотворение «Вечерний бар», я вскрикнул,— с такой точностью там был изображен пивной бар на углу Невского и Михайловской — великий соблазн всех нищих мальчиков города.

В глуши бутылочного рая,
Где пальмы высохли давно,
Под электричеством играя,
В бокале плавало окно.
Оно, как золото, блестело,
Потом садилось, тяжелело,
Над ним пивной дымок вился...
Но это рассказать нельзя.

Звеня серебряной цепочкой,
Спадает с лестницы народ,

Трещит картонною сорочкой,
С бутылкой водит хоровод.
Сирена бледная за стойкой
Гостей попотчует настойкой,
Скосит глаза, уйдет, придет,
Потом с гитарой наотлет
Она поет, поет о милом...

Период нэпа был неповторимый миг нашей истории. Революция победила в России, но была разгромлена, раздавлена всюду во всем остальном мире. Блокада отгораживала нас от мира, обрекала нас на нищету. Заводы в руках государства медленно оживали, но заводов было мало, а все остальное хозяйство осталось мелкотоварным и целиком находилось в руках мещанства и кулачества. После победы Советской власти в гражданской войне мещанство больше не рассчитывало ни на белых, ни на эсеров; оно поняло, что это битые карты. С утверждением нэпа мещанин пошел либо в торговцы, либо в чиновники. Необходимость мимикрии, вечная боязнь разоблачения делала мещанина-чиновника крикливым и придирчивым блюстителем нового строя, новых форм быта — именно форм его, а не сути. Суть же оставалась прежняя — дикая, мещанская. Об этом — о нежелающем сдаваться мещанстве — вопиют «Столбцы» Заболоцкого.

Восходит солнце над Москвой,
Старухи бегают с тоской:
Куда, куда идти теперь?
Уж Новый Быт стучится в дверь!

Так начинается стихотворение Заболоцкого «Новый быт». Подрос младенец, он — новый человек, он собирается жить по-новому.

И время двинулось быстрее,
Стареет папенька-отец,
И за окошками в аллее
Играет сваха в бубенец.

Новому человеку пришла пора жениться.

Приходит поп, тряся ногами,
В ладошке мощи бережет,
Благословить желает стенки,
Невесте крестик подарить.
«Увы,— сказал ему младенец,—
Уйди, уйди, кудрявый поп,
Я — новой жизни ополченец,
Тебе ж один остался гроб!»

Новый человек хочет жениться по-новому:

Варенье, ложечкой носимо,
Шипит и падает в боржом.
Жених, проворен нестерпимо,
К невесте лепится ужом.
И председатель на отвале,
Чете играя похвалу,
Приносит в выборгском бокале
Вино солдатское, халву,
И, принимая красный спич,
Стоит на столике кулич.

Попа прогнали, но от этого не изменилось ничего. Мещанская свадьба осталась мещанской свадьбой.

И стало все благоприятно:
Явилась ночь, ушла обратно,
И за окошком через миг
Погасла свечка-пятерик.

Вся эта книга — «Столбцы»,— такая своеобычная, свободная, веселая, живописная, в сущности, имеет одну цель, в которую бьет с бешенством,— мещанство.

Часы гремят. Настала ночь.
В столовой пир горяч и пылок.
Графину винному невмочь
Расправить огненный затылок.
Мясистых баб большая стая
Сидит вокруг, пером блистая,
И лысый венчик горностая
Венчает груди, ожирев
В поту столетних королев.
Они едят густые сласти,
Хрипят в неутоленной страсти
И, распуская животы,
В тарелки жмутся и цветы.
Прямые лысые мужья
Сидят, как выстрел из ружья,
Едва вытягивая шеи
Сквозь мяса жирные траншеи.
И, пробиваясь сквозь хрусталь
Многообразно однозвучный,
Как сон земли благополучной,
Парит на крылышках мораль.

«Столбцы» — это революционная книга, полная не только насмешки, но и презрения, и бешеной ненависти. Однако революция с ее бурями была уже позади —

Он спит сегодня, грозный мир:
В домах спокойствие и мир.

И Заболоцкий со всей страстностью семнадцатого года ополчился против этого спокойствия и мира:

Ужели там найти мне место,
Где ждет меня моя невеста,
Где стулья выстроились в ряд,
Где горка — словно Арарат —
Имеет вид отменно важный,
Где стол стоит, и трехэтажный
В железных латах самовар
Шумит домашним генералом?
О мир, свернись одним кварталом,
Одной разбитой мостовой,
Одним проплеванным амбаром,
Одной мышиною норой,
Но будь к оружию готов:
Целует девку — Иванов!

Однако был уже не семнадцатый год, а подходил тридцатый. «Столбцы» были встречены критикой со злобой. В те годы шла борьба с формализмом, затянувшаяся на много лет. В формализме обвинялась не только так называемая «формальная» литературоведческая школа, возглавлявшаяся Шкловским и Эйхенбаумом, но вообще всякое проявление оригинальности в искусстве. На одобрение критики, в сущности, могла рассчитывать только банальность. А так как «Столбцы» не были банальны, то Заболоцкий все годы вплоть до своего ареста работал в обстановке травли. Однако время от времени ему удавалось печататься, потому что у него появился сильный покровитель — Николай Семенович Тихонов.

В тридцатые годы Тихонов был одним из самых влиятельных людей в ленинградском литературном кругу, и постоянная помощь, которую он оказывал Заболоцкому, является одной из его величайших заслуг. Благодаря Тихонову в журнале «Звезда» была напечатана поэма Заболоцкого «Торжество земледелия», вызвавшая новую критическую бурю. Вообще роль Тихонова во всей жизни Заболоцкого была очень велика, и мне еще не раз придется говорить о ней. Тихонов, редко любивший своих современников, любил стихи Заболоцкого, любил его самого, любил, в сущности, неразделенной любовью, потому что к его собственным стихам и прозе Заболоцкий был всегда холоден и не вступал с ним в близкие личные отношения.

В тридцатые годы Заболоцкий продолжал жить в том же кругу, в котором сложился как поэт; его ближайшими друзьями оставались Хармс, Введенский, Олейников, Евгений Шварц, Леонид Савельев; прибавились к ним Каверин и редактор сочинений Хлебникова Н. Л. Степанов. В этом кругу проходила его жизнь, здесь его понимали и любили, здесь он был веселым и простым, а не тем важным и внушительно серьезным, каким знали его в редакциях. Любовь друзей защищала его от грубых и диких ударов критики, как бы амортизировала их. И под их защитой шло медленное, но неуклонное созревание поэта, шла та эволюция его стиля, благодаря которой поздний Заболоцкий стал так отличен от Заболоцкого «Столбцов».

Эту эволюцию я впервые заметил, когда прочитал в 1934 году его стихотворение «Прощание. Памяти С. М. Кирова».

Заболоцкий любил Кирова. В этой любви было, по-видимому, и кое-что личное — земляки, оба родом из Уржума. Убитый Киров, революционер, деятель семнадцатого года, лежал в Таврическом дворце, и огромные толпы ленинградцев с утра до вечера шли по Шпалерной прощаться с ним. Я тоже шел в этой печальной и тревожной толпе, тоже чувствовал в этом событии что-то переломное, переход к новой эпохе, неведомо что сулившей. И когда я прочитал стихотворение Заболоцкого, торжественное и скорбное, как реквием, столь непохожее и в то же время похожее на его прежние стихи, у меня болезненно сжалось сердце:

Прощание! Скорбное слово!
Безгласное темное тело.
С высот Ленинграда сурово
Холодное небо глядело.
И молча, без грома и пенья,
Все три боевых поколенья
В тот день бесконечной толпою
Прошли, расставаясь с тобою.

В холодных садах Ленинграда,
Забытая в траурном марше,
Огромных дубов колоннада
Стояла, как будто на страже.
Казалось, высоко над нами
Природа сомкнулась рядами
И тихо рыдала и пела,
Узнав неподвижное тело.

Но видел я дальние дали,
И слышал с друзьями моими,

Как дети детей повторяли
Его незабвенное имя.
И мир исполински прекрасный
Сиял над могилой безгласной,
И был он надежен и крепок,
Как сердца погибшего слепок.

В развитии Заболоцкого как поэта огромную роль играла его работа над переводами стихов — главным образом, с грузинского. Начал он эту работу, если не ошибаюсь, в 1935 году и продолжал до самой смерти. Это был грандиозный, упорный, всегда вдохновенный труд, которому он отдал всю свою жизнь. Великую поэму Руставели «Витязь в тигровой шкуре» он перевел дважды — один раз до своего ареста, другой раз после освобождения, и оба раза по-разному. «Слово о полку Игореве» он перевел в лагере, стоя перед нарами на коленях. И этот лагерный перевод — самый лучший, самый поэтический, самый общедоступный — то есть народный — из всех существующих переводов.

К переводам с грузинского его привлек все тот же Тихонов. Он сам тогда занимался переводами грузин. Он отвез Заболоцкого в Грузию и познакомил с грузинскими поэтами.

За двадцатилетие с 1935 года по 1955 год было переведено на русский больше стихов, чем за всю историю существования русского языка. Переводили главным образом с языков народов Советского Союза; переводили с языков народов социалистического лагеря, сложившегося как раз за это двадцатилетие; переводили и западных поэтов, но почти исключительно классиков; переводили поэтов Китая и Кореи. Этот огромный размах переводческой деятельности был вызван двумя разными, но совпавшими причинами. Одна причина была общественно-политическая — сближение народов требовало сближения их национальных культур. Вторая причина заключалась в том, что поэты в эту эпоху имели очень мало возможностей выразить себя в своем оригинальном творчестве. Переводы стихов давали им возможность заниматься поэзией во всей ее сложности и прелести, почти не ощущая механически навязанных извне чуждых искусству давлений и запретов. Поэзия наших национальных республик была тогда почти неизвестна русскому читателю. И работа переводчика была увлекательна, как работа первооткрывателя.

Переводами грузинской поэзии занялись Тихонов и Пастернак. Заболоцкий вместе с ними ездил в Грузию, и Грузия — люди, природа, поэзия — была для него открытием, наложившим печать на всю его дальнейшую жизнь. Грузинская поэзия необычайно богата и разнообразна стилистически и, при всем своем своеобразии, усвоила, развиваясь, все те формы, которые, сменяя одна другую, были свойственны всей европейской поэзии за последние два с половиной века. И перевод грузинских стихов, старых и новых, требовал от поэта-переводчика стилистической лабильности, приспособляемости, изменчивости. В этом отношении Заболоцкий далеко превзошел и Тихонова, и Пастернака, которые и в переводе не умели отказаться от своей собственной поэтической манеры. Заболоцкий угадывал границы стиля каждого поэта и никогда не выходил из этих границ. Работа над решением все новых и новых стилистических задач отразилась и на его собственном стиле, привела к той отчетливости, точности, ясности в передаче образа и чувства, к той «классичности», которыми отмечен поздний период его поэзии.

Арест, лагерь, ссылка на десять лет прервали его работу над переводами грузинских поэтов. Но вернувшись, он снова, с прежней любовью, принялся за этот труд.

* * *

Я уже писал, что, живя с Заболоцким в Ленинграде, я знаком был с ним мало, поверхностно. Я встречался с ним в редакциях, у нас были общие друзья — Шварц, Олейников, Каверин,— но никакой близости между нами не существовало. Зимой 1945 года[1], первой послевоенной осенью, я жил уже в Москве, мечтая демобилизоваться, но все еще носил военную форму. И вдруг я услышал, что Николай Алексеевич Заболоцкий приехал из Караганды в Москву и живет без прописки на каких-то птичьих и очень опасных правах у Николая Леонидовича Степанова.

Мне захотелось навестить его. В то время человек, объявленный «врагом народа», а потом все-таки вернувшийся из лагеря, был странной, страшной, диковинной редкостью, и мне таких еще не случалось видеть. Я понимал, что многие остерегались возобновления знакомства

[1] Н. А. Заболоцкий приехал в Москву в январе 1946 года.— *Ред.*

с таким человеком, и это меня еще подзадорило. Ведь не испугался же Степанов приютить у себя. Мне показалось, что стыдно не пойти.

Появлением Заболоцкого в Москве был очень взволнован мой тогдашний хороший знакомый, поэт-переводчик Семен Израилевич Липкин. Он никогда не видел Заболоцкого, но был поклонник его стихов и очень хотел с ним познакомиться. И мы решили пойти с ним вдвоем.

Липкин недавно перед тем демобилизовался, но все еще носил флотскую шинель. Был декабрьский день с мокрым снегом на улицах. Степановы жили тогда на Моховой, в доме Литературного музея. Они занимали крохотную чуланообразную квартирку, вход в которую был прямо со двора. Мы постучали. Дверь открыл Заболоцкий. Увидев нас, он вышел на крыльцо и осторожно прикрыл дверь у себя за спиной.

Меня он узнал не сразу. Вид двух мужчин в военной форме, по-видимому, смутил его, о чем я догадался гораздо позже. На нем была вылинявшая цветная рубаха поверх брюк, и на дворе ему было холодно; однако впустить нас он медлил. Я не видел его восемь лет, но он показался мне мало изменившимся. В молодости благодаря полноте и солидности его принимали за человека средних лет; теперь он был человеком средних лет. Он, может быть, похудел, но не очень. Узнав меня, он поздоровался сдержанно. Я представил ему Липкина. Липкин объяснил, что знает и любит его стихи. Поколебавшись, Заболоцкий пригласил нас войти.

Из Степановых дома была только старушка мать. Разговор в комнате продолжался так же принужденно, как на дворе. Заболоцкий задал мне несколько вопросов о моей жизни, о моей семье. Его жена и дети были еще в Караганде,— они приехали туда к нему, когда его выпустили из лагеря и разрешили жить в Казахстане. Он прожил в Караганде год, работая в какой-то канцелярии. И вот приехал один в Москву. Останется ли он здесь — неизвестно. Я его спросил, не собирается ли он вернуться в Ленинград. Он ответил, внезапно покраснев:

— Нет! В Ленинград — никогда!

Больше никаких вопросов мы ему не задавали. Помню, выяснилось, что он спал у Степановых на обеденном столе. Николай Алексеевич немного оттаял, благодарил нас за посещение, но мы продолжали чувствовать себя неловко и поспешили уйти.

Всю зиму с сорок шестого по сорок седьмой год прожил он в Москве без жилья. После Степанова приютил его у себя Ираклий Андроников — тоже его старый друг по Ленинграду. Житье по чужим комнатенкам не давало ему возможности выписать из Караганды семью и делало его положение безвыходным. И вдруг весной 1946 года я узнал, что писатель Ильенков разрешил ему поселиться в своей просторной даче в Переделкино.

Это был отважный и великодушный поступок, тем более удивительный, что Ильенков не только не принадлежал к числу старых друзей Заболоцкого, но не был с ним даже знаком. В конце весны Заболоцкий с семьей поселился на даче Ильенкова, и я, тоже живший тогда в Переделкине, оказался их ближайшим соседом. Мы виделись каждый день, очень сблизились и оставались в добрых дружеских отношениях до самой кончины Николая Алексеевича.

Поселившись в чужой пустой даче, Николай Алексеевич начал вить гнездо. Прежде всего он нанял человека и вместе с ним вскопал в саду участок под огород и посадил картошку. Эта работа продолжалась несколько дней, в течение которых Николай Алексеевич трудился от зари до зари, переворачивая землю лопатой. Помню, меня это несколько удивило. Я и сам, как и он, не имел в Москве жилья и жил с женой и детьми в пустой отцовской даче. Как и у него тогда, мои литературные заработки носили случайный характер и были крайне скудны. И все-таки я рассчитывал только на литературные заработки и огорода не заводил. Я сказал ему об этом.

— Нет,— ответил он,— положиться можно только на свою картошку.

Я понял, до какой степени он, выйдя из лагеря, чувствовал себя неустойчиво. Он знал, какая тень продолжала лежать на нем, знал, что эта тень будет долго мешать ему вернуться к профессиональной литературной жизни, не обольщался тем, что ему удалось получить кое-какую переводную работу, и готовился ко всему.

Он в то время был еще очень силен физически и замечательно умело орудовал лопатой и топором. Помню, достал он дрова — метровые березовые чурбаки страшной толщины. Он расставил их, как солдат — целое войско,— и стал показывать мне, как их надо колоть, чтобы они разваливались с одного удара. Это искусство было не совсем безызвестно и мне, я выклянчил у него колун

и постарался доказать, что и я не лыком шит. Мы оба вошли в азарт и хвастались друг перед другом. Каждый чурбан, прежде чем бить, нужно было понять, потому что успех удара зависит от расположения суков. В этом понимании он превосходил меня — у меня был опыт войны, а у него опыт лагерей, и я видел, что его опыт покрепче моего. Я стал отставать, и он был очень доволен. С каждым ударом румянец у него на щеках разрастался, и скоро лицо его пылало, как солнце. Он улыбался и впервые показался мне почти счастливым. Тот гнет, который лежал у него на душе, как бы слегка поддался, оттаял.

Вообще в нем в то время жило страстное желание уюта, покоя, мира, счастья. Он не знал, кончились ли уже его испытания, и не позволял себе в это верить. Он не смел надеяться, но надежда на счастье росла в нем бурно, неудержимо. Жил он на втором этаже, в самой маленькой комнатке дачи, почти чулане, где ничего не было, кроме стола, кровати и стула. Чистота и аккуратность царствовали в этой комнатке — кровать постелена по-девичьи, книги и бумаги разложены на столе с необыкновенной тщательностью. Окно выходило в молодую листву берез. Березовая роща неизъяснимой прелести, полная птиц, подступала к самой даче Ильенкова. Николай Алексеевич бесконечно любовался этой рощей, улыбался, когда смотрел на нее. Однажды, когда я зашел к нему в комнатку, он усадил меня на кровать, сам сел на стул и прочитал мне свое новое стихотворение, которое начиналось так:

В этой роще березовой,
Вдалеке от страданий и бед,
Где колеблется розовый
Немигающий утренний свет,
Где прозрачной лавиною
Льются листья с высоких ветвей,—
Спой мне, иволга, песню пустынную,
Песню жизни моей...

Это стихотворение, щемящее, нежное, поразило меня тем, чего не было в прежних стихах Заболоцкого,— музыкальностью. В Переделкине он стал писать много — после восьмилетнего перерыва. Его новые стихи резко отличались от старых; они ничего не потеряли, кроме разве юношеского озорства, но приобрели пронзительность боли, и нежность, и, главное, необычайную музыкальность. Написав стихотворение, он шел ко мне, потому что я был ближайший сосед, которому можно было его

прочитать. Меня его стихи восхищали, и я тут же с горячностью высказывал свое восхищение. Но сам он восхищался далеко не всеми своими стихотворениями и многие из них выбрасывал. Я никак не мог понять, чем он руководствовался при отборе, да, признаться, не понимаю и сейчас. Иногда он выбрасывал то, что мне особенно нравилось. Помню, сидя у меня, прочел он стихотворение о боге, играющем на рояле, и привел меня в восторг. Я все позабыл, в памяти у меня осталось только, что стоял рояль где-то на чердаке, где было очень сухо и жарко, где пахло пылью, рассохшимся деревом, паутиной, и что бог иногда по ночам спускался с небес на чердак, садился за этот рояль и играл[1]. Он прочел это стихотворение и ушел, и мы не виделись несколько дней. При следующей встрече я попросил прочитать его мне еще раз.

— Его уже нет,— ответил он.— Я его выбросил.

Я возмутился:

— Давайте я запишу. Как оно начиналось? Вы должны помнить.

Но он, упрямо сжав губы, твердил, что не помнит ни строчки. Я, возмущаясь, приставал к нему с этим стихотворением в течение нескольких лет. Но он был неумолим. Не знаю, действительно ли он начисто забыл его или не хотел вспоминать.

Однажды, во вторую половину дня, уже поздней осенью, у меня на даче сидели Заболоцкий и Липкин. Они сошлись у меня случайно и уже собирались уходить, как вдруг на крыльце загремело и в комнату вошел Фадеев.

Фадеев, тоже живший в Переделкине, время от времени совершал обход писательских дач и в некоторых из них застревал надолго. На нашу дачу заходил он и в летние месяцы, когда в ней жили мои родители, и в осенние, в зимние, когда в ней оставался только я со своей семьей. Отец мой, непьющий, всегда на случай этих посещений держал в буфете поллитровку. Фадеев заходил невзначай, по-соседски, без делового повода, держал себя непринужденно, со всеми наравне, и мы любили его, хотя ни он сам, ни мы ни на минуту не забывали, что он — начальство.

---

[1] Содержание этого стихотворения, по свидетельству Е. В. Заболоцкой, несколько иное. Старый клавесин стоял на чердаке, где было сухо, пыль, паутина. По ночам, по рассохшимся ступеням осторожно подымался старик. Руки его были костлявы и жилисты, но когда он садился за клавесин и играл,— бог спускался с небес, воплощаясь в его музыке (см. «Воспоминания о Заболоцком». 1977. С. 227).

Общество тридцатых и сороковых годов было прежде всего иерархично, и в этой строжайше соблюдаемой иерархии он стоял несравненно выше и нас, и подавляющего большинства остальных людей. К этому времени я уже хорошо знал его. Он был человек редкой красоты и обаяния, в каждом слове которого поблескивали и ум, и талантливость; так и хотелось довериться ему, до конца отдаться его очарованию, и я отдавался бы, если бы меня не смущали жесткие нотки, иногда проскальзывавшие в его речах и смехе. Да и кроме того мы все слишком зависели от него, чтобы любить его чистой, беспримесной любовью. От него зависели пайки, которые мы получали тоже по строго иерархическому принципу, от него зависело распределение жилья, которого у нас не было, и возможность печататься, которая была столь узка, и Сталинские премии, и строго нормированная газетная слава, и вообще вся та оценка твоей личности, от которой полностью зависели и ты сам, и твоя семья. Поэтому даже против воли эти благодушнейшие добрососедские посещения имели привкус начальнического надзора.

Когда он вошел на этот раз, мне подумалось, что он явился ради Заболоцкого. Так и оказалось,— он объяснил, что заходил на дачу к Заболоцкому и, узнав, что Николай Алексеевич у меня, зашел ко мне. Мы все уселись вокруг стола, жена поставила на стол поллитровку и пошла жарить мясо на закуску. Я уже хорошо знал обыкновения Фадеева и сразу послал сына за второй поллитровкой. Заболоцкий принял тот степенный и важный вид, который у него всегда бывал при посторонних. Фадеев был шутлив, весел, говорлив, но говорил все о незначительном, случайном, как бы нащупывая почву. После двух-трех первых рюмок он попросил Заболоцкого почитать стихи.

Николай Алексеевич всегда охотно читал свои стихи, если его просили. На этот раз он читал обдуманно, с выбором. Лицо его несколько оживилось, он всегда интересовался тем, какое впечатление производят его стихи на слушателя. Фадеев слушал внимательно, поворачивая великолепную седую голову, великолепно сидевшую на великолепной шее. Свои чувства он выражал, похохатывая высоким голосом. Стихи ему нравились, он похвалил их, но, в сущности, сдержанно. После стихов он стал расспрашивать Заболоцкого о его жизни. Николай Алексеевич отвечал скупо, ни на что не жалуясь и ничего не прося.

Потом произошло то, что происходило обычно, когда

Фадеев приходил и засиживался. Сын мой снова был отправлен за бутылкой. Речь Фадеева превратилась в монолог, который невозможно ни запомнить, ни передать. Он говорил о Тургеневе, вспоминал сцены из его рассказов. Он читал стихи Баратынского, некоторые пел. Он пел сибирские партизанские песни. Он рассказывал о писателях — соседях по переделкинским дачам. И пил водку большими стопками. Я помню, он сказал однажды о ком-то:

— У него нормальное отношение к еде: как к закуске.

Но сам он пил, почти не закусывая. Было страшно смотреть, сколько водки он в состоянии поглотить. Пьянел он медленно, лишь лицо его постепенно краснело и от этого становилось еще красивее под седыми волосами. Речи его не делались сбивчивыми, но в них появлялись трагические и даже жалобные нотки. На что он жалуется, нельзя было понять, он, казалось, хотел сказать нам: я не такой, как вы думаете, я такой же, как вы. И оставалось ощущение исполинских бесцельно растрачиваемых сил, и становилось жалко его. Мы-то думали, что он человек, творящий законы времени, а он еще больше раб этих законов, чем мы.

Между тем шли часы, и давно уже была глухая ночь. Сынок мой, еще раза два бегавший за водкой — к соседям,— давно уже спал. Мы с женой попеременно засыпали на стуле,— то она заснет, то я. Заболоцкий раза два уходил домой и возвращался. Липкин тоже полежал часа два на диване, потом вернулся к столу. Один только Фадеев не проявлял ни малейших признаков утомления. Монолог его не прекращался, напротив, становился все более воодушевленным. Он читал наизусть стихи Некрасова, восхищаясь до слез. Потом стал рассказывать, как арестовали одну женщину, близкого его друга, и как он старался спасти ее и ничего не мог сделать. Мы поняли, что он говорит о Марианне Герасимовой, сестре Валерии. Рассказывая о своих бесплодных попытках отстоять ее, он вдруг зарыдал, опустив седую голову на стол, на руки.

Наконец, в пятом часу черной декабрьской ночи, он поднялся, чтобы уйти. Его качало, и стало страшно, что он свалится на дороге и никуда не дойдет. Мы с Липкиным решили пойти с ним и довести его до его дачи. Едва мы вышли за калитку, как пришлось взять его под руки. Он становился все беспомощнее, засыпал на ходу, и мы тащили его на себе, изнемогая от тяжести, потому что он был

велик и грузен. Мы переговаривались с Липкиным, говоря о нем в третьем лице, потому что было ясно, что он нас не слышит и не понимает. Так мы протащили его метров триста, но едва свернули за угол на дорогу, ведущую к его даче, как он вдруг ожил. Ноги его окрепли, он вырвал руки и объявил, что дальше пойдет один. Мы ни за что не хотели бросить его на дороге в таком состоянии и настаивали, что доведем его до дверей. Но он остановился и упорно, даже с ожесточением гнал нас. Мы не привыкли спорить с начальством, да, кроме того, и сами были пьяны и очень устали. Попрощавшись, мы разошлись.

Прошло два дня, мы сидели с женой и детьми за ужином, как вдруг к нам постучали. Я вышел на крыльцо и увидел жену Фадеева А. О. Степанову и ее сестру. С величайшим изумлением я узнал от них, что Фадеев до сих пор домой не вернулся. Они искали его по переделкинским дачам и зашли к нам, потому что слышали, что он был у нас. Они были убеждены, что он у нас до сих пор, и не верили мне, когда я утверждал, что не видел его уже два дня. Они думали, что я прячу его, и я предложил им обыскать нашу дачу, чтобы убедиться. От этого они уклонились, и мне показалось, что Степанова не слишком встревожена,— по-видимому, она попривыкла к подобным происшествиям.

Через несколько дней как-то утром я встретил Фадеева на одной из переделкинских тропинок. Он был свеж, статен, подтянут, весел, высоко нес гордую голову. Остановив меня, он стал расспрашивать о романе, который я тогда писал.

— Какая радость — писать роман! — сказал он.— Месяцами, годами живешь с одними и теми же героями, ждешь, что они сделают дальше, а делают они всегда неожиданное.

В разговорах со мной — и с многими другими — он часто жаловался, что должность генерального секретаря Союза писателей и члена ЦК партии мешает ему писать. Он даже, казалось, завидовал тому, что я, при всем моем житейском неблагополучии, сижу и пишу. Я знал, что жалуется он совершенно искренне, но знал также, что отрава власти, могущества, первенства сидит в нем настолько сильно, что у него никогда не хватит духа от нее отказаться. Знал я и то, что власть его иллюзорна, что для того, чтобы не потерять ее, он должен беспрестанно угадывать волю вышестоящих и выполнять ее наперекор

всему, не останавливаясь перед любой несправедливостью и жестокостью.

— Какой твердый и ясный человек Заболоцкий,— сказал он мне.— Он не развалился, не озлобился. На него можно положиться.

И я понял, что Николай Алексеевич прошел проверку благополучно.

Около двух лет прожили мы с Николаем Алексеевичем в Переделкине в ближайшем соседстве, и за это время я хорошо узнал его. Это действительно был твердый и ясный человек, но в то же время человек, изнемогавший под тяжестью невзгод и забот. Бесправный, не имеющий постоянной московской прописки, с безнадежно испорченной анкетой, живущий из милости у чужих людей, он каждую минуту ждал, что его вышлют,— с женой и двумя детьми. Стихов его не печатали, зарабатывал он только случайными переводами, которых было мало и которые скудно оплачивались. Почти каждый день ездил он по делам в город,— два километра пешком до станции, потом дачный паровичок. Эти поездки были для него изнурительны — все-таки шел ему уже пятый десяток. Дорога на станцию, так хорошо нам обоим знакомая, вела мимо кладбища, осененного высокими соснами, вершины которых уходили высоко в небо. Возле самой дороги была могила летчика, сбитого под Москвой во время войны, тогда еще сохранявшая некоторые свои украшения — цветные ленты, вылинявшие от дождя, и деревянный пропеллер. И это кладбище, и сосновую рощу, и могильный пропеллер с лентами, и ночное возвращение домой — из города в Переделкино — удивительно изобразил он в стихотворении «Прохожий», написанном весной 1948 года:

Свернув в направлении к мосту,
Он входит в весеннюю глушь,
Где сосны, склоняясь к погосту,
Стоят, словно скопища душ.

Тут летчик у края аллеи
Покоится в ворохе лент,
И мертвый пропеллер, белея,
Венчает его монумент.

И в темном чертоге вселенной
Над сонною этой листвой
Встает тот нежданно мгновенный
Пронзающий душу покой,

Тот дивный покой, пред которым,
Волнуясь и вечно спеша,
Смолкает с опущенным взором
Живая людская душа.

И в легком шуршании почек,
И в медленном шуме ветвей
Невидимый юноша летчик
О чем-то беседует с ней.

А тело бредет по дороге,
Шагая сквозь тысячи бед,
И горе его и тревоги
Бегут, как собаки, вослед.

Так как я тоже совершал частые походы со станции мимо того же кладбища, он переписал это стихотворение и подарил его мне. Этот листок хранится у меня до сих пор,— стихотворение написано на нем остро отточенным карандашом мелким, ровным, четким почерком. Все свои стихи он писал и переписывал карандашом, и при его аккуратности, при тщательности, с которой он делал любое дело, это получалось у него лучше, отчетливее, чем на пишущей машинке.

Все литераторы, жившие тогда в Переделкине, много гуляли. Я во время длинных своих прогулок по окрестностям встречал и Всеволода Иванова, и Катаева, и Фадеева, и Тихонова, и Каверина, и Федина, и других наших соседей. Один только Заболоцкий не любил прогулок и избегал их. Происходило это, вероятно, оттого, что он, за долгую изнурительную жизнь в лагере, привык беречь силы. Человеку, изнемогающему под тяжестью подневольного труда, бесцельное хождение кажется нелепостью. А Заболоцкому и после лагеря не пришлось отдохнуть,— и колка дров, и огород, и, главное, беспрестанные поездки в город — все это требовало от него полного напряжения сил. В свободное время он предпочитал сидеть у себя в комнате или в саду. Я не сразу понял его состояние и нередко подсмеивался над его нежеланием ходить гулять. Я стыдил его, что он ни разу не ходил в лес, не прошелся по берегу речки.

— Вы как Фет,— сказал я ему однажды.— Он тоже, как вы, был страстный изобразитель природы и не любил на нее смотреть.

И я рассказал ему, что когда Фет приехал в Неаполь, друзья сняли ему комнату с великолепным видом на Неаполитанский залив и Везувий, думая, что поэту,

изобразителю природы, этот вид доставит особенное удовольствие. Но Фет завесил свое окно плотной шторой и так ни разу и не отодвинул ее.

Заболоцкий выслушал мой рассказ угрюмо. Он сказал, что Фет был плохой поэт, хотя и не любил Неаполитанского залива.

Николай Алексеевич терпеть не мог Фета, как и многих других поэтов, с детства меня восхищавших. От этого между нами возникали постоянные споры, доходившие до настоящей ярости. Я отстаивал Фета с бешенством. Я читал ему фетовское описание бабочки:

Ты прав: одним воздушным очертаньем
Я так мила,
Весь бархат мой с его живым миганьем —
Лишь два крыла...

Выслушав, он спросил:

— Вы рассматривали когда-нибудь бабочку внимательно, вблизи? Неужели вы не заметили, какая у нее страшная морда и какое отвратительное тело.

Нет, обольстить его Фетом было невозможно. Ни Фетом, ни Яковом Полонским, ни Некрасовым, ни Сологубом, ни Ходасевичем, ни Ахматовой, ни Маяковским. Отношение его к Блоку до такой степени раздражало меня, что мы годами не упоминали в наших разговорах этого имени. Зато и обожаемого им Хлебникова я поносил, как мог. Я утверждал, что Хлебников — унылый бормотальщик, юродивый на грани идиотизма, зеленая скука, претенциозный гений без гениальности, услада глухих к стиху формалистов и снобов, что сквозь стихи его невозможно продраться, и так далее в том же роде. Он слушал меня терпеливо, ни в чем не соглашаясь. Наши симпатии сходились только на Тютчеве и Мандельштаме.

Во вторую половину жизни — после лагерей — он выше всех других русских поэтов ставил Тютчева. Он знал его всего наизусть и считал единственным недосягаемым образцом. Огромное воздействие Тютчева на стихи Заболоцкого последнего десятилетия его жизни неоспоримо.

В творчестве Заболоцкого за его жизнь произошла огромная эволюция. Литературные же вкусы его, симпатии и антипатии, эволюционировали гораздо медленнее. В стихах Заболоцкого, написанных за последние пятнадцать лет его жизни, самое пристальное исследование не обнаружит

ни малейшего влияния Хлебникова. Однако до конца дней своих он продолжал утверждать, что Хлебников — величайший поэт двадцатого века. Я часто приписывал это его упрямству. Пожалуй, упрямство — не то слово. Он был на редкость верный человек — верный во всех своих приязнях и неприязнях. Заставить его изменить сложившееся мнение было нелегко. Иногда в наших спорах мне начинало казаться, что в глубине души он со мною согласен, но не хочет, чтобы я об этом догадался. Впрочем, может быть, я ошибался.

Меня особенно сердило, когда он судил о любимых мною поэтах, почти не зная их. Прочел когда-то в молодости случайно попавшееся стихотворение Фета, оно по случайным причинам не понравилось ему, показалось скроенным из банальных элементов, и он навсегда отверг Фета, больше его не читая[1]. Стремясь его переубедить, я нередко читал ему самые разные стихи, которых он не знал. Он всегда внимательно и охотно слушал, но почти никогда не соглашался с моими оценками. За двенадцать лет нашего постоянного общения мне удалось переубедить его только в очень немногом. Да и тут я, пожалуй, слишком самонадеян, полагая, что это мне удалось переубедить его. Просто к концу жизни отношение его к некоторым поэтам стало медленно меняться. Он, например, открыл для себя Ахматову и стал с уважением читать ее. О Блоке он уже не отзывался так, как вначале, и я знал, что он, потихоньку от меня, часто его читает. Я видел, как постепенно изменялось его отношение к Пастернаку. Вначале он Пастернака любил мало и знал плохо. Я помню, как в конце сороковых годов мы были с ним у Пастернака в гостях. Пастернак прочел нам несколько глав из «Доктора Живаго» и несколько стихотворений, приписанных его герою. Заболоцкий был добр, внимателен, любопытен, но я видел, что все это произвело на него не слишком большое впечатление. Он прежде начал восхищаться переводами Пастернака, а только потом его собственным творчеством. В последние годы своей жизни он относился к Пастернаку с благоговением — и к его личности, и ко всему, что Пастернак писал. Пастернака изобразил он в своем стихотворении «Поэт», написанном в 1953 году:

---

[1] Это опровергается свидетельством Е. В. Заболоцкой (см. сб. «Воспоминания о Заболоцком». М., 1977. С. 226) — *Ред.*

А внизу на стареньком балконе —
Юноша с седою головой,
Как портрет в старинном медальоне
Из цветов ромашки полевой.
Щурит он глаза свои косые,
Подмосковным солнышком согрет,—
Выкованный грозами России
Собеседник сердца и поэт.

Любопытно, что это стихотворение мне удалось напечатать в первом посмертном сборнике стихов Заболоцкого, вышедшем под моей редакцией в издательстве «Советский писатель» в 1960 году. Лесючевский, глава издательства, ненавидевший Заболоцкого лично и обкарнавший сборник, как мог, заметил это стихотворение и сразу заподозрил, что оно посвящено Пастернаку. В то время писать о Пастернаке было запрещено, и стихотворение казалось обреченным. Но я стал доказывать Лючевскому, что изображенный в стихотворении поэт не Пастернак, а Тихонов, который очень обидится, если этого стихотворения не окажется в сборнике, и Лесючевский уступил.

Ожесточенные мои споры с Николаем Алексеевичем никогда не отражались на наших личных отношениях. Этот добрый, справедливый, верный человек был терпим к чужому мнению. Он был прекрасным другом своих друзей, хотя душевное целомудрие никогда не допускало его до дружеских излияний. Привязавшись к кому-нибудь, он привязывался навсегда, до конца. Такими вечными привязанностями его были и Хармс, и Введенский, и Олейников, и Евгений Шварц, и Каверин, и Степанов, и Ираклий Андроников, и Симон Чиковани, и Антал Гидаш, и в последние годы Эммануил Казакевич, Борис Слуцкий. С Тихоновым он расходился во вкусах и мнениях, но питал к нему глубокую признательность, которую не могло поколебать ничто.

За долгие годы общений с Николаем Алексеевичем для меня мало-помалу стал проясняться путь его умственного развития; я начал догадываться об истории развития его вкусов. Он родился и вырос в маленьком глухом городке, и все, что знал, узнавал самоучкой, до всего додумывался самостоятельно, и нередко очень поздно узнавал то, что с детства известно людям, выросшим в культурной среде. Он понимал, что он самоучка, и всю жизнь относился к самоучкам с особой нежностью. Он называл их «самодеятельными мудрецами»,— то есть муд-

рецами, в основе мудрости которых лежит не школьная наука, не книжность, а собственное, наивное, но отважное мышление. Такими «самодеятельными мудрецами» считал он Григория Сковороду и Циолковского. Он ценил Циолковского не столько за его пророческие открытия в области астронавтики, сколько за его статьи по философско-этическим вопросам, в которых выражались смутные мечты о будущем совершенстве человечества; все эти статьи Циолковский издавал брошюрками в первые годы после революции, и все эти брошюры — величайшая библиографическая редкость — Заболоцкий собрал и переплел в один том. Величайшим «самодеятельным мудрецом» считал он, конечно, Хлебникова. «Самодеятельным мудрецом» был для него и Даниил Хармс.

Стихи Николай Алексеевич любил с отроческих лет, и первым поэтом, поразившим его, заученным наизусть, был Алексей Константинович Толстой. Я был удивлен таким совпадением: когда мне было лет десять-двенадцать, я тоже выше всех поэтов считал того же Алексея Толстого и полюбил его да еще Жуковского гораздо раньше, чем Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, Блока. Впоследствии я совсем в нем разочаровался,— то же было и с Заболоцким, только, по-видимому, несколько позже. Знакомиться по-настоящему с русской поэзией Заболоцкий стал уже взрослым, в Ленинграде. Здесь он, попав в круг Хармса и Введенского, открыл Хлебникова, и Хлебников надолго заслонил от него всю остальную поэзию. К Хлебникову он пришел совсем иначе, чем все прочие хлебниковские поклонники. Им нравился Хлебников за то, что он не похож на всю предыдущую поэзию, которая им приелась. Заболоцкий же полюбил Хлебникова за то, что это, в сущности, была первая поэзия, с которой он столкнулся в жизни. Русской поэтической классикой он овладел позже, во взрослые годы, и она наложила свою печать на все его позднее творчество. Это был своеобразный, необычный путь развития — от Хлебникова к Тютчеву. Путь этот был пройден трудно и основательно, потому что Заболоцкий был «самодеятельный мудрец», не доверявший чужим суждениям и до всего доходивший своим умом. Сам, своим умом старался он решить и две величайшие задачи, волновавшие его,— задачу смерти и задачу любви.

О том, как он решал эти задачи, я расскажу все, что знаю.

...Заболоцкий утверждал, что смерти нет; смерти не было, нет и никогда не будет. Он утверждал это в течение всей своей сознательной жизни, с молодых лет до конца. Утверждал в разговорах с друзьями, утверждал в стихах.

В основе этого утверждения лежала мысль, что если каждый человек, в том числе и он, Николай Заболоцкий,— часть природы, а природа в целом бессмертна, то и каждый человек бессмертен. Смерти нет, есть только превращения, метаморфозы. Наиболее полно выразил он эту утешительную мысль в одном стихотворении 1937 года, которое так и называется — «Метаморфозы».

...Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел
Я отделил от собственного тела!
И если б только разум мой прозрел
И в землю устремил пронзительное око,
Он увидал бы там, среди могил, глубоко
Лежащего меня. Он показал бы мне
Меня, колеблемого на морской волне,
Меня, летящего по ветру в край незримый,—
Мой бедный прах, когда-то так любимый.

А я все жив!..

И дальше:

Как все меняется! Что было раньше птицей,
Теперь лежит написанной страницей;
Мысль некогда была простым цветком;
Поэма шествовала медленным быком;
А то, что было мною, то, быть может,
Опять растет и мир растений множит.

Вот так, с трудом пытаясь развивать
Как бы клубок какой-то сложной пряжи,
Вдруг и увидишь то, что должно называть
Бессмертием. О, суеверья наши!

Как видите, самую мысль о смерти он называл суеверием.

Эта же идея,— что каждый бессмертен, потому что бессмерта природа,— высказывалась им и гораздо раньше. Еще в 1929 году, в стихотворении «Прогулка», он говорил:

И смеется вся природа,
Умирая каждый миг.

В том же 1929 году, в стихотворении «Искушение», где рассказывается о смерти девушки, Заболоцкий старался убедить читателя, что смерть эта — мнимая, кажущаяся. Мертвую девушку закопали в землю, но

Солнце встанет, глина треснет,
Мигом девица воскреснет.
Из берцовой из кости
Будет деревце расти...

В 1936 году он написал:

Вчера, о смерти размышляя,
Ожесточилась вдруг душа моя.

Но дальше в этом стихотворении он объясняет, что душа его ожесточилась зря, потому что благодаря мнимости смерти, благодаря совершающимся в природе метаморфозам бессмертны не только тела, но и мысли людей:

И я, живой, скитался над полями,
Входил без страха в лес,
И мысли мертвецов прозрачными столбами
Вокруг меня вставали до небес.

И голос Пушкина был над листвою слышен,
И птицы Хлебникова пели у воды,
И встретил камень я. Был камень неподвижен,
И проступал в нем лик Сковороды.

И все существованья, все народы
Нетленное хранили бытие,
И сам я был не детище природы,
Но мысль ее! Но зыбкий ум ее!

И одиннадцать лет спустя, вернувшись из лагерей, он упрямо писал все о том же, все о том же.

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов
Себя я в этом мире обнаружу.
Многовековый дуб мою живую душу
Корнями обовьет, печален и суров.
В его больших листах я дам приют уму,
Я с помощью ветвей свои взлелею мысли,
Чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли
И ты причастен был к сознанью моему.

Еще пять лет спустя, в 1952 году, он, вспоминая умерших друзей своей юности, пишет все о том же:

Спокойно ль вам, товарищи мои?
Легко ли вам? И все ли вы забыли?
Теперь вам братья — корни, муравьи,
Травинки, вздохи, столбики из пыли.

Теперь вам сестры — цветики гвоздик,
Соски сирени, щепочки, цыплята...

Вслед за этим написал он стихотворение «Сон», которое начинается так:

Жилец земли, пятидесяти лет,
Подобно всем счастливый и несчастный,
Однажды я покинул этот свет
И очутился в местности безгласной.

Как видите, это тоже о смерти. И смерть, как и прежде, вовсе не представляется ему уничтожением или исчезновением, а, напротив:

Какой-то отголосок бытия
Еще имел я для существованья...

И даже в трагическом стихотворении 1956 года «Где-то в поле возле Магадана», в котором рассказывается о смерти двух заключенных, замерзших в тундре, смерть — не уничтожение, а только «уход в дальний край»:

Обняла их сладкая дремота,
В дальний край, рыдая, повела.

Стихотворение это он написал за два года до собственной смерти. Он продолжал отрицать смерть — в обычном понимании этого слова — до самого конца. В разговорах он отрицал это «суеверие» еще определеннее и бесповоротнее, чем в стихах.

Мы с ним, оставаясь вдвоем, по русскому обыкновению, часто «философствовали». В наших рассуждениях и спорах он неизменно объявлял себя «материалистом» и «монистом». Под «монизмом» разумел он понятие, противоположное «дуализму», и отзывался о «дуализме» с презрением. «Дуализмом» он называл всякое противопоставление духовной жизни — материальной, всякое непонимание их тождества, полной слитности. Поэтому, говоря о бессмертии, он вовсе не имел в виду существования души вне тела. Он утверждал, что все духовные и телесные свойства человека бессмертны, потому что в природе ничего не исчезает, а только меняет форму.

Для меня это много раз повторяемое им рассуждение было недостаточно убедительно. Я спорил с ним — довольно робко. Я соглашался, что если живое становится мертвым, то это всего только превращение, а не исчезновение; однако для живого совершенно безразлично, исчезнет ли оно или «превратится». Если из берцовой кости умершей девушки вырастет деревце, то это будет уже не девушка, а другое существо, сознание же девушки, ее «я» погибнет безвозвратно. Хотя природа и бессмертна и в ней ничего не исчезает, но мы с вами смертны и умрем всерьез, навсегда.

Он не соглашался. Слушал хмуро и упрямо повторял свое. Эти разговоры о смерти происходили обычно ночью, за вином, у меня на квартире. В последние годы жизни он ничего не пил, кроме вина, но вина пил много и не умел без него обходиться. К его приходу я запасал несколько бутылок «Телиани», потому что «Телиани» он предпочитал всем другим винам; думаю, причины этого предпочтения были прежде всего литературные — он очень любил и часто повторял стихи Мандельштама:

В самом маленьком духане
Ты товарища найдешь.
Если спросишь «Телиани»,
Поплывет Тифлис в тумане,
Ты в бутылке поплывешь.

Он приходил часов в семь, читал свои последние стихи, потом мы принимались читать стихи других поэтов. Часов в девять садились за стол и сидели порой часов до трех ночи. Он мог выпить вина сколько угодно, и я скоро отставал от него. Пьянел он медленно, становился все веселее. Потом хмурился и тогда со все возраставшим ожесточением повторял, что мы не умрем, а только превратимся.

Надо сказать, что к таким его рассуждениям я относился недостаточно серьезно, и это привело меня к ошибке. Я перестал спорить, возражать, а только отшучивался. Я знал, как он был чуток к юмору, и потому никогда не опасался шутить в его присутствии над чем угодно. Уехав летом 1958 года в Коктебель, я отправил ему оттуда следующее шуточное стихотворное послание:

«Н. А. Заболоцкому,
который, выпив три бутылки «Телиани», любит утвер-

ждать, что после смерти мы перевоплотимся в другие существа.

Тело, жертва медицины,
Мертвенно, как перламутр,
Препараты и вакцины
Принимает скорбно внутрь.

А душа, пред униженьем
Опуская гордый взор,
Уж ведет с уничтоженьем
Предстоящим разговор:

— Не хочу я превращений
В множество вещей, веществ
Или перевоплощений
В множество иных существ.

Не хочу я вечных странствий
Паром, снегом и водой,
Не хочу лететь в пространстве
Ослепительной звездой.

Не хочу я цепью брякать,
Дом хозяйский сторожа,
Птицей петь, лягушкой квакать,
Быть супругою ежа.

Ванечка, гулявший с мамой
Вдоль по берегу ручья,—
Это я был, тот же самый,
Это я, и только я.

Принимая капли на ночь
У предела бытия,
Это я, Иван Степаныч,
Это я, все тот же я.

Доброй Машею любимый
Мне неведомо за что,
Это я, неповторимый,
Я, и более никто.

Не боюсь чертей и ада,
С мукой примирюсь любой,
Мне ничьей судьбы не надо,
Дайте быть самим собой!

И в ответ гремит на башне,
Отмечая каждый час,
Звон привычный, звон всегдашний,
Утешительный для нас.

Ничего не обещая,
Кроме вечной пустоты,

Ничего не предвещая,
Кроме полной темноты».

К моему удивлению, никакого ответа на это послание я не получил. Через месяц я вернулся в Москву, и Заболоцкий зашел ко мне. Была уже вторая половина августа, лето он провел в Тарусе и показался мне посвежевшим, поздоровевшим. В город заехал только на несколько дней и зашел ко мне, чтобы прочитать мне свою новую поэму «Рубрук». Читал он весело, увлеченно, счастливо, громко смеясь от радости в тех местах, которые ему самому казались особенно удачными. Поэма была написана круто, зорко, щедро, поразила меня внутренней веселостью, наблюдательностью, жадным жизнелюбием. Все это я высказал автору — к его большому удовольствию. Когда разговор о «Рубруке» иссяк, я спросил его, получил ли он мое послание. И был поражен, как внезапно изменилось его лицо. Он потемнел, замолк, поник. Мне стало жалко его. Я понял, как некстати была моя шутка.

Я понял, что вся эта созданная им теория бессмертия посредством метаморфоз всю жизнь была для него заслоном, защитой. Мысль о неизбежности смерти — своей и близких — была для него слишком ужасна. Ему необходима была защита от этой мысли, он не хотел смириться, он был из несмиряющихся. Найти защиту в представлении о бессмертной душе, существующей независимо от смертного тела, он не мог — всякая религиозная метафизическая идея претила его конкретному, предметному, художественному мышлению. Поэтому он с таким упорством, непреклонностью, с такой личной заинтересованностью держался за свою теорию превращений, сулившую бессмертие и ему самому, и всему, что он любил, и сердился, когда в этой теории находили бреши.

Он умер через два месяца после этого нашего свидания.

Ни в молодости, ни в зрелые годы Заболоцкий стихов о любви не писал. Эта странная особенность отличала его от всех поэтов мира. Любовные стихи начал он писать в конце жизни.

Почему же это так получилось? По-видимому, по разным причинам. Во-первых, так шло развитие поэтических вкусов Заболоцкого. Его внимание художника вначале было целиком обращено на внешний мир, на эксцентри-

ческую, причудливо-живописную его сторону. В этом насмешливо изображаемом вещном и конкретном мире не находилось места для любви. И только постепенно, с годами, с трагическим и печальным расширением жизненного опыта, овладевая все новыми и новыми изобразительными средствами, Заболоцкий научился говорить обо всем, о любых человеческих чувствах, в том числе и о любви.

Вторая причина лежала в его целомудренно-скрытном характере; ни в стихах, ни в разговорах с друзьями он никогда не говорил о том, что касалось его одного. Нужна была трагедия, нужна была нестерпимая боль, чтобы преодолеть его скрытность, чтобы вынудить его нарушить стоном это принудительное молчание.

Третья причина лежала в конкретной истории его чувств. О ней мы можем только догадываться. Никто не имеет потребности говорить о счастливой любви, а Заболоцкий рано женился, рано обзавелся детьми и был, кажется, совершенно счастлив в своей семейной жизни. Во всяком случае, и он так полагал, и все так полагали. Он любил жену, и жена любила его, и он считал этот вопрос решенным навсегда.

Жена его Катерина Васильевна была готова ради него на любые лишения, на любой подвиг. По крайней мере, такова была ее репутация в нашем кругу, и в течение многих-многих лет она подтверждала эту репутацию всеми своими поступками. В первые годы их совместной жизни он был не только беден, а просто нищ; и ей, с двумя крошечными детьми, пришлось хлебнуть немало лишений. К середине тридцатых годов Николай Алексеевич стал несколько лучше зарабатывать, у них появилось жилье в Ленинграде, наладился быт; но после двух-трех лет относительно благополучной жизни все рухнуло — его арестовали. Положение Катерины Васильевны стало отчаянным, катастрофическим. Жена арестованного «врага народа», она была лишена всех прав, даже права на милосердие. Ее вскоре выслали из Ленинграда, предоставив возможность жить только в самой глухой провинции. И она выбрала городок Уржум Кировской области — потому что городок этот был родиной ее мужа. Она жила там в страшной нищете, растя детей, пока наконец, в 1944 году, не пришла весть, что Николай Алексеевич освобожден из лагеря и получил разрешение жить в Караганде. Она сразу, взяв детей, переехала в Караганду к мужу. Вместе

с ним мыкалась она в Караганде, потом, вслед за ним, переехала под Москву, в Переделкино, чтобы здесь мыкаться не меньше. Мучительная жизнь их стала входить в нормальную колею только в самом конце сороковых годов, когда они получили двухкомнатную квартиру в Москве на Хорошевском шоссе и он начал зарабатывать стихотворными переводами.

В эти годы я близко наблюдал их семейную жизнь. Я сказал бы, что в преданности и покорности Катерины Васильевны было даже что-то чрезмерное. Николай Алексеевич всегда оставался абсолютным хозяином и господином у себя в доме. Все вопросы, связанные с жизнью семьи, кроме мельчайших, решались им единолично. У него была прирожденная склонность к хозяйственным заботам, особенно развившаяся благодаря испытанной им крайней нужде. В лагере у него одно время не было даже брюк, и самый тяжелый час его жизни был тот, когда их, заключенных, перегоняли через какой-то город и он шел по городской улице в одних кальсонах. Вот почему он с таким вниманием следил за тем, чтобы в доме у него было все необходимое. Он единолично распоряжался деньгами и сам покупал одеяла, простыни, одежду, мебель. Катерина Васильевна никогда не протестовала и, вероятно, даже не давала советов. Когда ее спрашивали о чем-нибудь, заведенном в ее хозяйстве, она отвечала тихим голосом, опустив глаза: «Так желает Коленька» или «Так сказал Николай Алексеевич». Она никогда не спорила с ним, не упрекала его — даже когда он выпивал лишнее, что с ним порой случалось. Спорить с ним было нелегко,— я, постоянно с ним споривший, знал это по собственному опыту. Он до всего доходил своим умом и за все, до чего дошел, держался крепко. И она не спорила.

Он платил ей за покорность самой нежной, бесспорной любовью. В одном удивительном стихотворении 1955 года он впервые чуть-чуть приоткрыл свои чувства к жене. В этом стихотворении он вообще впервые приоткрыл многие свои чувства, о которых прежде считал нужным умалчивать. Называется оно «Бегство в Египет». Под «бегством в Египет» он разумел переезд всей семьей на маленькую дачку с верандой, снятую на летние месяцы в поселке под Москвой, по Белорусской железной дороге. Вот это стихотворение:

Ангел, дней моих хранитель,
С лампой в комнате сидел.

Он хранил мою обитель,
Где лежал я и болел.

Обессиленный недугом,
От товарищей вдали,
Я дремал. И друг за другом
Предо мной виденья шли.

Снилось мне, что я младенцем
В тонкой капсуле пелен
Иудейским поселенцем
В край далекий привезен.

Перед Иродовой бандой
Трепетали мы. Но тут
В белом домике с верандой
Обрели себе приют.

Ослик пасся близ оливы,
Я резвился на песке.
Мать с Иосифом, счастливы,
Хлопотали вдалеке.

Часто я в тени у сфинкса
Отдыхал, и светлый Нил,
Словно выпуклая линза,
Отражал лучи светил.

И в неясном этом свете,
В этом радужном огне,
Духи, ангелы и дети
На свирелях пели мне.

Но когда пришла идея
Возвратиться нам домой
И простерла Иудея
Перед нами образ свой —

Нищету свою и злобу,
Нетерпимость, рабский страх,
Где ложилась на трущобу
Тень распятого в горах,—

Вскрикнул я и пробудился...
И у лампы близ огня
Взор твой ангельский светился,
Устремленный на меня.

Ангел-хранитель со светящимся взором — вот кто была Катерина Васильевна для Заболоцкого. В неустойчивом, полном опасностей мире только ее покорность и преданность казались ему неизменными.

Встречаясь с Заболоцким, я, грешным делом, мало

к ней приглядывался. Он полностью заслонял ее от меня собою, и я воспринимал ее только как его дополнение. Когда он читал свои стихи, она слушала, безмолвно восхищаясь. Она постоянно твердила: «Николай Алексеевич это любит», «Николай Алексеевич это не любит», «Николай Алексеевич считает так-то», а как она сама считает, оставалось неизвестным. И вдруг она ушла от него к другому.

Нельзя передать его удивления, обиды и горя. Эти три душевных состояния обрушились на него не сразу, а по очереди, именно в таком порядке. Сначала он был только удивлен — до остолбенения — и не верил даже очевидности. Он был ошарашен тем, что так мало знал ее, прожив с ней три десятилетия в такой близости. Он не верил, потому что она вдруг выскочила из своего собственного образа, в реальности которого он никогда не сомневался. Он знал все поступки, которые она могла совершить, и вдруг в сорок девять лет она совершила поступок, абсолютно им непредвиденный. Он удивился бы меньше, если бы она проглотила автобус или стала изрыгать пламя, как дракон.

Но когда очевидность сделалась несомненной, удивление сменилось обидой. Впрочем, обида — слишком слабое слово. Он был предан, оскорблен и унижен. А человек он был самолюбивый и гордый. Бедствия, которые он претерпевал до тех пор,— нищета, заключение, не задевали его гордости, потому что были проявлением сил, совершенно ему посторонних. Но то, что жена, с которой он прожил тридцать лет, могла предпочесть ему другого, унизило его, а унижения он вынести не мог.

Ему нужно было немедленно доказать всем и самому себе, что он не унижен. Что он не может быть несчастен оттого, что его бросила жена. Что есть много женщин, которые были бы рады его полюбить. Нужно жениться. Немедленно. И так, чтобы об этом узнали все.

Он позвонил одной женщине, одинокой, которую знал мало и поверхностно, и по телефону предложил ей выйти за него замуж. Она сразу согласилась. Для начала супружеской жизни он решил поехать с ней в Малеевку в Дом творчества.

В Малеевке жило много литераторов, и поэтому нельзя было выдумать лучшего средства, чтобы о новом его браке сразу стало известно всем. Подавая в Литфонд заявление с просьбой выдать ему две путевки, он вдруг

забыл фамилию своей новой жены и написал ее неправильно.

Я не хочу утверждать, что с этим новым его браком не было связано никакого увлечения. Сохранилось от того времени одно его стихотворение, посвященное новой жене, полное восторга и страсти:

ПРИЗНАНИЕ

Зацелована, околдована,
С ветром в поле когда-то обвенчана,
Вся ты словно в оковы закована,
Драгоценная моя женщина!

Не веселая, не печальная,
Словно с темного неба сошедшая,
Ты и песня моя обручальная,
И звезда моя сумасшедшая.

Я склонюсь над твоими коленями,
Обниму их с неистовой силою
И слезами и стихотвореньями
Обожгу тебя, горькую, милую.

Отвори мне лицо полуночное,
Дай войти в эти очи тяжелые,
В эти черные брови восточные,
В эти руки твои полуголые.

Что прибавится — не убавится,
Что не сбудется — позабудется...
Отчего же ты плачешь, красавица?
Или это мне только чудится?

Но стихотворение это осталось единственным. Больше ничего он новой своей жене не написал. Их совместная жизнь не задалась с самого начала. Через полтора месяца они вернулись из Малеевки в Москву и поселились на квартире у Николая Алексеевича. В этот период совместной их жизни я был у них всего один раз. Николай Алексеевич позвонил мне и очень просил прийти. Я понял, что он чувствует необходимость как-то связать новую жену с прежними знакомыми, и вечером пришел. В квартире все было как при Екатерине Васильевне, ни одна вещь не сдвинулась с места, стало только неряшливее. Печать запустения лежала на этом доме. Новая хозяйка показалась мне удрученной и растерянной. Да она вовсе и не чувствовала себя хозяйкой,— когда пришло время накрывать на стол, выяснилось, что она не знает, где лежат вилки и ложки. Николай Алексеевич тоже был весь вечер напря-

женным, нервным, неестественным. По-видимому, вся эта демонстрация своей новой жизни была ему крайне тяжела. Я высидел у него необходимое время и поспешил уйти. Через несколько дней его новая подруга уехала от него в свою прежнюю комнату, и больше они не встречались.

И удивление, и обида — все прошло, осталось только горе. Он никого не любил, кроме Катерины Васильевны, и никого больше не мог полюбить. С новой женой он не сжился не потому, что она была чем-нибудь нехороша, а потому, что она была не той единственной, которую он любил. Оставшись один, в тоске и несчастье, он никому не жаловался. Он продолжал так же упорно и систематично работать над переводами, как всегда, он внимательно заботился о детях. Все свои муки он выразил только в стихах,— может быть, самых прекрасных из всех, написанных им за всю жизнь.

Он тосковал по Катерине Васильевне и с самого начала мучительно беспокоился о ней. И эта тоска, и это беспокойство, и сознание, что он не может ей помочь, отразилось уже в самом первом из обращенных к ней стихотворений — «Чертополох». Ему поставили на стол букет чертополоха, и великолепное изображение этих прекрасных и страшных цветов с клинообразными шипами он закончил так:

Снилась мне высокая темница
И решетка черная, как ночь,
За решеткой — сказочная птица,
Та, которой некому помочь.
Но и я живу, как видно, плохо,
Ибо я помочь не в силах ей.
И встает стена чертополоха
Между мной и радостью моей.
И простерся шип клинообразный
В грудь мою, и уж в последний раз
Светит мне печальный и прекрасный
Взор ее неугасимых глаз.

Теперь он уже вовсе не ее одну винил в разрыве. Он считал, что они оба виноваты,— значит, винил и себя:

Клялась ты — до гроба
Быть милой моей.
Опомнившись, оба
Мы стали умней.

Опомнившись, оба
Мы поняли вдруг,
Что счастья до гроба
Не будет, мой друг.

Колеблется лебедь
На пламени вод.
Однако к земле ведь
И он уплывет.

И вновь одиноко
Заблещет вода,
И глянет ей в око
Ночная звезда.

Он думал о ней постоянно. Видел ее всюду. Нежное, точное, необычайное изображение того, как она явилась ему во сне, мы находим в его стихотворении «Можжевеловый куст»:

Я увидел во сне можжевеловый куст,
Я услышал вдали металлический хруст,
Аметистовых ягод услышал я звон,
И во сне, в тишине, мне понравился он.

Я почуял сквозь сон легкий запах смолы.
Отогнув невысокие эти стволы,
Я заметил во мраке древесных ветвей
Чуть живое подобье улыбки твоей.

Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст,
Легкий лепет, едва отдающий смолой,
Проколовший меня смертоносной иглой!

В золотых небесах за окошком моим
Облака проплывают одно за другим,
Облетевший мой садик безжизнен и пуст...
Да простит тебя бог, можжевеловый куст...

Как отличается нежность и изящная мягкость этих печальных стихов от веселой грубости «Столбцов», с которых он начал свой путь!

Шло время, он продолжал жить один — с взрослым сыном и почти взрослой дочерью,— очень много работал, казался спокойным. Гордая сдержанность никогда не позволяла ему говорить о своем несчастье даже с близкими друзьями. Но в стихах он был откровенен. Уже больше года прошло после разрыва, а он писал:

Кто мне откликнулся в чаще лесной?
Ты ли, которая снова весной
Вспомнила наши прошедшие годы,
Наши заботы и наши невзгоды,
Наши скитанья в далеком краю,—
Ты, опалившая душу мою?

На возвращение жены он не надеялся. Свой разрыв с нею он считал окончательным, бесповоротным. Он не делал никаких попыток вернуть ее. Но острота тоски его и нежность не проходили. Весной 1958 года, за несколько месяцев до смерти, он написал стихотворение «Ласточка», в котором еще раз выразил свое отчаянье:

Словно ласточка щебечет,
Ловко крыльями стрижет,
Всем ветрам она перечит,
Но и силы бережет.
Реет верхом, реет низом,
Догоняет комара
И в избушке под карнизом
Отдыхает до утра.

Удивлен ее повадкой,
Устремляюсь я в зенит,
И душа моя касаткой
В отдаленный край летит.
Реет, плачет, словно птица,
В заколдованном краю.
Слабым клювиком стучится
В душу бедную твою.

Но душа твоя угасла,
На дверях висит замок.
Догорело в лампе масло
И не светит фитилек.
Горько ласточка рыдает
И не знает, как помочь,
И с кладбища улетает
В заколдованную ночь.

Он уже хорошо понимал, что с ним случилось несчастье, которого не поправишь. Несчастье смягчило его, открыло в его душе те стороны — доброту, сочувствие к людям,— которые всегда были в ней, но в молодые годы заслонялись насмешливой суровостью. Несчастье смягчило его, но не сломило. Он нес его как сильный и гордый человек. Он очень много работал, он жадно интересовался литературой, жизнью, политикой, историей. Он писал стихи, проникнутые удивительной нежностью к людям,— «Некрасивая девочка», «Старая актриса», «О красоте человеческих лиц», «Старость», «Детство», «Это было давно», «Казбек», «Городок», «Стирка белья». Каждое лето теперь проводил он в Тарусе. Жил он там один, снимая комнату у хозяйки; иногда из Москвы приезжала к нему на недолгое время дочь. Неподалеку от него в Тарусе

жил венгерский писатель Антал Гидаш с женой Агнессой Кун — близкие друзья Заболоцкого. Агнесса Кун заботилась о Николае Алексеевиче с материнской добротой, следила, чтобы он был сыт, здоров. Николай Алексеевич очень полюбил Тарусу — архаический русский городок на Оке. Тарусские улички, сады, березовые рощи, Ока — все это стало жить теперь в его стихах, как прежде жила Грузия.

Он не примирился со своим горем и не свыкся с ним; но он трудом и силой воли заставил свое горе не заслонять от него ни людей, ни искусства, ни вселенной. Ранней весной 1957 года он поехал с группой советских поэтов в Италию. Никогда до тех пор не был он за границей. Поэты решили лететь самолетом; но у Заболоцкого уже болело сердце, и врач посоветовал ему ехать поездом. Получалось, что ему придется ехать через пол-Европы, а он не знал европейских языков и не был уверен в своем здоровье. Добрый Борис Слуцкий, почти незнакомый с Николаем Алексеевичем лично, вызвался поехать вместе с ним поездом, чтобы не оставлять его одного. И они направились в Рим — через Будапешт и Вену.

Вернувшись из Италии, Николай Алексеевич позвонил мне и предложил встретиться в ресторане «Пекин». За столиком он рассказал мне о Флоренции, Равенне и, главным образом, о Венеции. Впечатления переполняли его, но он еще не находил слов для их выражения. Я знал это его свойство — ему нужно было время, чтобы переварить впечатления. Мысли еще бродили в нем, только зарождаясь. Я заметил, что мысли эти были не столько об Италии, сколько о России. Чужие страны пробудили в нем множество соображений о родине. Он говорил мне о том, как громадна наша страна, как громадна ее история, как громадны в ней события, мечты, люди.

Я уже упоминал, что он зашел ко мне как-то во второй половине августа 1958 года прочесть свою поэму «Рубрук в Монголии». Эта полная пышных и неожиданных образов поэма вся пронизана веселым обожанием жизни, и он смеялся, читая ее. Слыша его смех, я подумал, что наконец-то он начал справляться с горем, угнетавшим его более двух лет.

И он, кажется, действительно с ним уже почти справился. Недовольно отвергнув спор о смерти и бессмертии, он оживленно заговорил со мной о разных житейских делах и планах. У него был план достать для своего недавно же-

нившегося сына квартиру и таким образом отселить его от себя.

— И ему будет лучше, и мне,— сказал он.— Я ведь должен и о себе подумать. Я ведь еще могу жениться.

Не знаю, имел ли он кого-нибудь на примете, говоря о своем намерении жениться. Думаю, что никакой определенной женщины за этим не стояло. Просто в этой фразе выразилось то, что Катерины Васильевны он больше не ждет.

Перед уходом он прочел мне еще одно свое новое стихотворение, которое потрясло меня больше, чем «Рубрук». Это было суровое требование, обращенное к самому себе:

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому,
Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!

Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя безжалостно сорвет.

А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.

Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Когда я думаю о Заболоцком, я всегда вспоминаю это стихотворение. В нем он отчетливо и сильно выразил самую главную черту своего характера. Все беды, которые наваливала на него судьба, он побеждал, заставляя свою душу трудиться. Только этим он ее и спас — и во время травли тридцатых годов, и в лагерях, и потом, когда его оставила жена. Прочитав мне это стихотворение, он ушел — весе-

лый, не знающий, что больше ни одного стихотворения он уже никогда не напишет.

Он пережил уход Катерины Васильевны. Но пережить ее возвращения он не мог.

На другой день после того, как он был у меня, он вернулся в Тарусу. Около первого сентября из Тарусы переехали в город Гидаш и Агнесса Кун. Агнесса зашла к нам и рассказала, что Заболоцкий решил остаться в Тарусе на весь сентябрь; он с увлечением переводит сербский эпос, здоров, весел и хочет вернуться в город как можно позже. После этого сообщения я не ожидал что-нибудь услышать о Заболоцком раньше октября. И вдруг, через неделю, я узнал, что Заболоцкий в городе, у себя на квартире, и к нему вернулась Катерина Васильевна.

Трудно сказать, как он поступил бы дальше, если бы был в состоянии распоряжаться собой. Мы этого не знаем и никогда не узнаем, потому что сердце его не выдержало и его свалил инфаркт.

После инфаркта он прожил еще полтора месяца. Состояние его было тяжелым, но не казалось безнадежным. По-видимому, только он один из всех и понимал, что скоро умрет. Все свои усилия после инфаркта — а он не позволял душе лениться! — он направил на то, чтобы привести свои дела в окончательный порядок. Со свойственной ему аккуратностью он составил полный список своих стихотворений, которые считал достойными печати. Он написал завещание, в котором запретил печатать стихотворения, не попавшие в этот список. Завещание это подписано 8 октября 1958 года, за несколько дней до смерти.

Ему нужно было лежать, а он пошел в ванную комнату, чтобы почистить зубы. Не дойдя до ванной, он упал и умер.

Ю. Н. ТЫНЯНОВ

Юрий Николаевич Тынянов в молодости был очень похож на Пушкина,— больше, чем Мандельштам. В конце двадцатых годов среди студентов Института истории искусств в Ленинграде, где преподавал Юрий Николаевич, ходила карикатура — пушкинские кудри, пушкинские курчавые баки, а лица нет, и подпись: «Ю. Н. Тынянов». Эта злая карикатура была глубоко несправедлива,— Юрий Николаевич был похож на Пушкина не только кудрями, и не баками, которые он вскоре сбрил, и не маленькой легкой стройной своей фигуркой, не своей подвижностью, темпераментностью, веселостью, остроумием, не только умением так верно подделывать пушкинскую подпись, что и специалисту нелегко было отличить ее от подлинной, но и гораздо более глубокими свойствами натуры, ума, склонностей, интересов. Так же как Пушкина, его страстно интересовала русская история, и, так же как для Пушкина, для него в русской истории самыми важными были трагические отношения между русской государственностью и человеческой личностью. Тема «Медного всадника», тема бегущего Евгения, за которым с чугунным грохотом по потрясенной мостовой скачет гигант на бронзовом коне, была основной темой всего, что написал Тынянов.

Молодой Тынянов был человек общительный, говорливый и жизнерадостный. Я знаком с ним был с первой половины двадцатых годов, но где и как познакомился — не помню. Никогда не бывал он в Доме искусств, на серапионовых собраниях, в салоне Наппельбаумов — там, где бывал я. В то — начальное — время водился он и дружил не с поэтами и прозаиками, а с теоретиками и историками литературы — с Виктором Шкловским, с Борисом Эйхенбаумом и с более молодыми — Григорием Гуковским и Николаем Степановым. Тогда еще никому — в том числе

и ему — не приходило в голову, что он будет не ученым, а писателем, автором романов и повестей.

Я встречал его чаще всего на Невском, на солнечной стороне. Он шагал по тротуару, легкий, элегантный,— насколько можно было быть элегантным в то время,— стуча тростью, тоже напоминавшей о Пушкине. Рядом с ним шагал какой-нибудь собеседник, обычно случайный, и слушал его. Иногда этим случайным собеседником бывал и я. Впрочем, уж я-то был не собеседник, а только слушатель. Тынянов был на десять лет старше меня, беспредельно превосходил меня познаниями, и я в его присутствии не отваживался рта раскрыть. Познания его были поистине удивительны; он знал русский восемнадцатый и девятнадцатый век так, словно сам прожил их. Петра III, Павла I, Екатерину, Карамзина, Крылова, Вяземского, Кюхельбекера, адмирала Шишкова, Сенковского, Булгарина, Катенина, Вельтмана и, разумеется, Пушкина он знал гораздо лучше, чем можно знать ближайших родственников. Об их жизни рассказывал он так, как насмешливый сплетник рассказывает о жизни своих знакомых. Анекдот, положенный в основу блистательного рассказа «Поручик Киже», я слышал от него еще тогда. Еще тогда слышал я о потаенной любви Пушкина, хотя написал он о ней два десятилетия спустя. Он еще не знал, что будет писать исторические романы, но все образы этих романов, готовые, сложившиеся, жили в нем. В этом одна из причин, почему он писал свои романы так быстро,— ему не нужна была никакая подготовительная работа, все необходимое было ему известно заранее.

«Кюхлю» он написал меньше чем за три недели. Он писал всегда запоем, по двадцать часов в сутки, почти без сна и даже почти без еды. Когда он писал, он переставал бриться, не выходил на улицу, ни с кем не встречался и не разговаривал. Так же написал он и «Вазира Мухтара», через несколько лет после «Кюхли»,— за неслыханно короткий срок. Писал он запоём, а в промежутках между этими запоями, иногда очень длительных, не прикасался к перу.

О том, как Юрий Николаевич пишет, рассказывал мне много раз Каверин, его близкий родственник, и рассказывал всегда с крайним удивлением. Сам Каверин писал ежедневно, регулярно,— по две страницы в день,— и иначе не мог. Он работал так, словно на службу ходил, а по воскресеньям устраивал себе выходной день и даже

не приближался к письменному столу. И поэтому Тынянов, способный одним порывом написать большой роман, казался ему существом непонятным, странным, как бы высшим.

Они были женаты на сестрах друг друга — Каверин на сестре Тынянова Лидии Николаевне, а Тынянов на сестре Каверина Елене Александровне,— и дети их были двойными двоюродными. Каверин и Тынянов жили настолько близко, что, в сущности, составляли одну семью, и очень дружили, но в дружбе их не было равенства. Настоящим писателем в этой семье считался только Тынянов, «дядя Юша», как его называли, а к Каверину относились как к начинающему, из которого неизвестно что выйдет. Любопытно, что сам Каверин безропотно подчинялся этому мнению семьи, вполне разделял его и относился к Тынянову с почтительным благоговением. Помню, мне это казалось странным. Я знал Каверина как человека, уверенного в себе, высоко ценящего свой труд, неуступчивого, иногда даже заносчивого. Да и литературная известность пришла к Каверину лет на пять раньше, чем к Тынянову, и к тому времени, как вышел тыняновский «Кюхля», Каверин, серапионов брат, был уже автором широко читаемой повести «Конец хазы»...

Книги Тынянова, появлявшиеся с промежутками в несколько лет, читались интеллигенцией жадно, с волнением. Может показаться странным, что читателя тридцатых годов так волновал рассказ о событиях столетней и даже двухсотлетней давности. Ведь Тынянов ни одним словом не обмолвился о своем собственном времени — ни в романах, ни в повестях, ни в статьях по вопросам теории литературы. Он был историком, и притом честнейшим, никогда не искажавшим исторические факты в угоду представлениям своего времени. Но его рассказы о прошлом волновали современников больше, чем рассказы иных о настоящем, потому что Медный всадник по-прежнему скакал вдогонку за бегущим Евгением и с каждым годом все громче раздавалось это тяжело-звонкое скаканье по потрясенной мостовой.

Как же относился Тынянов к Медному всаднику? Да так же, как Пушкин. Как к мощному властелину судьбы, полному великих дум, от скаканья которого не убежишь никуда и никогда. Как же относился Тынянов к Евгению? Да так же, как Пушкин. Он, как и Пушкин, сам был Евгением. Менялась русская государственность, менялся русский человек, но отношения между ними, между Медным

всадником и Евгением, оставались неизменными. В ужасе мчался Кюхельбекер в Варшаву со всеми своими мечтами, стихами, надеждами, но тяжело-звонкое скаканье, как будто грома грохотанье, настигало его, и вот мечты, стихи, надежды бесплодно догорают в холодной тишине среди сибирских елей. А вот создатель Чацкого, написавший все его горько-вольнолюбивые речи, Грибоедов. Он не просто декабрист, он идеолог, вдохновитель декабризма. Но декабристы разгромлены, казнены, сосланы, а он отвертелся на допросах и выскочил. И он дружит с Булгариным, служит у врагов всего, что любил и чему учил, едет осуществлять великие думы Медного всадника на востоке. Ну как это было не понять человеку тридцатых годов двадцатого века? Ну как было не понять ему «Подпоручика Киже», эту поэму о всеобъемлющем бюрократическом мышлении, населяющем мир фантомами и превращающем живых людей в фантомы, о человеке, рожденном из канцелярской описки, дослужившемся до генеральского чина, имевшем жену и детей, но никогда не существовавшем?

В конце тридцатых годов я встречался с Тыняновым чаще, чем прежде. Начиная с 1938 года я три лета подряд снимал дачу в Луге и был соседом Тынянова. В то время там, в Луге на берегу лесного озера Омчино стояли новенькие дачки трех писателей — Тынянова, Каверина и Н. Л. Степанова. Наши литераторские семьи жили очень тесно и дружно. Мы, с кучкой детей, вместе гуляли по лесам, вместе ходили купаться. Но Юрий Николаевич в наших прогулках участия не принимал — он был уже болен. У него была редкая странная болезнь, с которой я никогда больше не встречался; врачи называли ее рассеянный склероз. Заболевание Тынянова выражалось в том, что он мало-помалу терял способность управлять органами своего тела; болезнь медленно, но неуклонно развивалась, распространяясь снизу вверх, и поразила сначала его ноги, потом туловище, потом руки, шею; когда она дошла до головы, он умер.

Однако летом 1938 года болезнь его еще только начиналась и он еще не потерял способности бродить по комнатам, по саду. Помню, с какой тревогой однажды рассказала мне жена, как Юрий Николаевич упал в ее присутствии. Она зашла к Тынянову на дачу, и Юрий Николаевич, старомодно галантный с дамами, вызвался ее проводить. Но едва они вышли за калитку, как он вдруг на ровном месте упал со всего роста и не мог встать, пока жена моя

не подняла его. Нам стало понятно, почему он избегает выходить за пределы своего сада. Но когда мы к нему заходили, он бывал по-прежнему оживлен, подвижен, говорлив и весел. Он был из тех собеседников, которые гораздо больше говорят, чем слушают, и это была приятнейшая его черта, потому что все, что я мог бы сказать, я и так знал сам, а все, что говорил Тынянов, было всегда ново и блестяще умно. Говорун он был именно блестящий: речь его была полна остроумия, неожиданных и точных определений, вкусно подаваемой отстоянной эрудиции. Когда ему удавалось сказать что-нибудь особенно удачное, на его высоком лбу распускались морщины, как у Билибина из «Войны и мира».

Он не любил сплетен, пересудов и никогда не говорил — со мной, во всяком случае,— о близких и знакомых людях. Не говорил он и о современной литературе, которой, кажется, довольно мало интересовался. Почти всегда его речи были о минувшем, о вычитанном из книг и рукописей. Очень часто говорил он о Кюхельбекере, которого любил нежнейшей любовью. Кюхельбекер был его детищем, созданием его рук: он открыл его неопубликованные рукописи, истолковал его, разрушил укоренившуюся легенду, будто Пушкин относился к Кюхельбекеру пренебрежительно, он издал его сочинения, ввел их в русскую литературу. Но чаще всего говорил он о Пушкине, который всегда в его мыслях занимал главное место, а в те годы особенно: он тогда уже работал над своим последним романом «Пушкин».

Снова услышал я от него любимую его мысль, что в жизни Пушкина была потаенная любовь, никому неведомая, но прошедшая через всю его жизнь и оставившая яркий след на всем пушкинском творчестве. Тынянов был убежден, что Пушкин всю жизнь, с детства до последнего вздоха, любил одну женщину — Екатерину Андреевну, жену Карамзина, сводную сестру Петра Андреевича Вяземского. Со свойственной ему силой и конкретностью воображения он восстанавливал всю эту тайную драму до малейших подробностей. У Пушкина были холодные отношения с матерью, и поэтому ему было естественно полюбить женщину старше себя. Он полюбил ее мальчиком и любил всегда, неизменно. Он уже знал многих женщин, он уже собирался жениться на Натали Гончаровой, но в душе все оставался верен Екатерине Андреевне и только ее имел в виду, когда в стихотворении «На холмах Грузии

лежит ночная мгла» писал: «...печаль моя светла; печаль моя полна тобою, тобой, одной тобой...» И, умирая, Пушкин попросил всех выйти из комнаты, чтобы одна Екатерина Андреевна Карамзина осталась с ним... Юрий Николаевич так часто рассказывал эту историю, так верил в ее истинность, так ею волновался, что невольно приходило на ум, что история эта связана для него с чем-то личным, своим собственным...

Юрий Николаевич очень любил и великолепно знал русскую поэзию; множество стихов помнил он наизусть. Когда я заходил к нему на дачу, мы, оставшись одни, часто занимались вспоминанием стихов. Конечно, он помнил гораздо больше меня; да и любили мы разное. Стихи мелодического, романсового склада, нравившиеся мне, были ему чужды; он был холоден и к Фету, и к Блоку, и к Лермонтову. Сам он любил стихи декламационные, ораторские или афористические. Кроме поэтов пушкинской поры, которых он был выдающимся знатоком, любил он Державина; а из более поздних, к моему удивлению, Апухтина. Он хорошо понимал безвкусицу апухтинских стихов и, тем не менее, многие знал наизусть — он ему нравился своей свободной ораторской интонацией. Из поэтов двадцатого века больше всего любил он Иннокентия Анненского. Много раз читал он мне сонет Анненского «Человек», который кончается так:

В работе ль там не без прорух,
Иль в механизме есть подвох,
Но был бы мой свободный дух —

Теперь не дух, я был бы бог...
Когда б не *пиль* да не *тубо*,
Да не *тю-тю* после *бо-бо!..*

А стихотворение Анненского «Кэк-уок на цимбалах» он пел на мотив кэк-уока; пел очень фальшиво, каким-то детским голосом, но с огромным увлечением:

Молоточков лапки цепки,
Да гвоздочков шапки крепки,
Что не раз их,
Пустоплясых
Там позастревало.

Молоточки топотали,
Мимо точки попадали,

Что ни мах,
На струнах
Как и не бывало.

Пали звоны топотом, топотом,
Стали звоны ропотом, ропотом...

Из нерусских поэтов он больше всего любил и лучше всего знал Генриха Гейне. Он много переводил его, и переводил превосходно,— и очень жаль, что теперь сочинения Гейне на русском языке порой выходят без переводов Тынянова. Но и в Гейне он любил прежде всего не лирику, не мелодию, а насмешливость и остроумие. Для перевода он выбирал обычно стихи сатирические и переводил их так, что все лирическое отходило на задний план, а на переднем плане оставался один только суховатый треск острот.

Болезнь его развивалась неуклонно, но медленно. Летом 1939 года он еще немного бродил, тяжело опираясь на трость, заведенную когда-то из щегольства и ставшую теперь необходимой подпоркой. Летом 1940 года он уже почти потерял способность ходить и целые дни неподвижно сидел в соломенном кресле в саду перед балконом своей дачки.

Это было тревожное, печальное, страшное лето. Только что пала Франция. На западе шла война, неторопливо набирая скорость, и завтрашний день был туманен, но в его тумане ясно предчувствовались неслыханные беды. После конца «зимней» войны с Финляндией я был демобилизован, и в июне мы опять всей семьей поехали на дачу в Лугу. Меня очень огорчило, что я застал Тынянова в таком дурном состоянии. Потеряв способность ходить, он стал очень беспомощен; жена его и дочь в то лето на даче бывали мало, и ухаживала за ним его сестра Лидия Николаевна Каверина. Между сестрой и братом были самые нежные, самые близкие дружеские отношения. Постоянное присутствие младшей сестры, по-видимому, напоминало Юрию Николаевичу их общее детство, и он часто рассказывал, как они качались на качелях, когда были детьми. Он скучал, сидя с утра в своем соломенном кресле, все ждал, когда принесут газету, но газеты в Луге появлялись только к двум часам дня. Он с жадностью хватал газетный лист и долго читал. Иногда за газетой задремывал.

Как-то раз, застав его за газетой и поговорив с ним о новостях, я ушел на берег озера и там, под впечатлением

разговора, написал стихотворение. Я написал его как бы от имени больного Тынянова и привожу его здесь только оттого, что в нем запечатлен один миг его жизни.

Высокое небо прозрачно.
Я болен. Гулять не хожу.
Я перед верандою дачной
В соломенном кресле сижу.

Вверху возникают и тают
Стада молодых облаков,
Из леса ко мне долетают
Мольбы паровозных гудков.

Прохладное катится лето
В сиянии, в сини, в цвету...
А вот, наконец, и газета!
Ну, что же, спасибо. Прочту.

Министры сбегают, бросая
Народы на гибель и ад,
И шляются, все истребляя,
Огромные орды солдат.

В волнах, посреди океанов,
Беспомощно тонут суда,
Под грохотом аэропланов
Горят и горят города.

Хвастливые лживые речи
Святош, полицейских, владык...
А солнце все греет мне плечи,
И я головою поник,

И вот уж уводит дремота
Меня за собой в полутьму,
Где вижу знакомое что-то,
Родное, но что — не пойму.

А, детство! Высокие ели,
И милой сестры голосок,
И желтые наши качели,
И желтый горячий песок...

Я не видел Тынянова целую зиму и встретился с ним снова в апреле — мае 1941 года. Мы оба оказались в Доме творчества в Царском Селе. Дом этот прежде принадлежал Алексею Толстому. В 1937 году Толстой развелся с Натальей Васильевной Крандиевской, женился на Людмиле Баршевой, а свой царскосельский дом подарил ленинградскому отделению Литфонда, и Литфонд устроил в нем Дом творчества. Это был небольшой Дом творчества —

в нем было только двенадцать комнат не считая столовой и гостиной, и, следовательно, жило одновременно только двенадцать человек. Застав там Тынянова, я был удручен совершившейся с ним переменой. Двигался он уже еле-еле,— с величайшим трудом добирался из своей комнаты до обеденного стола. Теперь уже и руки служили ему плохо,— за столом он поминутно терял то ложку, то вилку. Он сгорбился и высох и казался бы маленьким старичком, если бы не черные волосы без единой сединки и не белые молодые зубы. Но главная перемена произошла не в физическом его состоянии, а в умственном. Мы, постояльцы, все ели за одним столом, и он, говорун и остроумец, как в прежние времена, развлекал весь стол рассказами, многие из которых я давно уже знал. Но, к моему удивлению и ужасу, эти рассказы теперь у него не получались,— он сбивался на середине, внезапно забывал продолжение, вяло и долго путался, и рассказ оставался без концовки, в которой и был весь смысл. Это всякий раз производило тягостное впечатление,— тем более что в нашем обществе были грубые и глупые люди, которые смеялись над ним.

Несмотря на болезненное расстройство памяти и внимания, он продолжал упорно работать над своим романом о Пушкине. Судя по результатам, болезнь никак не отразилась на романе. Но теперь он уже не писал залпом, в один присест, как прежние свои романы, а работал трудно, медленно и кропотливо. Не думаю, впрочем, что тут дело заключалось только в болезни. Дело было в самой теме,— жизнь Пушкина так изучена день за днем, что все это нагромождение мелких фактов, твердо установленных и поэтому неподатливых, связывало воображение романиста.

В середине июня 1941 года мы, и Каверины, и Степановы, и Тыняновы в четвертый раз переехали на дачу в Лугу. Погода стояла дождливая, холодная, лето еще не начиналось. Первое солнечное теплое утро выдалось только в воскресенье 22-го. Мы встретились с Кавериным и вместе пошли на пляж. Был уже второй час дня, когда на пляж пришла соседка-докторша и рассказала новость — Гитлер напал на СССР.

Мы с Кавериным сразу поняли, что значила эта новость и для всех, и для нас с ним. Нам хотелось поговорить, но на пляже было людно и многие прислушивались к нашим словам. Мы вошли в воду, выплыли на середину озера, и там, где никто не мог нас слышать, обменялись не

столько мыслями, сколько волнениями. Нам было ясно, что мы оба должны немедленно ехать в город, потому что там, безусловно, нас уже ждут мобилизационные листки.

Я ничего не слышал о Тынянове до конца ноября, когда случайно встретил Каверина на одном военном аэродроме. Каверин рассказал мне, что Тынянов был благополучно вывезен и из Луги, и из Ленинграда и находится в Ярославле, где очень хворает. Жена моя с детьми находилась в Перми, и через некоторое время, уже в 1942 году, я получил от нее письмо, что туда, в Пермь, перевезли Тынянова и что он в очень плохом состоянии. В сентябре 1942 года мне дали отпуск на десять дней для поездки к семье. На дорогу туда и обратно у меня ушло восемь дней, и в Перми я провел только двое суток. Жена сказала мне, что Юрий Николаевич уже давно лежит в госпитале, и предложила его навестить.

Она уже не раз навещала его и хорошо знала дорогу. Юрий Николаевич лежал в отдельной, очень маленькой, палате; кудри его чернели на подушке. Положение его было ужасно,— он не мог двинуть ни ногой, ни рукой; когда голова его сползала с подушки, он не мог поднять ее. Он давно уже не мог есть самостоятельно, и его кормили с ложечки...

Нам он обрадовался. Вид моей военной формы сразу навел его на мысли о войне, о Гитлере, о фашизме. И, едва мы вошли, он стал нам рассказывать историю, которую я от него уже слышал не раз. Историю эту я теперь позабыл и помню только ее суть. В 1918 году Юрий Николаевич поехал из Петрограда в захваченный немцами Псков, чтобы вывезти оттуда жену и двухлетнюю дочку. По-видимому, это было трудное и романтическое предприятие, навсегда врезавшееся ему в память. Поразило его, что немцы уже тогда, при Вильгельме, задолго до Гитлера, в своей агитации делили людей на арийцев и на неарийцев. «Arier und nicht Arier»,— повторял он, рассказывая, по-немецки... Жена моя уверяла меня, что эту историю в тех же самых словах он повторяет всякий раз, когда она заходит к нему в госпиталь. Из-за болезни ассоциации его приняли постоянный, неподвижный характер — одному лицу он всегда рассказывал одно и то же...

Самым удивительным было то, что в этом состоянии он продолжал работать над романом. Одна добрая женщина, тоже эвакуированная в Пермь из Ленинграда, прихо-

дила в госпиталь писать под его диктовку. И то, что он диктовал, было умно, превосходно, талантливо. Прочтите его незавершенный роман «Пушкин» — и вы никогда не догадаетесь, что писал его смертельно больной человек.

В следующий раз я увидел его уже в гробу. Тынянов умер в Москве, в декабре 1943 года, и хоронили его на Ваганьковском кладбище. Снег белел между черных прутьев кустов, уже начинались сумерки. Тынянов в гробу лежал маленький, как ребенок, неправдоподобно маленькими казались его ступни в полосатых носках. Фадеев в длинной солдатской шинели сказал надгробное слово. Шкловский плакал навзрыд и размазывал слезы по лицу.

Тынянов умер в страшный военный год, когда столько умирало вокруг. Я только что приехал в Москву из осажденного Ленинграда, где миллион людей умерли у меня на глазах за одну зиму. Но к смерти привыкнуть нельзя, она всегда поражающе нова. И смерть Тынянова поразила меня глубоко. Умер русский летописец, певец самых сокровенных, самых обольстительных и болезненных тайн русской истории. А русская история продолжалась — полная неслыханных бедствий и поражений, величавых мечтаний и ни с чем не сравнимых побед.

СОДЕРЖАНИЕ

Талантливая память *Л. Левин* 3
Я видел Блока 13
Встречи с Маяковским 19
Николай Гумилев 27
Дом искусств, Клуб Дома искусств, Литературная студия Дома искусств 47
Холомки 92
Салон Наппельбаумов 99
Отрицатель 111
Коктебель 123
О Мандельштаме 146
Богоборец 170
Константин Вагинов 177
Поэт с острова Ямайка 200
Милый демон моей юности 209
Евгений Шварц 243
Николай Заболоцкий 278
Ю. Н. Тынянов 316

Составитель
Марина Николаевна Чуковская

Николай Корнеевич Чуковский

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Редактор
М. Я. Малхазова

Художественный редактор
В. В. Медведев

Технические редакторы
Н. Б. Панфилова, Е. П. Румянцева

Корректор
Л. Э. Харазова

ИБ № 7244

Сдано в набор 23.01.89. Подписано к печати 15.09.89. А 05542. Формат 84×108 1/32. Бумага кн.-журн. импорт. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 17,64+1,68 вкл. Уч.-изд. л. 19,28. Тираж 100 000 экз. Заказ № 42. Цена 1 р. 60 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11.

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по печати, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Чуковский Н. К.

Ч 88 Литературные воспоминания.— М.: Советский писатель. 1989.—336 с.

ISBN 5—265—00668—0

Автор подробно рассказывает о литературном Петрограде 20-х годов, о Доме искусств, о создании группы «Серапионовы братья». Перед читателем проходит вереница людей, оставивших след в отечественной литературе (А. Блок, А. Белый, В. Маяковский, О. Мандельштам, М. Волошин, Е. Замятин, М. Зощенко, Н. Гумилев, В. Ходасевич, Н. Заболоцкий, Е. Шварц, Ю. Тынянов).

Ч $\frac{4702010201-361}{083(02)-89}$ 160—89 **ББК 83 3 Р7**

ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕЧАТИ

БОЧАРОВ А.

Василий Гроссман

Жизнь, творчество, судьба.— М., Сов. писатель, 1990 (II кв.).— 20 л.— ISBN 5—265—01494—2 (в пер.): 1 р. 40 к., 30 000 экз.

Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба», пробывший двадцать пять лет в принудительном заточении, всколыхнул читательский интерес к одному из крупнейших советских прозаиков.

О трудной судьбе писателя и его произведений, долгие годы не допускавшихся к изданию, о драматизме времени и творческом подвиге художника — повествует книга А. Бочарова, как бы заново открывающая сегодняшнему читателю автора романов «За правое дело», «Степан Кольчугин», повести «Народ бессмертен», классического цикла «Сталинградских очерков», многих превосходных рассказов, в том числе еще не увидевших света, и повести «Все течет...», ждущей своей публикации.

А. Бочаров использует в книге малоизвестные документы минувших десятилетей и сохранившиеся архивные материалы.

ЛАКШИН В.

Пути журнальные

Из литературной полемики 60-х.— М.: Сов. писатель, 1990 (II кв.).—24 л.— ISBN 5—265—01502—7 (в пер.): 1р. 50 к., 30 000 экз.

На имени автора долгое время лежал отсвет «опальности». Памятные людям старшего поколения критические выступления В. Лакшина в журнале «Новый мир» под редакцией А. Твардовского вызывали в свое время широкий читательский резонанс и острые споры. Сейчас, сложившись в книгу, они обрели вторую жизнь, оказавшись удивительно созвучными сегодняшнему духу перестройки. Здесь и о романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита», и о литературных дебютах А. Солженицына, В. Семина, П. Нилина, других ныне известных писателей, и целостные обзоры литературного процесса. Интерес представляет и впервые публикуемое полемическое эссе В. Лакшина «Солженицын, Твардовский и «Новый мир».

ИВАНОВА Н.

Смех против страха

Фазиль Искандер.— М.: Сов. писатель, 1990 (II кв.).— 16 л.— ISBN 5—265—01500—0 (в пер.): 1 р. 20 к., 20 000 экз.

Книга о смелом и великодушном Чике, великом тамаде Сандро Чегемском, обманувшем свою смерть Колчеруком, красавице Тали, бармене Адгуре и прочих героях Фазиля Искандера, а также о нем самом.

Острое перо и полемический темперамент Натальи Ивановой, известной по ее публикациям в периодике, находит здесь благодатное приложение. В споре с оппонентами она доказывает народность авторской точки зрения на историю и современность. В книге рассматриваются особенности уникальной творческой манеры Фазиля Искандера, определяется природа юмора и сатиры, гротеска и фантастики в таких его произведениях, как «Созвездие Козлотура», цикл повестей и рассказов о Чике, «Сандро из Чегема», «Старый дом под кипарисом», «Кролики и удавы».

ДЖРБАШЯН Э.

Четыре вершины

Пер. с арм.— М., Сов. писатель, 1990 (IV кв.).— 20 л.— ISBN 5—265—01498—5 (в пер.): 1 р. 40 к., 10 000 экз.

Автор, один из глубоких, авторитетных исследователей, обращается в своей книге к крупнейшим армянским поэтам Ов. Туманяну, Ав. Исаакяну, Ваану Терьяну, Егише Чаренцу. Творчество их рассматривается на историческом фоне конца XIX — начала XX века — периода расцвета новой поэзии. Поэтические вершины Армении предстают в сопоставлении с опытом мировой поэзии. Открытия века в искусстве, поиски новых форм, переворот в поэтическом сознании — размышления об этом остросовременны. Интересно самодвижение авторской мысли.

РБУРГЪ - Михайловскій скверъ и Музей
ERSBOURG.—Square Michel et musée d

Импер. Александра III. Петрогра
l'Empereur Alexandre III. Pétrogra

